РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА
ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

6

НОЯБРЬ–ДЕКАБРЬ

"НАУКА"
МОСКВА – 1996

СОДЕРЖАНИЕ

В. Живов (Москва), Г. Кайперт (Бонн). О месте грамматики И.-В. Пауса в развитии русской грамматической традиции: интерпретация отношений русского и церковнославянского 3
Х. Андерсен (Лос-Анджелес). Взгляд на славянскую прародину: доисторические изменения в экологии и культуре (II) 31
О. Н. Трубачев (Москва). О 'рябчике', 'куропатке' и других лингвистических свидетелях славянской прародины и праэкологии 41
В. С. Храковский (С.-Петербург). Анкета для описания условных конструкций 49
С. Д. Шелов (Москва). Родовидовые определения и родовидовая иерархия терминологических понятий (на материале определений лингвистических терминов) 72
Б. Б. Ходорковская (Москва). Об анафорическом местоимении в италийских языках 84
Т. В. Топорова (Москва). Об архетипе "воды" в древнегерманской космогонии 91
И. Т. Пиирайнен (Мюнстер). Вежливость как категория языка 100
А. А. Пичхадзе (Москва). Предлог *къ* после глаголов движения при названиях городов в древнерусских оригинальных и переводных памятниках письменности 106
Н. А. Барнова (Тбилиси). О стечении согласных в цезских языках 117

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

А. П. Володин (С.-Петербург). *H. Werner*. Das Klassensystem in den Jenissej-Sprachen 121
Г. А. Климов (Москва). *З.А. Сарджвеладзе*. Словарь древнегрузинского языка. Материалы 126
В. З. Санников (Москва). Новые издания 130
Указатель статей, опубликованных в 1996 г. 139

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Ю.Д. Апресян, А.В. Бондарко, В.Г. Гак, В.З. Демьянков, В.М. Живов, А.Ф. Журавлев, Е.А. Земская, Ю.Н. Караулов, А.Е. Кибрик, Г.А. Климов (отв. секретарь), *Т.М. Николаева, Ю.В. Откупщиков, В.В. Петров, В.М. Солнцев, Н.И. Толстой* (главный редактор), *О.Н. Трубачев* (зам. главного редактора), *А.М. Щербак*

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2.
Институт русского языка, редакция журнала "Вопросы языкознания"

Тел. 201-74-42

Зав. редакцией *Н.В. Ганнус*

© Российская академия наук,
Отделение литературы и языка РАН, 1996 г.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1996

© 1996 г. В. ЖИВОВ, Г. КАЙПЕРТ

О МЕСТЕ ГРАММАТИКИ И.-В. ПАУСА В РАЗВИТИИ РУССКОЙ ГРАММАТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ РУССКОГО И ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО

1. Грамматика И.-В. Пауса была написана в окончательном виде в конце 1720-х годов, т.е. в тот период, когда филологи, работавшие в Академии наук, наиболее активным образом трудились над созданием нормативной грамматики русского языка. Создание грамматики рассматривалось как необходимое условие устроения литературного языка и – далее – приобщения к европейской гуманитарной культуре. Согласно программе, которую В.К. Тредиаковский излагал перед Российским собранием при Академии в 1735 г., оно должно было позаботиться "и о Грамматике доброй и исправной, согласной мудрых употреблению и основанной на оном, в которой коль много есть нужды, толь много есть и трудности" [Тредиаковский 1735: 6–7; 1935: 327–328].

Одна из основных трудностей, тяготивших устроителей нового литературного языка, состояла в размежевании русского и церковнославянского, потому что только в этом случае мог образоваться самостоятельный национальный язык, схожий с новыми литературными языками Европы – церковнославянский при этом воспринимался по аналогии с латынью, и процесс эмансипации русского от церковнославянского должен был идти по тому же пути, по которому следовали французский и итальянский, освобождаясь от латинского наследия. Российское собрание должно было действовать здесь по хорошо известным в Европе образцам Флорентийской Академии, Французской Академии и Лейпцигского собрания, на которые ссылается Тредиаковский в своей речи. На путях европеизации эти образцы следовало повторить и России. Попытки выполнить эту задачу начались в Академии еще до возникновения Российского собрания. Грамматику русского языка пишет в 1731 г. М. Шванвитц со своими пока неизвестными сотрудниками, в приложении к Вейсманову лексикону в том же году публикуется грамматический очерк русского языка, приписываемый В.Е. Адодурову. Грамматические труды И.-В. Пауса непосредственно предшествуют этим опытам и не могли не оказать на них определенного влияния.

В истории русской филологии фигура И.-В. Пауса достаточно заметна. Его ямбические стихи, написанные в развитие традиции, заложенной его коллегой и отчасти учителем пастором И.Э. Глюком, были в свое время исследованы В.Н. Перетцом, одновременно изучившим относящиеся к И.-В. Паусу биографические материалы и опубликовавшим ряд документов [Перетц 1902: 142–297]. Его грамматике, однако, не посчастливилось. Паус представил ее в Академию наук 10 декабря 1729 г. с просьбой переписать и вернуть оригинал [Материалы АН, I: 592]. Не ясно, была ли сделана полная беловая копия (в Архиве Академии наук сохранились лишь первые листы переписанного набело экземпляра – Разряд III, № 332), однако печатать эту грамматику Академия отказалась. После смерти Пауса в 1735 г. черновая рукопись грамматики попала в Библиотеку Академии, в которой она и хранится по сей день (Библиотека Академии наук. Собр. иностранных рукописей (далее БАН), Q 192). В 1950-е годы грамматикой Пауса занимался, по сообщению Э. Винтера [Winter 1958: 749], И. Тетцнер, однако наши старания найти какие-либо следы его работы не принесли результатов. В 1960-е годы попытка опубликовать эту рукопись была пред-

принята Д.Е. Михальчи, однако издание не состоялось. В результате появился лишь ряд статей Д.Е. Михальчи, посвященных этой грамматике [Михальчи 1964; 1968; 1969], и его докторская диссертация "Славяно-русская грамматика Иоганна Вернера Паузе" [Михальчи 1969а], в которой основное место занимала публикация текста грамматики. Поскольку рукопись Пауса представляет существенные трудности для чтения, публикация Д.Е. Михальчи содержит множество неразобранных слов, неправильных чтений, поставленных не на место дополнений и примечаний. Тем не менее это издание (в четырех экземплярах) дает достаточное представление о труде И.-В. Пауса; в наших предварительных наблюдениях мы пользовались именно им, все наши ссылки относятся к этой, несовершенной, к сожалению, публикации и могут воспроизводить ошибки, допущенные публикатором (поэтому, между прочим, мы, как правило, пересказываем, а не цитируем текст Пауса).

Незадачливая судьба грамматики Пауса от времени ее создания до наших дней обусловлена тем, как ее автор решает задачу размежевания русского и церковнославянского, которая выше была определена нами как основная для начального периода языкового строительства. Грамматика Пауса названа и по существу является славяно-русской, т.е. содержит как описание русского, так и описание церковнославянского языка, ее полное наименование – "Anweisung zur Erlernung der Slavonisch-Russischen Sprache zum Nutzen Sonderl. der teutschen Nation aufgesetzt". В принципе, такое совмещение отнюдь не является бессмысленным, и в позднейшее время грамматика этого типа могла найти своего издателя (ср. "Грамматику руководствующую к познанию Славенороссийскаго языка" Аполлоса Байбакова – [Байбаков 1794]). В 1720-х годах, однако, подобное соединение могло восприниматься как одиозное, так что попытки Пауса опубликовать грамматику наталкиваются на сопротивление его коллег по Академии.

В предисловии к грамматике И.-В. Паус недоумевает, почему "die Rußen keine solche Grammatic annehmen wolten da sie doch sonsten die slavonische aestimiren", хотя, на его взгляд, "zwey языки können jawohl brüder u[nd] 2. Sprachen Schwester[n] werden" (БАН, Q 192, л. 3об – в дальнейшем все ссылки на текст грамматики Пауса даются по данной рукописи – как она воспроизводится в публикации Д.Е. Михальчи – и ограничиваются указанием листа). В контексте петровской языковой политики, главным моментом которой было утверждение противостояния "славенского" и "простого русского" (ср. [Живов 1990: 14–28]), опыты синтетического описания могли рассматриваться как вызов господствующей идеологической установке. Поскольку академические филологи исходили из этой установки, труд Пауса естественным образом наталкивался на их неодобрение, предрешившее его судьбу. Паус жалуется на их вмешательство и преследования в предисловии к самой грамматике (л. 4об); в нем упомянут некий переводчик (Translateur – скорее всего М. Шванвитц или В.Е. Адодуров), который не знает "aus dem fundament" ни немецкого, ни русского, но при этом вмешивается в оценку грамматики. Жалобы на Адодурова содержатся и в "Observationes", поданных Паусом в Академию наук в 1732 г.; в них перечисляются ученые заслуги автора и говорится о несправедливом с ним обращении [Winter 1958: 755, 761–762][1].

По существу теми же соображениями руководствуются – спустя почти три столетия – Б.А. Успенский, исключая сочинение Пауса из числа доломоносовских грамматик русского языка, или Е.Э. Бабаева и Н.Н. Запольская, полагающие, что в грамматике Пауса рассматриваются "два языка, соответствующие в сознании автора одному

[1] В предисловии к грамматике (л. 4об) упомянут и некий архиерей, который не имеет права быть судьей грамматического труда Пауса. Можно предположить, что имеется в виду Феофан Прокопович, приверженность которого петровским культурным (в том числе и лингвистическим) установкам хорошо известна (см. о позиции Прокоповича в отношении церковнославянского и русского языков: [Успенский 1985: 121–126]). Борьба по вопросам языка может здесь накладываться, как и во многих других случаях, на политическое противостояние: Паус был связан с Долгорукими, которые в конце 1720-х годов были противниками Прокоповича.

объекту" [Бабаева, Запольская 1993: 197]. Определяя состав русской грамматической традиции, Б.А. Успенский включает в нее лишь те труды, в которых описывается "язык, так или иначе – эксплицитно или имплицитно – противопоставляемый в языковом сознании языку церковнославянскому (независимо от того, что понимается под церковнославянским языком)"; поэтому, по его мнению, "мы вправе говорить об описании русского языка лишь в том случае, если автор описания исходит из такого противопоставления" [Успенский 1992: 65]. Поскольку же в грамматике Пауса "описываются одновременно оба языка – как русский, так и церковнославянский" [там же: 132], эта грамматика из доломоносовской традиции выпадает – вместе со всеми проблемами, связанными с ее влиянием на эту традицию, ее местом в формировании методов описания языка, лингвистической терминологии и, наконец, представлений о соотношении русского и церковнославянского[2]. Как это нередко случается, предубеждения более удачливой стороны (в нашем случае Шванвитца и Адодурова) определяют последующую рецепцию трудов и дел стороны потерпевшей.

2. Паус, действительно, описывает русский и церковнославянский в рамках одной грамматики. Это, однако, не означает, что он не противопоставляет два этих языка или (что было бы совсем странно для немецкого автора) отождествляет их в своем языковом сознании. Паус исходит из противопоставления русского и церковнославянского фактически не в меньшей степени, чем Лудольф, Глюк или Адодуров. Более того, в работе Пауса дается наиболее полный перечень признаков, противопоставляющих два языка, – более обширный, чем у Лудольфа, Поликарпова, Сойе или того же Адодурова. Во многих случаях Паус мог использовать и действительно использовал результаты своих предшественников. Он несомненно знал грамматики Лудольфа (неоднократные ссылки на нее имеются в тексте грамматики) и Глюка (сохранился фрагмент этой грамматики, переписанный Паусом – БАН, Q 121 (см. [Glück 1994: 15]). Знакомство с трактатами Поликарпова, в частности, с его "Технологией" (РНБ, НРСК F 1921.60), кажется маловероятным (ср. сноску 12), хотя полностью исключить такую возможность нельзя (равно как и возможность прямых контактов с Поликарповым и научных дискуссий с ним). Грамматику Сойе Паус знать не мог, но она и не вносила почти ничего нового в набор оппозиций, представленный у Лудольфа. Обращение к предшествующей традиции могло иметь место в двух формах: либо в форме прямого заимствования сделанных предшественниками утверждений, либо косвенным образом, путем сопоставления приводимых ими парадигм с парадигмами Смотрицкого, грамматика которого также была одним из основных пособий Пауса и воспринималась им как нормативный источник сведений о церковнославянском языке, т.е. как исходный материал для сопоставления церковнославянского с русским.

Основной перечень, следующий за вопросом о том, "как русские в своем диалекте изменяют славянские слова" (л. 22об), представляет собой по большей части амплифицированную переработку списка Лудольфа. Предваряя перечень, Паус перечисляет способы, при помощи которых "славянские" слова изменяются в "русские", – речь идет о тех формальных преобразованиях (вставке или отбрасывании или замене буквы), в терминах которых грамматисты XVIII в. (включая Адодурова и Ломоносова) мыслили подобные процессы. К этим способам относится: 1) вставка буквы в первом слоге или его удвоение посредством *е* или *о*, что частью имеет место в начале слова, когда оно начинается двумя согласными; 2) замена букв, как например, *е* и *о*, *о* и *а*, *в* и *г*, *иваю* и *ую*; 3) добавление или протеза; 4) отбрасывание конечной буквы или апокопа; 5) пропуск срединной буквы или синкопа; 6) перемена целого слова (л. 22об).

Далее следует список, иллюстрирующий эти способы. Он содержит:

(1) два десятка примеров неполногласных и полногласных основ, включая формы с приставками *пре-* и *пере-* (*преводъ – переводъ*, *преписати – переписати*, "равно и в

[2] О грамматике Пауса упоминает и В.А. Ольховиков, указывая, что в ней описывается «"смешанный" язык: древнерусский и русский». Автор, впрочем, справедливо замечает, что Паус "различал эти два языка" [Ольховиков 1985: 155].

других с *пре*" – л. 23) и, поскольку соотношение трактуется формально, *дска – доска*. Это расхождение отмечено и Лудольфом [Ludolf 1696: 4];

(2) соответствия с *е* и *о*; Паус повторяет примеры Лудольфа *единъ – одинъ, езеро – озеро, есень – осень* (ср. Там же), но добавляет к ним *ученъ – учонъ, Кіевъ – Кіовъ* (л. 23об);

(3) оппозиции типа *такого – таково, нощь – ночь*, которые также восходят к Лудольфу [Ludolf 1696: 5], но у Пауса проиллюстрированы дополнительными примерами.

Затем идут оппозиции, у Лудольфа отсутствующие. Сюда относятся:

(4) лексемы с *ра- – ро- (равно – ровно, разно – розно)* и образования с приставками *раз – роз*;

(5) определяемые в качестве русизмов вторичные имперфективы *(сказую – сказываю)*;

(6) формы с протетическим *в*, противопоставленные формам без протезы (*очимъ – вочимъ, осмь – восмь* и др.);

(7) формы инфинитива с безударным *-и* поставлены в оппозицию формам с апокопой конечной гласной (*быти, бити, дати, писати – быть, бить, дать, писать*) (см. ниже, № 52);

(8) аналогичное противопоставление устанавливается для форм 2 л. презенса (*читаети, хочеши – читаешь, хочешь*), прецедент такой трактовки имеется в "Технологии" Ф. Поликарпова 1725 г.: в "великороссийской" парадигме, контрастирующей со "славенской", даются только формы с *-шь* [Успенский 1994: 111] (ср. № 51);

(9) как относящиеся к противопоставлению языков трактуются различия в числительных (*седмь – семь, двадесять – двацать, тридесять – трицать*), образуемые синкопой.

После этого Паус переходит к лексическим оппозициям, т.е. оппозициям, образуемым переменой целого слова. Сюда включаются:

(10) личные местоимения (*азъ – я, ми – мнѣ, мя – меня*), список носит выборочный характер, поскольку в существенно более полном виде он дается в разделе, посвященном местоимениям (см. №№ 36–41);

(11) повторяются примеры, приводимые Лудольфом [Ludolf 1696: 5]: *днесь – севодня, выну – всегда, глаголю – говорю, реклъ – говорилъ* (у Лудольфа – *сказал*), *тунѣ – даром* (л. 23об – 24)[3];

(12) они дополнены рядом собственных примеров: *унѣ – лучше, лѣгчѣ, гряду – иду, хожю, приду, рабъ – слуга, рабыня – служанка, око – глазъ, перстъ – палецъ, иже – которои, кои, бл҃гъ – добръ, хорошъ, чермно – красно, міръ – свѣтъ, путь – дарога, подобно – ровно, буто, потребно – надобно* (л. 24).

Паус не дает этот список как исчерпывающий. Напротив, в конце перечисления он замечает, что отличия русского от церковнославянского "в акциденциях" (т.е. в грамматических показателях) будут показаны при рассмотрении частей речи, а в качестве примеров таких отличий приводит в склонении изменение согласных *к* и *г* (т.е. формы типа *руцѣ – рукѣ*) и *го – во* в генетиве, а в спряжении славянские претериты на *-хъ* vs. русские на *-лъ* (л. 24). Эти грамматические показатели указаны и у Лудольфа [Ludolf 1696: 4–5], что и объясняет упоминание о них при перечислении отличий русского от церковнославянского, самим своим положением в тексте повторяющим Лудольфа.

---

[3] Единственная лексическая оппозиция, имеющаяся у Лудольфа и отсутствующая у Пауса, это *истина – правда* [Ludolf 1696: 5]. Можно предположить, что Паус сознательно ее исключает, поскольку его наблюдения над церковнославянским опираются (если они не почерпнуты из Смотрицкого) на эксцерпирование славянского перевода Библии. При обращении к этому тексту, который он рассматривает как эталон церковнославянского, Паус не мог не заметить, что лексема *правда* постоянно в нем встречается.

Различия между русским и церковнославянским регулярно упоминаются во всех разделах морфологического описания "славяно-русского" языка. Так, при описании категорий имени говорится о том, что

(13) в славянском постоянно употребляется дв. число, тогда как в русском его употребление ограничено словосочетаниями, в которых имя согласуется с числительным *два, двѣ* (л. 42, 44). Формы дуалиса употребляются, однако, вместо плюралиса и после числительных *три* и *четыре (три года, четыре года)*. Формулировки Пауса однозначно указывают на источник – грамматику Лудольфа [Ludolf 1696: 12–13], отличие состоит лишь в примерах (у Лудольфа – *два попа, три попа, четыри попа*). Дв. число как категория, противопоставляющая русский и церковнославянский, указывалась и в других предваряющих Пауса описаниях – у Глюка [Glück 1994: 238] и Поликарпова [Успенский 1994: 110].

(14) Сходным образом трактуется и категория превосходной степени прилагательных. Образование превосходной степени в славянском описывается как добавление *ѣй* и *ай* в форму сравнительной степени (*святшій – святѣйшій*), и трактовка, и пример совпадают с Лудольфом [Ludolf 1696: 20]. Для русского вместо этого указывается образование с помощью "местоимения" *само*, слова *всѣхъ* или деминуитива. Паус приводит примеры: "*самочисто* oder *чистохинко* gantz rein, *самодобръ* sehr gut... *самолучше* am besten", а для конструкций со *всѣхъ* пример *Москва болши всехъ город на Русіе* с прямой ссылкой на Лудольфа (л. 34–34об). Русская превосходная степень явно оказывается камнем преткновения, и Паус комбинирует разные решения: конструкцию со *всѣхъ*, взятую у Лудольфа, образования с *само*, заимствованные у Глюка (который дает их как вариант к конструкции со *всѣхъ* – [Glück 1994: 232]) и деминуитив в качестве собственного изобретения. У Поликарпова в этой же функции выступают конструкции с *очунь* [Успенский 1994: 110], но Паус их не использует.

Многочисленные замечания о различиях славянского и русского делаются при описании склонения существительных. Указываются следующие признаки, противополагающие русский и церковнославянский:

(15) в русском, в отличие от славянского, вокатив совпадает с номинативом не только во множественном, но и в ед. числе, кроме слов *Господи, Боже* и других "священных" (sacris) наименований, связанных с религией (лл. 44, 45об, 48об). Формулировка и здесь ясно указывает на источник, а именно на грамматику Лудольфа, в которой говорится, что "in vulgari dialecto Vocativus similis sit Nominativo, nonnunquam tamen Vocativum Slavonicum eos retinere, quod fieri solet in rebus spectantibus ad religionem", единственный пример: *Боже* [Ludolf 1696: 15]. Вокатив (за немногими исключениями) дается как омоним номинатива в грамматике Глюка [Glück 1994: 72–74], а замечание об этой омонимии как признаке русского языка содержится у Поликарпова [Успенский 1994: 110].

(16) В парадигме слова *судія* противопоставляются формы дат. ед. *судіи*, им. и зв. мн. *судій*, род. мн. *судіи*, вин. мн. *судіи*, русским формам с флексиями *-ѣ, -е, -ей, -еи* (л. 47). Парадигма этого слова есть и у Смотрицкого [Смотрицкий 1619: л.Д/5–5об; Смотрицкий 1648: л. 102об – 103; Смотрицкий 1721: л. 37–37об], и у Глюка [Glück 1994: 56, 183], видимо, отталкивавшегося от Смотрицкого. Замечания Пауса могут быть результатом сопоставления этих двух парадигм, за исключением не поддающейся объяснению формы им. мн. *судіе*. Варианты с этими флексиями (кроме аномальной флексии им.-зв.мн.) приводятся и в других парадигмах мягкой разновидности (л. 47) и, видимо, также должны интерпретироваться как относящиеся к двум разным языкам.

(17) Отмечается, что у одушевленных существительных м. рода аккузатив равен генитиву, для ед. числа это рассматривается как общая норма (в качестве исключения приводится цитата из Ин. XX, 22: *пріимите дхъ свтъ*), тогда как для мн. числа указывается, что в славянском это не всегда имеет место (л. 48). Трактовку синкре-

тизма аккузатива и генитива во мн. числе как "русизма" находим и у Поликарпова [Успенский 1994: 110].

(18) Говорится, что в славянском, в отличие от русского, у существительных, кончающихся на *г*, *к* и *х*, эти буквы переходят в ряде падежей (местн. ед., им., зват., местн. мн) в *з*, *ц* и *с* (л. 48об). В качестве "славянизма" это чередование трактуется и у Лудольфа [Lüdolf 1696: 4], и у Поликарпова [Успенский 1994: 110].

(19) Указывается, что окончание тв.ед. *-емъ* в русском произносится как *-омъ* (*лицемъ* как *лицомъ* – л. 48об). В предшествующей традиции это наблюдение прецедента не имеет.

(20) Паус первым интерпретирует в качестве "русизма" окончание *-амъ* в дат. мн. *о*-склонения у существительных м. рода, противопоставляя его "славянскому" окончанию *-омъ* (л. 49)[4].

(21) Аналогичным образом указывается, что в местн. мн. существительных *о*-склонения в славянском употребляются окончания *-ехъ* и *-ѣхъ*, тогда как русские по большей части говорят *-ахъ* (л. 49). В этом случае, как и в предшествующем, Паус мог исходить из сопоставления парадигм Смотрицкого (как образцов "славянского") и Глюка (как образцов "русского"; о Глюке см.: [Glück 1994: 74–76]). Характерно, что здесь Паус явно отступает от Лудольфа, который в дат. мн. дает только *-омъ*, а в местн. мн. – только *-ехъ* [Ludolf 1696: 16–18]. В тв. мн. Паус также по большей части фиксирует окончание *-ами*, а не *-ы*, однако это различие во флексиях тв. мн. как оппозицию русского и славянского не трактует; можно думать, что причина этого в широком использовании флексии *-ами* в парадигмах Смотрицкого [ср.: Horbatsch 1964: 20; Смотрицкий 1721: л. 40 и сл.]: Паус закономерно полагает, что *-ами* свойственно не только русскому, но и славянскому.

(22) Согласно Паусу, у существительных м. рода *i*-склонения (четвертое склонение у Пауса) в славянском окончание род. ед. *-е*, им. мн. *-іе (дне, дніе)*, в русском – *-я*, *-и (дня, дни)* (л. 55). Для им. мн. отмечены и другие оппозиции: *кня́зи* s. *іе*, *свидѣтели* s. *іе*, а также *людіе* – *R*. [т.е. ruthenice] *люди* (л. 56об). Здесь Паус вполне самостоятелен.

(23) В местн. ед. четвертого склонения "славянскому" окончанию *-и* соответствует "русское" -ѣ (Objectivus hat ruthenice mehr ѣ als *и* – л. 55об). Паус мог сделать этот вывод, сопоставляя парадигмы Смотрицкого (некоторые из парадигм Смотрицкого он воспроизводит) и Глюка (который, впрочем, не различает ѣ и *е* и в местн. мн. дает *-е*). В парадигме слова *князь* отмечено *кня́зѣ* S. *и* (л. 56об), аналогичные варианты, хотя и без квалификации, даются и в других парадигмах. Вывод Пауса остается оригинальным.

(24) В качестве славянской в парадигме *царь* дается форма дат. ед. *цареви* – наряду с формой *царю*, которая никак не характеризуется (л. 56об).

(25) Указывается, что в славянском собирательное от *господинъ господіе*, а в русском *господи* или (согласно употреблению) *господа* (л. 56). И это различие в предшествующей традиции неизвестно. Паус кроме того добавляет, что "im Slav. *господь* auch von Menschen gesagt wird, vid. Ioh. XII, 21" (Там же)[5].

---

[4] Паус фиксирует эту оппозицию только для существительных м. рода, тогда как для существительных ср. рода считает, что флексия *-амъ* свойственная и русскому и церковнославянскому. Он может при этом ориентироваться на грамматику Смотрицкого, в которой данная флексия дается в качестве варианта при ряде существительных ср. рода (ср. [Horbatsch 1964: 19; Смотрицкий 1648: л. 112об; Смотрицкий 1721: л. 45об]), так и на языковую практику: в некоторых церковнославянских текстах XVII – начала XVIII в. флексия *-амъ* у существительных ср. рода представлена в значительной пропорции (ср. [Живов 1993: 106]).

[5] В одной из маргиналий Паус указывает также, что в склонении слов типа *знамение* род. мн. в собственно русском может быть на-*евъ* и приводит пример *кушаніевъ* (л. 57об). Согласно Паусу это делается отчасти ради различения (видимо, с местн. ед.), отчасти же из-за невежества. Данный вариант трактуется, таким образом, как вульгарный.

(26) В качестве эквивалента славянских форм *вравіи* (sic!) и *мравіи* у Пауса выступают русские *воровей* и *моравей* (л. 57). Использование этих примеров восходит к Смотрицкому [Смотрицкий 1619: л.S/7об–8; 1648: л. 126об–127; 1721: л. 62–62об], а русский коррелят *моровей* мог быть в принципе почерпнут из Лудольфа [Ludolf 1696: 18]. Их противопоставление, однако, принадлежит Паусу.

(27) В парадигмах склонения на *-ер-* славянским *матерь, мати, дщи* соответствует русское *мать, дочь*, причем у существительных в славянском окончание род. ед. *-е*, а в русском часто *-и*, в дат. ед. в славянском *-и*, в русском *-ѣ* (л. 59). И в этом случае Паус мог воспользоваться сопоставлением парадигм Смотрицкого [Смотрицкий 1648: л. 121–122; 1721: л. 46–46об] и Глюка (см. [Glück 1994: 77, 79, 187, 225]), однако у Глюка в дат. ед. даются формы *матери, дочере*, так что Паус и здесь самостоятелен.

Не менее тщательно зафиксированы различия в склонении прилагательных, при этом говорится, что, несмотря на различия, сходства в славянском и русском склонении достаточно многочисленны, чтобы в рамках одной парадигмы отметить славянские варианты буквой *S*, а русские – буквой *R* (л. 60). В таблице окончаний последовательно этого не сделано, однако в тексте необходимые указания приводятся.

(28) В качестве общего указания говорится о том, что в славянском при склонении прилагательных имеет место чередование заднеязычных со свистящими и шипящими (л. 60), которое отсутствует в русском языке. Чередование со свистящими отмечается в местн. ед., им., зват. и местн. мн. прилагательных м. рода, в местн. ед. прилагательных ж. и ср. рода; в зват. ед. м. рода заднеязычные чередуются с шипящими. В качестве примера Паус приводит *блг҃омъ, блз҃ѣмъ, блз҃ѣ, блж҃е*. Это указание повторяет сделанное при описании склонения существительных (см. № 18) и может рассматриваться как разработка замечаний, встречающихся у Лудольфа и Поликарпова.

(29) Относительно окончаний род. ед. и вин. ед. м. (и ср.) рода указывается, что форма этих падежей "variirt ruthenice sehr" и в качестве вариантов приводятся *огѡ, ово, ова* (л. 60) – в парадигме склонения прилагательного *добрый*, восходящей, видимо, к Глюку [Glück 1994: 230], в вин. ед. м. рода дается форма *добраго*, а в род. ед. ср. рода *добрагѡ*, что имплицитно устанавливает оппозицию русск. *-огѡ, -ово* и т.д. и слав. *-аго* (л. 61; правда, в род. ед. м. рода приведена форма *добровѡ*). Противопоставление могло быть выведено из сопоставления парадигм Смотрицкого и Лудольфа, однако именно Паус отмечает вариативность русских окончаний, а различие между русским и славянским проводит по первой гласной окончания (у Лудольфа – [Ludolf 1696: 5] – слав. *-го* противостоит русск. *-во*).

(30) Указывается, что в русском у прилагательных ж. рода окончание род. ед. часто замещается окончанием дат. ед. (т.е. *-ой, -ей*) или славянское окончание *-ыя/-ия* изменяется в *-ые*, как в *блж҃енные памяти* (л. 60). Оппозиция *-ыя* – *-ой* могла быть выведена из сопоставления парадигм Смотрицкого и Лудольфа (но не Глюка), хотя формулировка, описывающая особенность русской парадигмы как замещение флексии род. ед. флексией дат. ед. ближайшим образом напоминает формулировку Поликарпова [Успенский 1994: 110]. Наблюдение о возможности замены *-ыя* на *-ые* полностью оригинально и, видимо, отражает работу Пауса с текстами, в частности, с приказными текстами, для которых характерна флексия *-ые*[6].

(31) Отмечено, что в им.-вин. мн. ч. ср. рода в русском часто употребляется окончание *-ие* или *-ые* (л. 60об), тогда как в парадигме прилагательного *добрый* (равно как и в таблице) приводится флексия *-ая* (л. 61–61об). Противопоставление этих флексий не имеет прецедента и не могло быть получено сопоставлением парадигм, поскольку и

[6] Одним из основных источников для выявления особенностей русского языка служило Паусу Уложение 1649 г., из которого он с этой целью делал выписки (реализуя, возможно, указание Лудольфа на то, что Уложение написано "vulgari dialecto" – [Ludolf 1696: fol. A^{v}]. Отметим, что в Уложении 1649 г. флексия *-ые* в род. ед. ж. рода широко представлена, однако как раз приводимое в грамматике словосочетание встречается в форме *блаженыя памяти* [Уложение 1987: 17], т.е. не с тем окончанием, которое дает Паус.

у Лудольфа, и у Глюка в качестве окончаний им.-вин. мн. ср. рода приводится *-а* или *-ая*[7].

(32) В парадигме прилагательного *добрый* в им. ед. м. рода окончание *-ой* дается с пометой *R* (русское), окончание *-ый* – с пометой *S* (славянское). Паус первым вводит это противопоставление; он мог при этом опираться на сравнение парадигм у Смотрицкого и Глюка или Лудольфа: Глюк дает в качестве вариантов *доброй* и *добрый* [Glück 1994: 230], Лудольф фиксирует только окончание *-ой* [Ludolf 1696: 19].

(33) В склонении числительных противопоставлена славянская парадигма *единъ* и русская *одинъ* (л. 62об); эта оппозиция восходит к Лудольфу, упоминалась в общем перечне различий русского и славянского (см. № 2) и сама по себе могла бы быть оставлена здесь без внимания. Большая часть различий во флексиях парадигм *единъ* и *одинъ* также повторяет уже рассматривавшиеся в склонении прилагательных оппозиции, например: *единагѡ – однаво, единыя – однои, единѣй – однои, единаго – однаво, единѣмь – однымъ, единѣмъ, омъ – однoмъ*. Не находит соответствия в предшествующем материале то обстоятельство, что в парадигме *единъ* в косвенных падежах даются и полные и краткие формы, тогда как в парадигме *одинъ* – только полные формы. Краткие формы в косвенных падежах выступают тем самым как специфическая принадлежность славянского. Одновременная фиксация кратких и полных форм в парадигме *единъ* повторяет (с рядом исправлений и уточнений, отражающих, видимо, работу с церковнославянскими текстами) Глюка [Glück 1994: 241], однако конфронтация этой парадигмы с парадигмой числительного *одинъ* и возникающая отсюда оппозиция являются самостоятельным наблюдением Пауса.

(34) Две парадигмы – славянская и русская – приводятся и для числительных *два* и *три (тріе)* (л. 63). В обоих случаях отправной точкой для Пауса служит, видимо, Глюк [Glück 1994: 241–242]. Ту дублетность, которую вносит в свои парадигмы Глюк, соединяя известное ему (Глюку) употребление с парадигмами Смотрицкого, Паус трактует как различие между русским и славянским. От Смотрицкого к Глюку переходит трактовка парадигмы *два* как форм дв. числа с свойственным дуалису синкретизмом им.-вин.-зв., род.-местн., дат.-тв. и с формами – соответственно – *два (двѣ), двою (двѣю), двѣма* [Смотрицкий 1619: л. К/2–3об; 1648: л. 154–155; 1721: л. 86–87]. Эту парадигму Паус дает как славянскую, противопоставляя ей русскую с формами *двухъ, двумъ* и *двумя*. Славянская и русская парадигма числительного *три* различаются основами. В славянской основой является *три* и от нее образуются формы *тріе, тріехъ, тріемъ*; этим формам противопоставлены русские *три, трехъ, тремъ*. Паус, таким образом, реинтерпретирует искусственное противопоставление Смотрицкого (*три* и так далее в ж. и ср. роде, *тріе* в м. роде [Смотрицкий 1619: л. К/2–3об; 1648: л. 154–155; 1721: л. 86–87]) как оппозицию двух языков, и это отличает его решение от решения Глюка.

(35) Говорится и о нескольких других частных отличиях. Согласно Паусу, в славянском у числительного *пять* и следующих за ним род. имеет флексии *-ихъ* и *-ехъ*; в русском в род. и дат. *шесть* получает форму *шти*, славянским *седмь, осмь* соответствуют русские *семь, восмь* (л. 63–63об).

Многочисленные оппозиции указываются при описании местоимений. Эти указания даются как при перечислении исходных форм, так и при описании парадигм.

(36) При перечислении исходных форм устанавливаются следующие соответствия между славянскими и русскими местоимениями: *азъ – я, кто – хто, той – тотъ, кій –*

---

[7] В грамматике Сойе у прилагательных им.-вин. мн. ж. и ср. рода фиксируется окончание *-ия/-ыя* [Sohier, I: XII, 53–59], тогда как в аналогичных формах м. рода дается флексия *-ие/-ые*. Это распределение не соответствует реальному узусу начала XVIII в. и представляет собой нормализационное решение. Паус с этим описанием знаком не был, его наблюдения соответствуют языковой практике, а вывод о противопоставленности русского и церковнославянского в данном отношении сделан вполне самостоятельно.

кой, иже – которои, чіи – чей (л. 91–91об), *кіиждо – каждои* (л. 94об). Некоторые из этих оппозиций могли быть результатом сопоставления данных Смотрицкого с Лудольфом или Глюком (например, у Смотрицкого *азъ, кто, чіи*, у Лудольфа, ѧ, *хто, чей*), однако таким образом не мог бы быть получен весь набор оппозиций. Для ряда оппозиций их квалификация в терминах противопоставления двух языков была явной инновацией, ср., например, исходную форму *той*, совпадающую у Смотрицкого, Лудольфа и Глюка, или местоимения *кто, кіи, чіи*, дающиеся у Глюка без комментариев [Glück 1994: 257–259]. Похоже, что Паус использовал при этом материалы, полученные при расписывании текстов, ср., например: *будетъ которо*ᵘ *судїя* (л. 92об – видимо, выписано, из Уложения 1649 г., ср. [Уложение X 3, 15, 24]) или *сїи въ жизнь вѣчную, а они во укоризну* (л. 92об – Дан. XII, 2).

(37) Ряд оппозиций фиксируется в падежных словоформах личных и возвратного местоимений. Как славянские охарактеризованы краткие энклитические формы *ми, мя, ти, тя, си, ся*, которым противопоставляются русские *мнѣ, меня, тебѣ, тебя, себѣ, себя*. В род.-вин. в качестве противопоставленных указываются формы *мене – меня, тебе – тебя, себе – себя*. Для местоимений *мы* и *вы* в вин. приводятся оппозиции *насъ – slav. ны, васъ* – slav. *вы* (л. 93). И в этом случае заметны инновации Пауса. Если характеристика энклитических местоимений как славянских отчасти повторяет Глюка (который в этом качестве приводит формы *тя* и *ся* – [Glück 1994: 252]), то для других оппозиций прецедент отсутствует, причем получение их из сопоставления парадигм также не было элементарной операцией [ср. у Лудольфа формы род. *мене, тебе, себе* – [Ludolf 1696: 21–22]).

(38) В склонении прочих местоимений выделяемые оппозиции по большей части повторяют (ввиду частичного или полного тождества флексий) те, которые уже фиксировались в склонении прилагательных и числительных. Так, в парадигме местоимения *самои, самъ* и *онои, онъ* фиксируются оппозиции в род. ед. м. и ср. рода *самого – R. самово, онаго – R. оново*, род. ед. ж. рода *самыя – R. самой, оныя – R. оной*, вин. ед. м. рода *самого – R. самово*, выводимые из уже известных оппозиций адъективного склонения. К ним добавляются род. мн. *самѣхъ – R. самихъ, онѣхъ – R. о́ныхъ*, дат. мн. *самѣмъ – R. самымъ, о́нѣмъ – R. онымъ* (л. 93–93об), которые в принципе могли бы быть получены сопоставлением парадигм Смотрицкого с парадигмами Лудольфа и Глюка.

(39) В парадигме местоимений *онъ, она, оно* к контрастирующим формам относится род. ед. м. рода *егѡ̀ – R. евò*, род. ед. ж. рода *ея – R. еѣ*, вин. ед. м. рода *его – R. ево*, вин. ед. ж. рода *ю – R. ею* (sic!), вин. мн. *ихъ – S. я* или ꙗ (л. 93об). В этом случае детали явно обнаруживают работу со Смотрицким и Глюком; на Смотрицкого указывают дублеты в вин. мн., в этой грамматике распределенные между м. и ср. рода, с одной стороны (ꙗ̑), и ж. родом – с другой (ѧ̑) [Смотрицкий 1619: л. М/8–8об; 1648: л. 178–178об; 1721: л. 106–106об]; на Глюка указывает странная форма вин. ед. ж. рода *ею*, т.е. повторяющая Глюка [Glück 1994: 253] ошибка. И в этом случае, впрочем, Паус достаточно оригинален: оппозиция *ея – R. еѣ* никакого прецедента не имеет и возникает, видимо, в результате обработки деловых (приказных) текстов (см. об этой форме в Уложении 1649 г.: [Черных 1953: 326]).

(40) В парадигме местоимений *кто* и *что* противопоставленные формы включают: им. *кто – R. хто*, род. *когѡ – R. ково́, чесо́гѡ – R. чевѡ*, вин. *кого – R. ково, что* oder *чесо – R. чево* (л. 93об–94). Оппозиции практически целиком выводятся из сопоставления Смотрицкого и Лудольфа, единственное новшество – форма вин. *чево* (у Лудольфа и Глюка *что*), которая характеризуется как специфически русская (и, возможно, отражает наблюдения Пауса над разговорным узусом).

(41) В парадигме местоимения *той* в им. мн. для славянского даются различающиеся по родам формы *тіи* и *ти, тія* и *ти, тая* и *та*, которые восходят к

Смотрицкому [Смотрицкий 1619: л. Л/6–6об; 1648: л. 167об–168об; 1721: л. 97–98][8] и которым противопоставлено русское *тѣ* "per 3 genera". В вин. мн. славянским формам *тыя, ты* и *тая, та* противостоит русская *тѣхъ*; Паус, видимо, разносит по языкам варианты, приводимые у Глюка [Glück 1994: 255], несколько их модифицируя. В дат. мн. форме *тѣмъ* (зафиксированной и у Лудольфа, и у Глюка) противопоставлена sl. *тымъ*, приводимая Смотрицким [Смотрицкий 1619: л. Л/6–6об; 1648: л. 167об–168об; 1721: л. 97–98]. Сверх того указывается, что "die Rußen brauchen auch *тотъ* der- dieser, g. *товѡ, той*, [...] Item *етой, ета, ето* [...] An statt *тую* wird gemein ruth. *тою* manchmahl gebraucht, als *тою кабалу* [...]" (л. 94).

В разделе, посвященном наречиям, оппозиции русского и славянского почти не упоминаются в силу ограниченности словоизменительных параметров в этом классе слов.

(42) Тем не менее Паус говорит, что от большинства прилагательных могут быть образованы наречия качества, причем в русском такие наречия оканчиваются на *о* (*ѡ*), а в славянском на *ѣ* или *о* (*ѡ*) (л. 143). Эта оппозиция в дальнейшем иллюстрируется такими примерами, как *добрѣ* – *ruth. добрѡ, хорошѡ, слѣ* – *ruthen. худѡ* (л. 144об). Данное наблюдение прецедента не имеет[9].

(43) Общая схема степеней сравнения наречий, предлагаемая Паусом, несколько отличается по использованным аффиксам от схемы Смотрицкого, ср. у Пауса: *близкѡ* – *ближѣ* – *ближаишѣ, доволнѣ* – *доволнѣе* – *доволнѣйши* (л. 147) (ср. у Смотрицкого: **крѣпкѡ – крѣпчáе – крѣпчáйши** [Смотрицкий 1619: л. Х/2; 1648: л. 272об; 1721: л. 187об]) и не находит прямого соответствия в трактовке степеней сравнения прилагательных. Паус не противопоставляет русских и славянских форм в образовании сравнительной степени. Для превосходной степени он говорит, что в славянском здесь используются соответствующее окончание (т.е., видимо, *аишѣ* или *ѣйши*) или добавление *пре*; в русском превосходная степень выражается с помощью *само, гораздѡ, очюнь* (л. 147). Способ моделирования оппозиции напоминает тот, которым Паус пользуется, трактуя прилагательные (см. № 14), однако полного совпадения здесь нет и само введение этого противопоставления остается инновацией Пауса.

(44) Для значительного числа наречий Паус указывает соотносительные славяно-русские пары. К ним относятся: *сездѣ* – *ruth. вотъ, вездѣ* – sl. *всюду, спереди* – *ruth. напред, камѡ* – *russ. куда, куды, онде, онýду* – *ruth. туда, туды, горѣ* – *ruth. на верхъ* (л. 143 об.), *днесь* – *ruth. севоднѣ, поздѣ* – *ruth. позднѡ, дондеже* – *ruth. доколѣ, докулѣ, прежде* – *ruth. наперед* (л. 144), *добрѣ* – *ruth. добрѡ, хорошѡ, слѣ* – *ruthen. худѡ* (л. 144об.), *изустнѡ* – *ruth. словеснѡ, сугубѡ* – *ruth. вдвое, двойнѡ, единою, единащи* – *ruth. одинажды* (л, 145), *лишше* – *vulg. сълишкомъ, мнѣе* – *R. менишѣ, чесо* – *R. чево* (л. 146), *кромѣ, развѣ* – *slav. свѣне, се* – *R. вотъ* (л. 146об.). За единичными исключениями все эти оппозиции являются новшеством и отражают работу Пауса с источниками. Не все из них удачны, ср. хотя бы пару *изустнѡ* – *ruth. словеснѡ*, которая вряд ли отражает реальное различие между церковнославянским и русским узусом; очевидна и неполнота этого перечня; однако не вызывает сомнения установка автора на выявление элементов, противопоставляющих два языка.

---

[8] В такой трактовке можно, кажется, видеть указание на то, что Паус, как в свое время и Глюк [Glück 1994: 55–59], пользовался московским изданием Смотрицкого 1648 г., а не последующим поликарповским изданием 1721 г. В издании 1721 г. к форме им. мн. м. рода тѝ Поликарпов делает примечание "нынѣ не **ѹпотребляется**" [Смотрицкий 1721: л. 97]; Паус никаких подобных оговорок не делает, возможно, именно потому, что не знаком с данным источником.

[9] Раздел о наречиях изложен Паусом с большой подробностью, тогда как у Лудольфа он занимает всего несколько строк, а у Глюка вообще отсутствует. В качестве параллели к данному наблюдению Пауса можно указать, что Софроний Лихуд, исправляя "Географию генеральную" Б. Варения (перерабатывая ее со "славенского" на "простой русский"), заменяет наречия на -*ѣ* наречиями на -*ѡ* (см. [Живов 1986: 250]).

(45) В трактовке предлогов Паус существенно отходит от Смотрицкого, увеличивая их состав до пятидесяти. В качестве предлогов рассматриваются и приставки, что побуждает Пауса различать (по немецкой модели) отделяемые и неотделяемые предлоги (сочинительные и несочинительные, separabiles и inseparabiles в его терминологии – л. 148). К несочинительным относятся приставки, которые не могут выступать как предлоги (*воз, низ, раз, пре, вы*). По поводу этих элементов Паус замечает, что славянским *раз* или *рас* соответствуют русские *роз* или *рос* (л. 148), эта приставка "rußisch ist u. in gem. Rede gebraucht wird" (л. 149об – это повторяет наблюдение, сделанное в начале грамматики – см. № 4), что *вы* является русским элементом, и наконец, что *воз* в славянском может употребляться в качестве "отделяемого" предлога. Для последнего случая он приводит два примера, извлеченные им из Библии (*иже воздастъ злое воз доброе* – Пр. XVII, 13; *благодать воз благодать* – Ин. I, 16), говорит, что такое употребление – редкость и что в русском в данном значении фигурирует предлог *за* (л. 148об.). И эти наблюдения прецедента не имеют.

(46) Говоря о союзах, Паус отмечает в качестве специфически славянских *аще* и *убо* в составе уступительных, а для условных дает противопоставление *аще wenn – ruth. ежели бы* (л. 150).

Наиболее контрастно, естественно, различия между славянским и русским выделяются при описании глагола. В "Observationes" 1732 г. Паус писал даже, что "nur müssen slavonischerseits die ungeheure Endungen in den praeteritis und indefinitis wegbleiben, so ist weniger difference unter ihnen beiden" [Winter 1958: 759]. Вообще говоря, славянскую глагольную парадигму Паус заимствует у Смотрицкого, хотя и делает некоторые критические замечания относительно трактовки глагольных категорий в этом своем источнике. Русскую парадигму Паус дает как самостоятельную, указывая при этом, что "die Rußische Conjugation kan aus der Slavonischen sehr leicht erachtet werden" (л. 119). Славянская и русская парадигмы, приводимые по отдельности (лл. 116–120об), различаются как составом категорий, так и набором флексий.

(47) Относительно наклонений Паус утверждает, что в русском имеются только три наклонения: индикатив, императив и инфинитив; конъюнктив, кондиционалис и оптатив как отдельные категории в русском отсутствуют, поскольку не имеют особых флексий и должны рассматриваться вместе с индикативом и императивом. В славянском, однако, выделяются дополнительно молительное (оптатив), сопрягательное (конъюнктив) и подчинительное (субъюнктив) наклонения. Указывая три последних ("славянских") наклонения, Паус следует Смотрицкому [Смотрицкий 1619: л.Н/5об; 1648; л.184об; 1721: л.111об], лишь слегка модифицируя терминологию (*сопрягательное* вместо *сослагательного*), хотя неясно, интерпретирует ли он все эти три категории как реальную принадлежность славянского, отличающую его от русского. Для оптатива он указывает возможность особого окончания *-имъ* во мн. числе, приводя пример *да дѣлаимъ бл҃гое*; эта флексия, однако, может заменяться окончанием *-емъ*, а в остальном оптатив не отличается по окончаниям от индикатива и императива. Скептически относится Паус и к выделению сопрягательного и подчинительного наклонений, поскольку они образуются без особых окончаний с помощью вспомогательного глагола (*быхъ* или *былъ*) и правила их образования могут быть даны в синтаксисе (л. 102). В славянских парадигмах, тем не менее, Паус эти наклонения фиксирует. Исключая "лишние" наклонения из русской парадигмы, Паус следует Лудольфу [Ludolf 1696: 28], пересматривая в то же время решение Глюка, который сохраняет в русском спряжении парадигмы конъюнктива [Glück 1994: 101–108].

(48) Различен, как и ожидается, состав временных категорий, которые Паус приписывает славянскому и русскому глаголу. Вообще говоря, Паус выделяет четыре основных времени, общих для русского и славянского: praesens (настоящее), praeteritum imperfectum (прошлое), futurum (будущее) и indefinitum (непредельное) (л. 103): *люблю, любихъ или любилъ, возлюблю, возлюбихъ или возлюбилъ*. В славянской парадигме к

ним добавляется plusquamperfectum (мимошедшее) *любяахъ*, который, по наблюдениям Пауса, употребляется весьма редко и в качестве русского соответствия имеет *любяалъ*, и образуемый от фреквентативов perfectum *любляхъ*, для которого русским соответствием является *люблялъ* (л. 103). Хотя соответствия устанавливаются (формальной заменой флексии), в русскую парадигму эти времена не введены (л. 119об); тем самым они оказываются специфической принадлежностью славянского. Решение Пауса не совпадает с тем, что предлагают Лудольф и Глюк. Лудольф ограничивается тремя временами: настоящее, прошедшее и (сложное) будущее; Глюк на уровне грамматической схемы различает перфект, имперфект и плюсквамперфект, но во всех трех прошедших временах приводит одни и те же формы. Четыре основных времени Пауса ближайшим образом напоминают грамматику Максимова [Максимов 1723: 35], хотя вряд ли непосредственно восходят к этому источнику: Максимов также выделяет два прошедших времени (*бихъ* и *побихъ*), соотнесенных с настоящим и будущим (*бию* и *побию*), однко обозначает их другими, нежеди Паус, терминами ("преходящее" и "прешедшее"); если бы Паус зависел от Максимова, естественно было бы ожидать и воспроизведения терминологии. Само по себе решение различать два прошедших времени типа *любилъ* и *возлюбилъ* логически следует из включения в единую глагольную парадигму настоящего (*люблю*) и простого будущего с аугментом (*возлюблю*); такое же решение принимает позднее и Ломоносов. Надо думать, что Паус, так же как Максимов и Поликарпов (в своей "великороссийской" парадигме – [Успенский 1994: 111]), исходит из Смотрицкого, по-разному упрощая его. Поскольку у Пауса, равно как и у Поликарпова, в церковнославянской части схема Смотрицкого сохраняется, это обусловливает различия в наборе времен для русского и церковнославянского[10].

(49) Вместе с тем в русскую парадигму Паус вводит сложное (описательное) будущее со вспомогательными глаголами *стану* или *буду*, которое в славянской парадигме соответствия не находит и в силу этого оказывается особенностью русского языка[11]. Сложное будущее Паус вводит вслед за Лудольфом [Ludolf 1696: 27] и Глюком [Glück 1994: 267], причем как и у Глюка, и в отличие от Лудольфа, оно выступает у него наряду с простым будущим (образуемым с помощью "прибавления" или аугмента – л.103об), создавая своего рода пару Futurum I и Futurum II, что предвосхищает трактовку будущего у Ломоносова (ср. о Глюке: [Glück 1994: 97–98]). Паус вслед за Глюком может называть приставку, с помощью которой образуется простое будущее, *nota (futuri)* (л. 115; ср.: [Glück 1994: 267]), что указывает на преемственность.

(50) Поскольку Паус рассматривает основные времена, в том числе претериты, как общие для русского и славянского, различие парадигм в этой основной части сводится к различиям во флексиях. Соответственно Паус указывает, что в претерите "wird slav. *х* verwandelt in *лъ*, f. *ла*, n. *ло* welches durch alle personen geht" (л. 104).

(51) Последовательно противопоставляются и другие флексии. В специальном примечании (л. 104) указывается, что в презенсе и футуруме во 2 л. ед.ч. славянским

---

[10]Определенные аналогии с построением Пауса могут усматриваться в русских эквивалентах в латинской грамматике Копиевича [Kopiiewitz 1700], хотя в силу несистематичности этих эквивалентов невозможно говорить ни о какой-либо модели Копиевича (ср. [Живов 1992: 254–255]), ни о ее использовании Паусом. Два прошедших времени выделяет в своей грамматике и Сойе; его модель, однако, не совпадает с моделью Пауса.

[11]Паус пишет: "Es kan auch circumscribirt werden mit Infinitivo u. Verb. aux. als: *стану* od. *буду брать, вести*" (л.119об). При обсуждении способов образования будущего среди возможных вспомогательных глаголов указывается также *учну* и *имамь*. Последний определяется как "славянский" и для него дается соответствие "russ. *имѣю*" и приводятся примеры из славянского Евангелия, например, *не имать видѣти смерти* (Ин. VIII, 51 – л.113об). В славянской парадигме, однако, эти формы не фиксируются, т.е. сложное будущее остается приметой русского языка. Для глагола *учну* приводятся примеры из Уложения (гл. 2, ст. 1), например, *будетъ кто какимъ умышленіемъ учнетъ мыслить* (л.113об – [Уложение 1987: 20]), а в последующем говорится, что этот вспомогательный глагол "komt sehr offt in der Uloschenie vor" (л.135об), что подтверждает специфически русский характер данного образования.

окончаниям *-еши, -иши* соответствуют русские *-ешъ, -ишъ*, причем в русском в отличие от славянского окончания *-ешъ, -етъ*, когда они находятся под ударением, произносятся с [о], а не с [е] (ср. № 8). Наблюдение о противопоставленности окончаний 2 л. ед.ч., легко могло быть выведено из сопоставления парадигм Смотрицкого с парадигмами Лудольфа или Глюка. Та же оппозиция устанавливается и Поликарповым как один из моментов, различающих славянскую и "великороссийскую" парадигмы [Успенский 1994: 111]. Наблюдение о произношении [о] под ударением не имеет прецедента.

(52) Здесь же отмечается, что, так же как во 2 л. ед.ч., славянское *и* переходит в русское *ь* в инфинитиве (см. № 7). Это утверждение, хотя оно и параллельно предыдущему, несколько менее тривиально. Действительно, у Лудольфа кодифицированы оба типа форм инфинитива [Ludolf 1696: 29, 31, 32, 39]; аналогично и у Копиевича: [Kopiiewitz 1700: 176, 177, 189]), у Глюка в качестве нормативной дается форма на *-ти* [Glück 1994: 113]. На этом фоне решение Пауса выступает как инновация, имеющая, впрочем, некоторые прецеденты: в "Технологии" Федора Поликарпова (1725 г.) "славенские" инфинитивы на *-ти* противопоставлены формам на *-ть* "великороссийского диалекта", хотя в качестве особого правила эта оппозиция не сформулирована (РНБ, НРСК F 1921.60, с. 122–127)[12].

(53) В качестве частой упоминается также замена *и* на *ь* в таких инфинитивах, как *весть, плесть, течь, печь, стречь, беречь* и т.д. (л. 106), т.е. в тех инфинитивах, в которых *и* стояло под ударением; описание этой замены как факультативной соответствует, видимо, ситуации в живом русском языке первой половины XVIII в. В более ранних грамматиках эта вариативность никак не фиксируется; первым после Пауса ее упоминает лишь Ломоносов (§ 337 – [Ломоносов, IV: 126]).

(54) Апокопа конечного звука вообще трактуется Паусом как характерная черта русского глагола, противопоставляющая его славянскому (л. 152). Наряду с формами инфинитива и 2 лица презенса Паус приводит и формы императива, в которых также отбрасывается конечное *и* (*плюнь, покинь, всунь* – л. 105об; *подь, не плачь, скинь, поставь, рѣжь* – л. 152). Апокопа имеет место и в возвратной частице ("*битись* pro *битися*" – л. 152). Оба эти наблюдения у предшественников Пауса отсутствуют.

(55) Описывая образование претеритов в первом спряжении, Паус указывает, что в славянском от нечистых (impura) глаголов они образуются заменой флексии презенса *-у/-ю* на *-охъ* или *-ахъ*; при этом сообщается, что среди тех глаголов, претерит которых образуется с помощью *-охъ*, в русском может апокопироваться согласный последнего слога, как, например, *стерегъ, велъ, грызъ, текъ* (oder *токъ*), *носъ* и т.д. (л. 106об; ср. л. 152). И это наблюдение не имеет прецедента[13].

Фиксация всех этих оппозиций – вместе с разнообразными наблюдениями над синтаксическими отличиями русского и церковнославянского (ср., например, замечание о том, что славянскому двойному винительному в русском соответствует употребление творительного предикативного – л. 188об) – указывает на весьма четкое понимание несходства двух языков[14]. Паус вполне эксплицитно противопоставляет русский и церковнославянский, что, однако же, не мешает ему описывать их одновременно. Оценивая совокупность зафиксированных Паусом различий русского и церковносла-

---

[12]До Пауса оппозицию двух форм инфинитива соотносит с противопоставлением русского и славянского Сойе, в грамматике которого вариант на *-ть* фигурирует в качестве единственного [Sohier, I: 130, 149, 158 и сл.], причем эта оппозиция специально оговаривается [Sohier, I: 130]. Однако, как уже говорилось, Паус не мог быть знаком с этим описанием русского языка.

[13]Паус специально отмечает также, что в русском "in passivo wird *ся* offt in *ца* verwandelt" (л.104). Наблюдение появилось, видимо, в результате знакомства с деловыми текстами Петровской эпохи или изданиями гражданской печати, в которых такое написание встречается достаточно часто.

[14]Стоит заметить, что Паус отмечает даже различия в значении отдельных слов, совпадающих по форме в русском и церковнославянском, ср., например, "гробъ Sl. ein Grab, R. Sarg" (л.52); "im Slav. господь auch von Menschen gesagt wird, vid. Ioh. XII, 21" (л.56).

вянского, надо иметь в виду, что для первой половины XVIII в. проблема генетических оппозиций двух языков была новой и никакого готового или само собой разумеющегося решения для нее не имелось. Грамматисту в непосредственном опыте, соотнесенном с языковой практикой в целом (т.е. как с устным, так и с письменным употреблением), было дано лишь множество вариативных форм и конструкций, тогда как интерпретация этих вариантов, отнесение их к русскому или "славенскому" была неочевидна и требовала анализа и выработки критериев. При этом сравнительно-исторический критерий, определяющий понятие славянизма в современной русистике (ср. стандартный перечень в книге: [Šachmatov, Shevelov 1960]), филологам XVIII в. был недоступен и, видимо, принципиально чужд. Действительно, он никак не годился для сопоставления вариантов современного им церковнославянского, ассимилировавшего большое число генетических русизмов, с различными вариантами некнижного языка, которые, в свой черед, отнюдь не были полностью свободны от генетических славянизмов. Поэтому, скажем, рассматривая варианты флексии род. ед. м. рода *-аго, -ого, -ово, -ова*, разные филологи могли по-разному распределять их между "славенским" и "русским" (ср., например, у Лудольфа – [Ludolf 1696: 5] – противопоставление Slav. **такого** – Russ. **таково**) или вообще не соотносить их с противопоставлением языков.

В этой ситуации перечень различий, фиксируемых в грамматике Пауса, должен рассматриваться как важная инновация, существенно расширявшая диапазон конфронтации русского и церковнославянского. Паус использует практически все те наблюдения, которые были сделаны его предшественниками – Лудольфом, Глюком и Поликарповым (см. №№ 1, 2, 3, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 30, 37, 47, 48, 51)[15]. В ряде случаев он использовал (или мог использовать) описания этих грамматистов иным способом: сопоставляя данные (парадигмы), приводимые в этих описаниях и интерпретируемые как факты русского языка, с данными (парадигмами) грамматики Смотрицкого, интерпретируемыми как факты славянского языка – сопоставление приносило противопоставления (см. №№ 9, 16, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 49, 50, 52). Многие различия, однако, были отмечены Паусом впервые; они не упомянуты ни у Лудольфа, ни у Глюка, ни у Сойе, ни в "Технологии" Ф. Поликарпова 1725 г. К числу полностью оригинальных инноваций относятся №№ 4, 5, 6, 9, 12, 19, 22, 24, 25, 27, 29, 30 (*ыя – ые*), 31, 33, 35, 36, 37, 39 (*ея – еѣ*), 40 (*чево*), 42, 43, 44, 45, 46, 53, 54, 55. Инновации Пауса относятся ко всем уровням языка – фонетике, морфологии, синтаксису и лексике – и охватывают широкий спектр явлений, не соотносившихся ранее с противопоставлением русского и славянского языков.

3. Хотя просьба Пауса напечатать его грамматику была отвергнута и она осталась неопубликованной, его грамматика несомненно была известна академическим филологам 1730-х годов. Адодуров и Шванвитц знали этот текст, поскольку рецензировали его, равно как и Паус, видимо, читал и делал замечания на "Русскую грамматику" ("Compendium Grammaticae Russicae") Шванвитца [Keipert 1992: 216]: речь шла о создании русской грамматики для иностранного читателя, и все опыты написать такую грамматику (включая и очерк 1731 г.) были, как кажется, взаимосвязаны, так что сам вопрос об авторстве отдельных текстов оказывается достаточно запутанным, а в ряде случаев и принципиально не имеющим решения. Это явным образом относится к книге Гренинга [Гренинг 1750], в которой использован и орфографический трактат Адодурова [Успенский 1975], и грамматический очерк русского языка 1731 г. [Адодуров

---

[15]Только в одном случае оппозиция русского и церковнославянского, отмеченная предшественниками Пауса, не воспроизводится в его грамматике. Речь идет о наблюдении Поликарпова, согласно которому в русском языке "не живущих вещей числа единственного на Ъ кончащихся имен родителный более употребляется на У, а не на А яко указъ, указу" [Успенский 1994: 110]. В парадигмах у Пауса второй родительный зафиксирован лишь в одном случае (в парадигме *часъ* род.ед указан как *часа, у – л.*51), однако без всяких комментариев. Отсутствие у Пауса данного наблюдения свидетельствует, надо думать, о его незнакомстве с трактатом Поликарпова.

1731], и морфологические работы М. Шванвитца [Keipert 1988; 1989; 1992: 221–222], и французско-немецкие диалоги из грамматики Ж.Р. де Пеплие, и другие тексты, употреблявшиеся при обучении в Академической гимназии в Петербурге [Keipert 1992: 213–214; Успенский 1992: 106; Keipert 1995]. Не имеет однозначного решения и вопрос об авторстве грамматического очерка 1731 г., обычно приписываемого Адодурову. Об авторстве Адодурова свидетельствует Паус в своих "Observationes" 1732 г. [Winter 1958: 752, 761], однако сопоставление с сохранившимся фрагментом русской грамматики Шванвитца ("Compendium Grammaticae Russicae") говорит о том, что в существенной части "Anfangs-Gründe" представляют собой сокращение и упрощение грамматики Шванвитца [Keipert 1992: 222–223], причем, как это можно будет увидеть и из приводящихся ниже примеров, при составлении были учтены замечания и наблюдения, сделанные красными чернилами на полях труда Шванвитца. Эти замечания и наблюдения, как показывает и их содержание, и почерк, почти наверняка принадлежат Паусу, так что, по крайней мере отчасти, авторство с Адодуровым делит, хотя и невольно, и Паус. Поэтому "Anfangs-Gründe" могут быть названы трудом Адодурова только условно, и мы говорим о них как о его произведении лишь из соображений простоты и нежелания нарушать традицию; то же самое, возможно, относится и к "Компендиуму" Шванвитца, который также мог быть в большей или меньшей степени трудом коллективным.

Надо иметь в виду, что, хотя грамматические опыты конца 1720 – начала 1730-х годов и предназначались для обучения иностранцев, они отнюдь не были лишены нормативной установки – стремления нормализовать употребление русского языка в соответствии с понятиями о правильном "европейском" литературном языке. Поэтому они имеют важное значение для процесса нормализации русского литературного языка и образуют ту традицию, в рамках которой появляется в 1755 г. Российская грамматика Ломоносова. Впоследствии, после смерти Пауса, к его грамматике могли обращаться все те лица, которые занимались описанием и нормализацией русского языка. В самом деле, если судьба беловой рукописи грамматики неизвестна, то черновая рукопись после смерти Пауса оказалась в библиотеке Академии, где она и находится по сей день. Это означает, что она в принципе была доступна академическим филологам (например, Тредиаковскому, Гренингу и Ломоносову), так что их знакомство с текстом Пауса можно считать вполне вероятным. Нет сомнений в том, что любое описание русского языка вызывало в этот ранний период живейший интерес в том узком академическом кругу, который был занят преподаванием русского языка, разработкой правил академической типографии, переводами и любой иной филологической работой. Грамматика Пауса была самым обширным трактатом этого рода, и его вряд ли могли проигнорировать, даже если отвергали концепцию построения этой грамматики и методы описания.

Как уже говорилось, одним из наиболее актуальных вопросов в начале 1730-х годов была проблема соотношения русского и церковнославянского. Адодуров в своем грамматическом очерке 1731 г. патетически восклицал: "Allein da nunmehro aller *Slavonismus* vornehmlich eine solche Art zu decliniren aus der Rußischen Sprache exuliret, und einen greßlichen Laut in denen Ohren derer Heutigen erreget, so wird man auch nicht verdenken können, wenn man solches allhier übergangen und vielmehr dafür der natürlichen Art zu decliniren nachgegangen ist" [Адодуров 1731: 26]. Эта декларация полемична и направлена против "Liebhabern der Slavonischen Redens-Arten" [Там же]; можно думать, что под любителями славянских выражений подразумевается именно Паус. Проблема, однако, была не только в том, чтобы изгнать славянизмы, но – и прежде всего – в том, чтобы обнаружить, где они скрываются. Сколь бы презрительно ни относились Шванвитц и Адодуров к своему старшему коллеге, они не могли не воспользоваться его находками.

Пустить наблюдения Пауса в дело можно было разными способами. Можно было принять эти наблюдения к сведению и исключить из парадигм те формы, которые Паус определил как "славянские". В этих случаях, естественно, преемственность

(Шванвитца и Адодурова по отношению к Паусу) остается неочевидной, поскольку ориентиром могло служить не предшествующее описание, а реальный узус (хотя надо помнить, что в 1730-х годах предметом рефлексии оставался узус письменного языка, гетерогенный по своим характеристикам, а заявления о важности разговорного употребления были теоретическими декларациями, имевшими лишь очень ограниченное отношение к реальной языковой практике). Существенно более показательны те случаи, когда Шванвитц или Адодуров обсуждают противопоставления церковнославянских и русских элементов. В этих случаях – вне зависимости от того, совпадает ли их интерпретация с паусовской или отлична от нее – можно предполагать, что сама постановка вопроса может быть обусловлена тем, что об этих элементах говорит Паус. Отметим, что, кроме грамматики Пауса, Шванвитцу и Адодурову была несомненно известна и грамматика Лудольфа. Маловероятно, что им была доступна грамматика Глюка, нет оснований считать, что в числе их источников могла быть "Технология" Поликарпова. Таким образом, традиция, от которой они отталкивались, была представлена именно Лудольфом и Паусом. В качестве общего фона нужно также иметь в виду, что замечания о церковнославянском характере тех или иных элементов отнюдь не были необходимы при изложении русского грамматического материала. Эти элементы можно было просто обойти молчанием. Это ясно видно из того, что в грамматике Гренинга, представляющей собой в морфологическом разделе переработку краткого очерка Адодурова (или грамматики Шванвитца – ср. об отношениях между очерком Адодурова и грамматикой Гренинга в [Unbegaun 1969: XII–XIV; Успенский 1975: 27–44; Baumann 1980; Keipert 1988; 1989]), все замечания о русско-славянских оппозициях опущены.

Интересующие нас комментарии "Anfangs-Gründe" – сверх той антиславянской филиппики, которая цитировалась выше – немногочисленны и производят впечатление случайного набора. В качестве славянизма Адодуров отмечает:

(а) Дв. число, которое "nur zwo Sachen allein anzeiget, aber in der Rußischen Sprache ist dieser nicht gebräuchlich" [Адодуров 1731: 13]. Констатация славянского характера дв. числа является общим местом всех предшествующих описаний русского языка, так что Адодуров мог здесь следовать как Лудольфу, так и Паусу (ср. № 13). Вновь открытая рукопись русской грамматики Шванвитца, написанная в первой половине 1730 г., с полной несомненностью показывает, что составитель грамматического очерка 1731 г. ("Anfangs-Gründe"), рассматривая вопрос о дв. числе, полемизировал с автором маргиналии, находящейся в этой рукописи и принадлежащей, по всей видимости, Паусу. В основном тексте рукописи к описанию ед. и мн. чисел добавлено следующее замечание: "*Nota.* Man hat zwar auch den *Dualem*, двойственное, so von zweyen redet, wird aber nur in der *Slavonischen* Sprache und das in geistlichen Büchern gebrauchet". Анонимный глоссатор, которого предположительно можно отождествить с Паусом, перечеркнул это замечание красными чернилами и приписал на полях: "Diese *Nota* ist unrichtig gefaßet, und muß folgender gestalt heißen: Die *Slavonier* setzen zwar den *Dualem* hinzu, im Rußischen aber hat / [6] selbiger nicht anders statt, als nach den *numeralibus* два, три, четыре, und zwar nur in denen *masculinis*, so sich auff ъ und ь endigen, als два попа, три рва, четыре [...] колодяза oder auch nach dem Wort оба" [Шванвитц 1731: II, 5–6]. Эту глоссу необходимо было процитировать полностью, поскольку в очерке 1731 г. эти замечания подхвачены и оспорены, когда обосновывается положение о том, что "die *Cardinalia* два, три, четыре den *Genitivum Singularem* regieren, als два попа zweene Popen, три колодезя drey Brunnen, четыре лошади vier Pferde" [Адодуров 1731: 32]. То, что на первый взгляд кажется полемикой с Лудольфом [Ludolf 1696: 13] – не в последнюю очередь из-за примера *два попа* – оказывается на самом деле, как это демонстрирует дословное воспроизведение примеров глоссатора, опровержением именно приведенной выше интерпретации дуалиса: "Hieraus erhellet nun ferner, daß alle diejenigen etwas Menschliches begehen, welche einen *Numerum Dualem* in der Rußischen Sprache statuiren, maaßen sich solche durch ein übeles

Verständnüß der Exempel дѣа попа, три рва, четыре колодезя u.s.w. dazu gar leicht haben können verleiten lassen" [Адодуров 1731: 33]. Этот пассаж служит еще одним доказательством того, что "Compendium Grammaticae Russicae" 1731 г. (русская грамматика Шванвитца) должен рассматриваться как непосредственный источник "Anfangs-Gründe der Russischen Sprache" (грамматического очерка Адодурова); он показывает в то же время, что по крайней мере часть содержащихся в "Компендиуме" глосс написана вполне в духе грамматики Пауса, Паусу же, очевидно, и принадлежит и тем самым демонстрирует дополнительные пути влияния филологических трудов Пауса на формирование академической грамматической традиции. Замечательно в разбираемом пассаже и то обстоятельство, что характерное для "Anfangs-Gründe" отталкивание от церковнославянского приводит здесь к трактовке конструкции *два попа* как определяемой в синхронном плане генитивным управлением числительного *два*; автора явно побуждает к этому стремление по возможности не постулировать для русского никаких форм дв. числа, рассматриваемых как славянизмы.

(б) Славянизмами, по мнению Адодурова, являются и особые формы вокатива, поскольку в русском вокатив и номинатив совпадают: "Der *Vocativus* [ist] in beyden *Numeris* dem *Nominativo* gleich [...]. Ausgenommen in denjenigen Wörtern, die pur Slavonisch, oder in welchen die Russen die Slavonier nachahmen wollen [...], als: пастырю an statt пастырь, жено an statt жена, Христе, an statt Христосъ, Боже an statt Богъ, человѣче, an statt человѣкъ u.s.w." [Адодуров 1731: 13]. И в этом случае дословно повторяется часть формулировок "Компендиума", в котором после констатации в "общих правилах" для имен принципиального тождества форм номинатива и вокатива упоминаются исключения, а именно "einige Wörter im *Slavonischen*, welche bey denen Russen usu recipirt sind, als *N.* Господь, *V.* Господи. *N.* Богъ, *Voc.* Боже. *N.* отецъ, *V.* отче. *N.* читатель, *V.* читателю" [Шванвитц 1731: II, 27; ср. 14]. В глоссе к этому месту дается следующий комментарий: "отецъ vor einen leiblichen Vater genommen *formiret* den *Vocativum similem Nominativo*. Wenn ich aber einen Geistlichen Heiligen Vater nennen will, sage ich отче святый. читателю ist pur *Slavonisch* und nicht Rußisch" [Там же]. Выражение *pur Slavonisch* указывает на то, что в "Anfangs-Gründe" переносится в данном случае предложенная глоссатором (Паусом ?) классификация: в то время как в основном тексте "Компендиума" наличие особой формы вокатива рассматривается как свойство определенных лексем (а именно церковнославянских слов, укоренившихся в русском благодаря употреблению), в тексте глоссы различаются сферы функционирования одного и того же слова и вокатив тем самым делается элементом стилистики, из чего следует, что "подражание славянам" имеет в русском право на существование.

(в) Далее в качестве славянизма указываются формы дат. ед. мягкой разновидности *а*-склонения с окончанием *-и* вместо *-ѣ*; такие формы, согласно Адодурову, полностью противоречат "гению русского языка" [Адодуров 1731: 15]. Это наблюдение у Лудольфа отсутствует (в каком бы то ни было виде), но находит соответствие в вариантах, приводимых Паусом в парадигмах мягкой разновидности и его пометах к парадигме слова *судія* (см. № 16). Неслучайно, конечно, и в "Компендиуме" именно существительное *судія/судья* снабжается двойной парадигмой, причем *судія* в дат.-местн.ед. получает форму *судіи*, тогда как формой дат.-местн.ед. от *судья* становится *судьѣ* [Шванвитц 1731: II, 39]. И здесь можно предполагать влияние Пауса на "Компендиум", а "Компендиума", равно как и непосредственно Пауса, на "Anfangs-Gründe".

(г) Говоря об аномальном образовании косвенных падежей от слов *мать* и *дочь*, Адодуров поясняет, что "иррегулярные окончания" обусловлены принадлежностью обоих к славянскому, при том что "in derselben Sprache den *Nominatiuum* auf матерь und дщерь formiren" [Адодуров 1731: 23]. Это замечание также может быть соотнесено с наблюдениями Пауса (см. № 27), согласно которому русские формы косвенных падежей "nimt d. *ep* an von slav. *дщерь*" (л. 59), тогда как у Лудольфа подобные формы не упоминаются. И в этом случае "Компендиум" может рассматриваться как посредствующее звено между Паусом и "Anfangs-Gründe". В "Компендиуме" в парадигме слова

мать даются формы им.-вин.-зв.ед. *мать* и *матерь*, дат.-местн.ед. *матери* и *матерѣ*, в тв.ед. *матерію* и *матерью* и т.д. [Шванвитц 1731: II, 59]. Адодуров устраняет охарактеризованную Паусом как "ruth." форму дат.ед. на -ѣ, ориентируясь очевидно на то, что *мать* и *дочь* "Slavonische Wörter sind" [Адодуров 1731: 23]. Таким образом и здесь в "Anfangs-Gründe" учитывается постулируемая Паусом языковая соотнесенность вариантов.

(д) Адодуров отмечает "славянское происхождение" слов, в которых "краткому *й* предшествует *ї*; в русском языке это *ї* заменяется на *е* (*врабїй – воробей, Сергїй – Сергей*)" [Там же: 24]. Грамматика Пауса может очевидно считаться источником этого наблюдения (см. № 26); в этом плане показательно, что Адодуров использует тот же самый пример (*врабїй – воробей*), что и Паус. О противопоставлении русских и славянских имен собственных Паус не говорит, однако указывает, что *Даріи, Григоріи* и т.д. являются славянскими заимствованиями из греческого и склоняются как *жребіи*. Однако *Тімовей, Андрей, Матвеи* имеют в качестве предпоследней буквы *е* и склоняются как *їерей*. Приводится (без комметариев) и дублетная форма *Movсїи – еи* (л. 58). Адодуров в данном случае продолжает Пауса, однако и здесь следует иметь в виду посредническую роль петербургского "Компендиума". Заслуживает внимания не только то, что в нем заимствованные имена типа *Дарій, Андрей, Грегорій/Григорей, Тимовей, Николай* отнесены к четвертому склонению, а в парадигме слова *воробей* употребляются даже гиперкорректные русские формы *воробея, воробею* и т.д., но и то, что источником приводимого в "Anfangs-Gründe" правила, касающегося *й contractum* [Адодуров 1731: 24], является читающаяся в "Компендиуме" глосса, принадлежащая, по всей вероятности, Паусу [Шванвитц 1731: II, 64; иначе: 62].

(е) В им.мн. четвертого склонения Адодуров выделяет формы типа *князїе, каменїе*; некоторые, говорит он, предпочитают их формам *князья, каменья*, хотя это неправильно и превращает данные слова в славянские, поскольку указанные окончания именно этому языку и принадлежат [Адодуров 1731: 26]. Это наблюдение восходит к Паусу (см. № 22), который указывает те же варианты с той же характеристикой в парадигме слов *князь, свидѣтель* и *день*, тогда как форму *каменїе* трактует иначе (л. 57); в последнем случае, видимо, Адодуров пересматривает решение Пауса, хотя общая зависимость трактовки сохраняется. "Компендиум" предвосхищает здесь, как кажется, решение "Anfangs-Gründe", поскольку в им.мн. в нем дается для *князь* только *князья*, для *свидѣтель* только *свидѣтели*, для *день* только *дни* (*камень* не упомянут). Глоссатор (Паус ?), дополняя это место, приводит другие формы слова *день* и сверх того замечает: "камень *formiret* über dieses noch einen *pluralem in forma collectiva* als *N.* каменїе, *G.* каменей, *D.* каменїемъ, *A.* каменїе, *Narr.* каменїяхъ, *Instr.* каменьями" [Шванвитц 1731: II, 60]. Возражение против "славянского" *каменїе*, которое мы находим в "Anfangs-Gründe", в качестве непосредственного подтекста обнаруживает именно эту глоссу, при том даже, что она лишь продолжает те наблюдения, которые Паус делает в своей грамматике.

(ж) В пояснениях к четвертому склонению Адодуров указывает также, что в русском языке не употребляется слово *Господь* во мн. числе; когда такие формы встречаются, они являются славянизмами и по значению и по форме (в русском отсутствует "славянское" значение 'господин') [Адодуров 1731: 27]. Здесь Адодуров несомненно развивает Пауса, который писал о возможности употребления слова *господь* во мн. числе в славянском (см. № 25) и приводил его парадигму (л. 56об), полностью сходную с парадигмой Адодурова для ед. числа, а во мн. числе отличающуюся лишь формами тв. мн. "Компендиум" идет здесь собственным путем. В нем формы мн. числа от слова *Господь*, которое "nach der gemeinen Art einzig und allein Gott den Herrn bedeutet", отнесены к парадигме слова *господин*, поскольку они "von andern *ordinairen* Herren verstanden", а "das gemeine Wort Господинъ Herr keinen Pluralem hat"; в соответствии с этим в парадигму мн. числа включаются только употребительные в

русском языке формы, а именно *Господа, Господъ, Господам, Господъ, Господа, Господами, Господахъ* [Шванвитц 1731: II, 46]. Это решение радикально отличается от того, которое мы находим в "Anfangs-Gründe"; в последнем сочинении поразительным образом (не по недосмотру ли?) дается только "славянская" парадигма ("Nom. und Voc. господіе, Gen. господей, Dat. господемъ, Acc. господы, Instr. господами und господы, Nar. господѣхъ" – [Адодуров 1731: 27]), а общеупотребительные русские формы оставлены без всякого внимания. Зависимость "Anfangs-Gründe" от Пауса в этом случае очевидна и лишь подчеркивается иной трактовкой "Компендиума".

Таким образом, по крайней мере в четырех случаях (г–ж) в замечаниях о славянизмах в "Anfangs-Gründe" развиваются те наблюдения, которые сделал в своей грамматике Паус, причем нередко линия преемственности проходит через "Компендиум" Шванвитца и глоссы, сделанные в нем, по всей видимости, все тем же Паусом. Еще в трех случаях грамматика Пауса могла быть одним из источников рассуждений Адодурова. Если учесть, что всего таких наблюдений в адодуровском очерке десять, важность Пауса для формирования представлений о различиях между русским и церковнославянским в академической грамматической традиции представляется несомненной. Три замечания, оставшиеся неразобранными, хотя и не повторяют паусовских, но могут рассматриваться, по крайней мере отчасти, как сформулированные в полемическом диалоге с Паусом.

(з) По мнению Адодурова, формы сравнительной степени с суффиксом *-ш-* (*честныи – честнишіи*), являются славянскими, в русском же сравнительная степень прилагательных отсутствует и для сравнения используются "сравнительные наречия" (*умнѣе, богатѣе, дороже*); превосходная степень, на взгляд Адодурова, в церковнославянском и русском совпадает (*честнѣишіи*), хотя в русском имеются и другие способы образования превосходной степени, отсутствующие в церковнославянском (присоединением "частиц" *пре-* или *все-*" *пречестныи, всечестныи, пречестнѣишіи*; присоединением "прилагательного" *самыи*: *самыи чистыи, самыи чистѣишіи*; присоединением частицы *наи-*: *наикратчаишіи*) [Адодуров 1731: 11–13]. Сама идея того, что степени сравнения устроены в русском и славянском по-разному, восходит к Лудольфу [Ludolf 1696: 20]. Трактовка "Anfangs-Gründe" отличается, однако, от той, что мы находим в грамматике Пауса, и ближе к тому, что пишет Поликарпов, также полагающий, что в русском отсутствует сравнительная степень прилагательных [Успенский 1994: 110]. Основания такого решения очевидны: невозможность употребления образованного от прилагательного компаратива в функции определения[16].

При всем этом полностью установить линии преемственности тех идей, которые развивал составитель "Anfangs-Gründe", говоря о степенях сравнения в церковнославянском и русском, достаточно трудно. С одной стороны, его трактовка, как мы видели, во многом отличается от той, которую предлагает Паус в своей грамматике (см. № 14), а с другой – почти полностью совпадает с той детальной систематизацией материала, которую приводит глоссатор (Паус ?) в том месте "Компендиума", где описаны степени сравнения – без всякого различения русского и церковнославянского [Шванвитц 1731: II, 22–25; ср.: Keipert 1992: 221]. Уже в этой глоссе говорится о том, что в русском отсутствует настоящая сравнительная степень (и в предикативной функции вместо нее должны употребляться формы наречия), и при этом приводится не менее трех различных способов образования суперлатива. Если эти замечания действительно принадлежат Паусу (как можно судить по почерку), нужно объяснить,

---

[16]Формулировки Пауса повторяются в наблюдении о чередовании согласных при образовании суперлатива (*г, д, зк // ж, х // ш*), сопровождаемом изменением суффикса (*-аи-* вместо *-ѣи-*) (см. [Адодуров 1731: 12; Паус: л.35об], хотя общим источником для них служит Смотрицкий [Смотрицкий 1619: л.В/5–5об; 1648: л.81–82об; 1721: л.21об–22]. К Паусу же восходит, видимо, и перечисление "русских" способов образования суперлатива. Частицы *все-* и *пре-* соответствуют *всѣхъ* в образовании прилагательных и *пре-* в образовании наречий у Пауса (см. №№ 14, 43 – *пре-*, впрочем, фиксируется и у Смотрицкого), *само* Пауса трансформируется у Адодурова в *самыи*, и к этому многообразию добавляются суперлативы с *наи-*.

почему он дает здесь иную систематизацию, чем в грамматике. Ничто не мешает думать, что Паус с течением времени изменил свою точку зрения; глоссатор (Паус ?) пишет в своих маргиналиях, заполняющих два исписанных тесным почерком столбца, не только о том, что "Die *Doctrin* von denen *gradibus comparationis* ist das allerschwerste Stück der *Etymologia*", но также и о том, что он не может похвастаться тем, что "diese *doctrin* recht vollkommen begriffen zu haben, ja daß [ihm] desfalls kein Zweifel übergeblieben wäre" [Шванвитц 1731: II, 22–23]. Таким образом, у него самого в это время еще возникали трудности в данном вопросе. Описание степеней сравнения в "Компендиуме", слишком примитивное и при этом игнорирующее различия между русским и церковнославянским, могло побудить Пауса пересмотреть весь релевантный материал и построить новую концепцию. Если дело обстоит именно так и если Паус при этом исключается из числа авторов "Anfangs-Gründe", относящаяся к степеням сравнения глосса представляет собой наиболее вопиющий случай плагиаторского обращения с его вкладом в усовершенствование "Компендиума", и это позволяет яснее, чем прежде (когда была известна лишь полемика о терминах), понять, почему Паус в резких тонах жаловался Академии на то, что его обворовали (ср. [Winter 1958: 754–764]). Как бы ни решался вопрос об авторстве данной глоссы, в любом случае она находится в прямой зависимости от грамматики ("Anweisung") Пауса: если, приписывая Паусу появившуюся в 1731 г. классификацию материала, можно, видимо, испытывать некоторые колебания, то нет никаких сомнений в том, что именно он, собрав разнообразные примеры употребления степеней сравнения, а частично также и проведя дифференциацию церковнославянских и русских форм и конструкций, стоял у истоков этой классификации. Таким образом, связь "Anfangs-Gründe" с трудами Пауса просматривается достаточно отчетливо и это объясняет развернутость изложения данной темы в очерке 1731 г.

(и) В "Anfangs-Gründe" в тв.мн. четвертого склонения в качестве русского окончания указывается *-їями*, ему противостоят славянские окончания *-їи* или *-ьми* (имеются в виду формы типа *ученїи* или *ученьми*), которыми обычно пользуются "любители славенских выражений" и по поводу которых Адодуров и выступает со своей декларацией об изгнании славянизмов [Адодуров 1731: 26]. В "Компендиуме" Шванвитца старые окончания вообще не фиксируются и не упоминаются [Шванвитц 1731: II, 63]. Здесь Шванвитц и Адодуров вполне оригинальны (если не считать формы *зрѣнїями* в не известной им грамматике Глюка [Glück 1994: 185]). У Пауса, следующего здесь за Смотрицким, даются именно те два варианта, против которых ополчается Адодуров (см. л.57об). Не исключено, что именно против Пауса обращена и адодуровская филиппика.

(й) Наконец, приведя иррегулярные контрактированные формы (кратких) прилагательных (*божья, божье* von *божїй, свѣтелъ, золъ, сыновенъ* von *свѣтлый, злый, сыновнїй*), Адодуров замечает, что эти славянские прилагательные должны подробно рассматриваться в славянской грамматике, к предмету же его сочинения они не относятся [Адодуров 1731: 28-29]. И в этом случае имеет место, видимо, полемика с Паусом, разбирающим эти прилагательные и указывающим, что они вполне обычны "in der Slav. Rußischen Sprache" (л. 61). Паус при этом определяет в качестве синтаксических условий их употребления как предикативную, так и определительную функции (преимущественно с постпозицией определения), ссылается на Лудольфа, у которого говорится о контракции прилагательных в предикативной функции [Ludolf 1696: 20], и приводит примеры из славянской Библии (л. 61-61 об). Адодуров, видимо, все употребления кратких прилагательных рассматривает как черту, свойственную исключительно славянскому. На полемику с Паусом дополнительно указывает, возможно, состав приводимых Адодуровым примеров. Если *божїй* и *сыновнїй* восходят к Смотрицкому [Смотрицкий 1619: И/5об–8об; 1648: л. 140-143 об; 1721: л. 74-77 об], то *злый* может отсылать к дважды приводимому Паусом примеру (л. 61 об, 62): *всякъ золъ глъ* (Мф. V, 11).

Этими десятью замечаниями исчерпывается состав обсуждаемых Адодуровым славянских элементов. Некоторые из этих замечаний (например, *е* и *ж*) имеют весьма специальный характер; не будучи нужны для изложения лингвистического материала, они однозначно указывают на грамматику Пауса как на источник сведений о противопоставлениях русского и церковнославянского. Не во всех случаях Адодуров с Паусом соглашается, по отдельным моментам он вступает с ним в полемику, но при любых обстоятельствах Паус присутствует как фон. В этом контексте естественно предположить, что наблюдения Пауса сказываются и в тех случаях, когда в "Anfangs-Gründe" никакого обсуждения принимаемых решений нет. Кодифицируя отдельные элементы как русские и отбрасывая противопоставленные им славянские, Адодуров основывался на тех различиях, которые были отмечены Паусом.

Как и Паус (см. № 17), Адодуров указывает, что в русском языке у одушевленных существительных вин. мн. совпадает с род. мн. [Адодуров 1731: 13]. В склонении отсутствует чередование заднеязычных со свистящими (ср. № 18). У Адодурова не приводятся и никак не упоминаются флексии дат. мн. и местн. мн. *-омъ* и *-ѣхъ/-ехъ*, хотя в современных ему текстах они встречались; стимулом могло быть определение их как "славянских" у Пауса (см. №№ 20, 21). Приводя формы слова *день*, Адодуров [Адодуров 1731: 26] дает для род. ед. только форму *дня*, форма *дни* даже не упомянута, и это опять же может быть объяснено квалификацией последней формы как славянской у Пауса (см. № 22). В местн. ед четвертого склонения для существительных м. рода Адодуров последовательно дает -ѣ, а не *–и* [там же: 24-25], что согласуется с характеристикой *-и* как славянского у Пауса (см. № 23). В парадигме *царь* дат. ед. *царю* [там же: 25], форма *цареви*, охарактеризованная Паусом как славянская (см. № 24), не упомянута. В парадигмах *мать, дочь* род., дат. и местн. ед. дается с флексией *-и* что представляет собой некоторый пересмотр Пауса (см. № 27), однако учитывающий квалификацию род. ед. на *-е* как славянизма.

В склонении прилагательных Адодуров критически пересматривает решения Пауса, хотя избранная им в качестве примера парадигма *добрый* указывает на преемственность. Адодуров, естественно, никак не упоминает чередования заднеязычных со свистящими (ср. № 28). Для род. ед. и вин. ед. м. (и ср.) рода даются варианты *добраго* и *доброво* [там же: 30], т.е. флексия *-аго* не интерпретируется как славянизм, как это делает Паус (см. № 29). В род. ед. ж. рода Адодуров кодифицирует флексию *-ыя*, которую Паус определяет как славянскую (см. № 30). Для им.-вин. мн. ч. Адодуров дает в качестве вариантов для всех трех родов *-ые* или *-ыя*, отчасти учитывая таким образом наблюдения Пауса (см. № 31). В им. ед. м. рода дается форма *добрый*, тогда как у Пауса здесь появляется специально русский вариант *доброи* (см. № 32). Можно полагать, что, кодифицируя склонение прилагательных, Адодуров решает игнорировать противопоставление русского и церковнославянского и нормализовать формы, соответствующие книжной письменной традиции.

Аналогичной стратегии следует Адодуров и при описании числительных. Он указывает, что вместо числительного *одинъ* употребляется и числительное *единъ*, которое в косвенных падежах склоняется как прилагательное на *-ый* [там же: 32]; таким образом, Адодуров отказывается противопоставлять *одинъ* и *единъ* как русское и славянское, но при этом следует Паусу, у которого краткие формы числительного *единъ* в косвенных падежах выступают как особенность славянского (см. № 33). Для числительного *два* Адодуров воспроизводит русскую парадигму Пауса; с русской парадигмой Пауса совпадает и адодуровская парадигма числительного *три* (см. № 34). Для числительных *семь* и *восемь* Адодуров предусматривает варианты *седмь* и *осмь*, которые он, в отличие от Пауса (см. № 35), не распределяет по языкам (русскому и славянскому).

Сходные моменты преемственности можно обнаружить и в описании местоимений [Адодуров 1731: 34-37]. Те формы, которые Паус отмечает как славянские, Адодуров,

как правило, устраняет. Так он поступает с энклитическими местоимениями, род.-вин. *мене, тебе*, род. мн. *самѣхъ* и т.д. (ср. №№ 37, 38). В некоторых случаях он пересматривает решения Пауса, интерпретируя противопоставляемые Паусом элементы как допустимые варианты, например, *его* и *ево, кого* и *ково, самого* и *самово* и т.д. (ср. №№ 38, 39, 40). Какие-то варианты Адодуров исключает, рассматривая их, видимо, как ненормативные, например, *хто* (ср. № 40). Зависимость от Пауса в этом разделе не слишком заметна, однако и здесь, нужно думать, грамматика Пауса выступала как фон, на котором работал Адодуров.

В описании глагола Адодуров, так же как и Паус, а перед ним Лудольф выделяет только три наклонения: индикатив, императив и инфинитив [Адодуров 1731: 38] (ср. № 47). За Лудольфом, а не за Паусом следует Адодуров, определяя состав временных категорий: время подразделяется на настоящее, прошедшее и будущее [там же: 38-30] (ср. № 48). Будущее, однако, может быть как сложным, образуемым с помощью вспомогательных глаголов *буду, стану* или *имѣю*, так и простым, образуемым с помощью частиц *по, на* и других; подобная фиксация двух будущих воспроизводит решение Пауса (см. № 49). Во 2 л. ед. ч. презенса и футурума Адодуров дает исключительно флексии на *-шь* [там же: 40-43], повторяя здесь Лудольфа и Пауса (ср. № 51). Точно так же только в форме на *-ть* дается и инфинитив, что соответствует решению Пауса (см. № 52) и вместе с тем — значимым образом — противоречит употреблению того самого Вейсманова лексикона, в приложении к которому напечатан адодуровский очерк [Brien 1983: 24][17]. Впрочем, Адодуров предусматривает употребление форм на *-ши* и на *-ти*, "wenn solches die Gelegenheit, als in Versen, erfordert" [Адодуров 1731: 44]; этот дополнительный момент накладывается на вариативность, предусмотренную Паусом.

Таким образом, хотя Паус и пишет славяно-русскую грамматику, соединяющую описание русского и церковнославянского, эта грамматика лежит у истоков формирования академической традиции описания русского языка как языка, противопоставленного церковнославянскому. Сама идея описать одновременно русский и церковнославянский связана для Пауса с установлением подробного инвентаря их частных различий, не препятствующих, с его точки зрения, фундаментальному единству этих языков. Следующее поколение академических филологов (Адодуров, Шванвитц, Тредиаковский) исходит из иной общей установки — пуристического устроения славянских элементов из "самодостаточного", на их взгляд, русского языка. Эта установка актуализирует для них параметры генетической противопоставленности русского и церковнославянского и обусловливает их резко отрицательное отношение к синтетическому опыту Пауса. Наряду с этим, однако, та же самая установка побуждает их обращаться к паусовскому инвентарю и рассматривать его как своего рода отправной момент для определения различий русского и церковнославянского. Хотя Шванвитц и Адодуров принимают отнюдь не все решения Пауса и в ряде случаев отказываются считать установленные им оппозиции противопоставлениями

---

[17] Интересно отметить, что Бакмейстер в своей "Russische Bibliothek" указывает, что употребление инфинитива в Вейсмановом лексиконе не соответствует установившемуся к 1731 к. узусу. Бакмейстер, обосновывая свое мнение, что лексикон был переведен еще в XVII в., отмечает в нем "der russischen Schreibart, die weit älter, als die gegen das J. 1731. allgemein gebräuchliche ist (z. E. djela*ti*, nicht djela*tj*; so wie alle andere Infinitiven, immer auf *i*, oder doch höchst selten auf *j* ausgehen)" [Bacmeister 1786: 122]: правописание же вводной части, т.е. "Anfangs-Gründe", характеризуется, по наблюдению Бакмейстера, иным узусом [Там же]. О втором издании Вейсманова лексикона 1782 г. Бакмейстер замечает: "Die alte russische Schreibart der ersten Ausgabe ist hier mit der neuen jetzt allgemeingebräuchlichen verwechselt worden (weswegen denn auch die Infinitiven sich nicht auf *i*, sondern auf *j*, endigen — also nicht djela*ti*, sondern djela*tj*)" [Там же: 125]. Хотя наблюдения Бакмейстера над узусом 1720-1730-х годов не вполне соответствуют наблюдаемой в действительности картине, он вполне точно фиксирует происходящую в это время смену норм. Данная инновация, появляющаяся в "Anfangs-Gründe", может быть достаточно определенно связана с разысканиями Пауса и следующего за ним Адодурова.

русских и славянских элементов[18], его инвентарь остается основным пособием для его молодых оппонентов. Понятно, что если описание Пауса может служить руководством в установлении оппозиций русского и славянского, т.е. там, где установки Пауса и его продолжателей радикально расходятся, она тем более способна оказывать влияние на другие аспекты описания русского языка. Таким образом, нам представляется абсолютно неправомерным исключать грамматику Пауса из истории формирования русской грамматической традиции, поскольку без нее эта история оказывается лишенной одного из своих важнейших звеньев, а многие частные понятия и приемы — своих истоков.

4. Как мы видели, отрицательное отношение к грамматике Пауса было обусловлено теоретическими установками академических филологов нового поколения в начале 1730-х годов. Эти установки были порождены перенесением на русскую почву западноевропейских (прежде всего французских) лингвостилистических моделей. Прилагая эти модели к русской языковой ситуации, филологи начала 1730-х годов интерпретировали церковнославянский как язык, столь же отличающийся от русского, как латынь отличается от итальянского или французского. Реализация этой модели наталкивалась на существенные трудности. С одной стороны, эта модель предполагала ориентацию на образцовое (нормализованное) разговорное употребление (например, речевые навыки двора), для которого в России рассматриваемого периода просто не было эквивалента. С другой стороны, эта модель требовала отнесения всего наличного, присутствовавшего в языковом опыте лингвистического материала к одному из двух языков — русскому или церковнославянскому. Для такого размежевания не было ясных критериев, и все сложившиеся навыки языкового поведения в сфере письменного языка вступали в противоречие с подобными пуристическими требованиями. Наконец, предметом обработки оказывался исключительно "гражданский" язык (русский), противопоставленный "церковному" (церковнославянскому). С точки зрения европейского опыта, это означало создание языка, ограниченного в своем функционировании, т.е. неполноценного, не приспособленного для выражения всего диапазона культурных ценностей общества, как это полагалось "правильному" европейскому литературному языку.

Эти трудности и недостатки обусловливали постепенный пересмотр первоначальных установок. Вряд ли правомерно полагать, как это делает, например, Б.А. Успенский [Успенский 1985; 1994], что смена установок была одномоментным преобразованием и молодой Тредиаковский без всякого перехода превратился в своего антипода — зрелого Тредиаковского. Процесс был эволюционным (как в случае Тредиаковского, ср.: [Алексеев 1982], когда мы можем проследить его этапы, так и в случае других филологов, например, Ломоносова, об эволюции воззрений которого мы почти не располагаем данными) и предполагал постепенный отказ от различных элементов первоначальной установки. Система взглядов, к которой пришли преобразователи

---

[18] Не исключено, что роль источника для установления оппозиций русского и церковнославянского инвентарь Пауса играл и позднее, при новых пересмотрах соотношения этих языков. Так, например, Ломоносов в своих замечаниях 1746 г. на трактат Тредиаковского об окончаниях прилагательных во мн числе пишет: "...Славенский язык от Великороссийскаго ничем столько не разнится, как окончениями речений. Например, пославенски единственные прилагательные мужеские именительные падежи кончатся на *ый* и *ій*, *богатый*, *старшій*, *синій*; а повеликороссийски кончатся на *ой* и *ей*, *богатой*, *старшей*, *синей*. Пославенски, *сыновóмъ*, *дѣлóмъ*, *рýцѣ*, *мене* , *пихомъ*, *кланяхуся*; повеликороссийски, *сыновьямъ*, *дѣламъ*, *рýки*, *меня*, *(мы) пили*, *(они) кланялись*. Таким же образом и множественныя прилагательныя мужескія в именительном падеже Славенскія разны от Великороссийских" [Ломоносов, IV: 1; Ломоносов, VII[2]: 83]. Все эти оппозиции так или иначе отмечены у Пауса (см. №№ 18, 20, 31, 32, 50; для противопоставления *сыновóмъ* — *сыновьямъ* см. специально лл. 50, 51), причем первая из них у Адодурова подвергается реинтерпретации: флексия *-ый* рассматривается как "русская". Ломоносов, следовательно, возвращается к трактовке Пауса минуя Адодурова. Понятно, что подобные мелкие сходства в интерпретации могут возникать независимо друг от друга и сами по себе не доказывают влияния грамматики Пауса на Ломоносова. Однако знакомство Ломоносова с грамматикой Пауса представляется вероятным, так что сознательная или бессознательная преемственность вполне могла иметь место.

русского языка в конце 1740-х—1750-х годах, во многом напоминает те самые декларации Пауса, которые казались им столь однозными в 1730-е годы. Трудно предположить, что если грамматика Пауса была им известна, данное развитие обошлось без влияния его теоретических построений, тем более что в ряде других теоретических вопросов влияние Пауса прослеживается достаточно отчетливо. Мы имеем в виду паусовскую трактовку категории подвижности (Motion), которой в его грамматике посвящен довольно обширный раздел (лл. 31об-33об), и связанную с этой категорией грамматическую традицию от Шванвитца и Адодурова до Ломоносова [Keipert 1995a], а также морфонологические разделы рассматриваемой грамматики, зависимость от которой просматривается в последующих описаниях чередований [Keipert (в печати)]. Как уже говорилось, после 1735 г. грамматика Пауса была доступна и Тредиаковскому, и Ломоносову. В какой степени они этой возможностью воспользовались, требует особого исследования[19], однако, исходя из общих соображений, можно утверждать, что их знакомство с Паусом вполне вероятно и может быть принято в качестве рабочей гипотезы.

Первый элемент исходной установки, от которого отказывается Тредиаковский, — это противопоставление церковнославянского языка как церковного русскому языку как гражданскому. В "Слове о витийстве" 1745 г. Тредиаковский говорит о едином "природном" языке, функционирующем в России, который употребляется в церкви, при дворе, в Сенате, в суде, в разговорах на площади, в комедийных представлениях, в семейном общении [Тредиаковский 1745: 57-59]. В русских условиях единый язык, употребляющийся и в светской, и в церковной сфере необходимо представлял собой какое-то сочетание русского и церковнославянского; противопоставление этих языков, столь важное для Тредиаковского и его единомышленников в начале 1730-х годов, снимается, и возникающее в результате синтетическое образование наделяется полифункциональностью. Паус, как известно, с самого начала придерживался взгляда на русский и церковнославянский как образующие определенное единство или синтез, он обосновывал необходимость изучения славянского одновременно с русским именно тем, что без него останутся непонятными церковные книги, тексты, трактующие "höhen u. geistl. Sachen", равно как ученые и исторические сочинения (л. 3), т.е. функциональными параметрами славянской части славяно-русского единства. Поэтому и вводные замечания он начинал с перечисления функций "rußische slavonische Sprache", которые этот язык выполняет в Российской империи: его употребляют в быту, в канцеляриях, судах и в церкви (л. 5)[20]. Этот перечень и по своему составу, и по тому теоретическому контексту, в котором он приводится, ближайшим образом напоминает обсуждавшийся выше перечень Тредиаковского. Само по себе это могло бы быть случайным совпадением, однако сходство в описании функционирования "природного" языка обусловливает и сходство в понимании самой его природы. Тождество в переходе от функциональных параметров к структурным слишком значимо, чтобы оказаться случайным.

---

[19] Укажем, например, что Ломоносов, пересматривая то распределение существительных по склонениям, которое ввел Смотрицкий (и которое сохранено у Лудольфа, Ф. Максимова, Шванвитца, Адодурова и Гренинга), выделяет в особое третие склонение "имена средняго рода кончащияся на Я" типа *сѣмя* и *жеребя* (§ 157 — [Ломоносов, IV: 74]). Единственным предшественником Ломоносова оказывается в этом Паус, у которого в то же по номеру склонение попадают существительные ср. рода, кончающиеся на *я* или *о* и добавляющие слог "im Genit. u. andern Casibus" типа *имя, отроча* и *словесо* (л. 53об—54об). Ломоносов (§ 207— [Ломоносов, IV: 92]), так же как и Паус (л. 54 об), специально оговаривает в рамках этого склонения формы мн. числа существительного *дитя*, относя его — опять же в полном единстве с Паусом — к числу имен, "преходящих из одного склонения в другое" [Ломоносов, VII^2: 642; ср. Макеева 1961: 102]. Пришел ли Ломоносов к этой классификации самостоятельно или опирался на Пауса, остается не вполне ясным (понятно, что, используя Пауса, он должен был бы устранить существительные типа *словесо*); знакомство с Паусом, однако, кажется очень правдоподобным.

[20] В этом же ключе Паус продолжает, указывая, что на "славяно-русском" языке говорят, читают и пишут книги, рукописные сочинения и указы. Простой народ употребляет в разговоре множество духовных формул, восходящих к Библии и потому славянских (л. 5).

Действительно, в 1746 г. Тредиаковский в рассуждении "О множественном прилагательных целых имен окончении" заявляет, отходя от своего прежнего ригоризма, что славянский язык является для "нашего" (русского) "fons atque origo, id omnibus est notissimum, et a qua nostra vix latum digitum, ut ita dicam, recedat" [Ломоносов, IV: прим. 12]. Различия между русским и славянским оказываются поверхностными, тогда как в своем существе два эти языка объявляются тождественными. Таким образом, начав с функциональных параметров, Тредиаковский приходит к тому самому взгляду на соотношение русского и церковнославянского, которого придерживался Паус, к тезису о структурной близости или единстве данных языков.

Этот тезис подробно обсуждается в "Разговоре об ортографии" 1748 г. Тредиаковский пишет здесь о том, что он понимает под единством: "Тот язык не может быть не один с каким другим, который имеет одну во всем распространении своем, природу с тем другим: ибо единство природы в каких вешчах и означает, что те вешчи одно и тож имеют сушчество, тоесть, что оне одно и тож между собою. А понеже, российский наш язык имеет одну, во всем распространении своем природу с славенским: ибо теж самыя в нем имена и глаголы; теж прочие скланяемые, и нескланяемые части; теж склонения имен и спряжения глаголов [...] притом теж предлоги, и техже падежей требуюшчии; теж надглаголия и с темиж падежами полагаюшчияся; теж союзы; тож самое сочинение не токмо врассуждении предложения частей, но и что касается до всех правлений; теж правила, и теж самыя изъятия; словом, тотже самый дух и одна душа в нашем, которая и в славенском, так что руский наш язык и называется славенороссийский, тоесть, российский по народу, а славенский по своей природе" [Тредиаковский 1748: 298—299; Тредиаковский, III: 202-203].

Положение о единстве природы русского и славянского в точности соответствует тому, что писал Паус. Отвечая на вопрос о том, являются ли славянский и русский одним и тем же, он утверждает: "[...] Die rußisch u[nd] Slavonisch Sprache [...] ist einerl[ei] wann man sie considerirt 1. nach ihre[n] Elementis u[nd] Buchstaben, 2. nach ihre[m] Stoff [?] u[nd] Grundworter, 3. nach ihre[r] Natur u[nd] Analogie, 4. nach ihren meisten grammaticalischen accidentibus" (л. 5). То, что пишет Тредиаковский, может рассматриваться как экспликация положений, обозначенных Паусом. Как и Паус, он говорит о тождестве элементов (правда, не букв, т.е. звуков, а имен, глаголов, наречий и союзов), о единстве природы, выражающемся в тождестве "распространения", что соответствует грамматическим акциденциям у Пауса, и, наконец, о единстве правил и исключений ("изъятий"), что подразумевает понятие аналогии как оно употреблялось грамматистами XVII—XVIII вв. Таким образом, сходство во взглядах Тредиаковского и Пауса относится не только к общему утверждению о единстве русского и славянского, но и к тому, как понимается это единство.

И Паус, и Тредиаковский, утверждая единство двух языков, одновременно указывают на их частные различия. Согласно Тредиаковскому, "вся разность, которая находится у нашего с славенским, касается токмо, так сказать, до поверхности языка, а не до внутренности, тем что состоит она либо в нововводных словах, как за славенское *аиче*, у нас *ежели*; либо в простейшем выговоре от народа введенном, как вместо *глава, голова*, вместо *пити, пить*, вместо *млеко, молоко*. Но такая разность не мешает нимало, быть нашему языку одним и темже с славенским" [Тредиаковский 1748: 300; Тредиаковский, III: 203]. Отмечая единство склонений и спряжений, Тредиаковский вместе с тем замечает: "[В]ыключая в нашем, что прошедшия токмо времена инако лицами падают, например *мы были* вместо *быхом*, однако сие не мешает, чтоб и безграматный наш не разумел, что *быхом*, или *бысте*, или *бѣша*, не тож значили, что у нас *мы были, вы были, они были;* И неможно сказать, чтоб наши спряжения не теж были что и славенския, длятого что в наших спряжениях, равно как и склонениях, нет двойственнаго числа, потому что и славенскому оное число есть неприродное, но с греческаго от грамматистов выдуманное" [Тредиаковский 1748: 299-300; Тредиаковский, III: 202]. И здесь Тредиаковский в большой степени повторяет

Пауса, который утверждает, что различия между двумя языками возникают в результате "heutige Veränderung" (ср. "нововводные слова") и проходят "nach etl. accidentibus in d. Grammatic". Под категорию такого рода акциденций как раз и подходят окончания прошедших времен и дв. число (ср. №№ 50, 13). Стоит отметить, что о прошедших временах Паус говорит не только в разделе, посвященном глаголу, но и в предпосланном грамматике письме, в котором обсуждается статус русского и церковнославянского. Он пишет здесь, что без изучения славянского нельзя установить различие между тремя претеритами (л. 3), т.е. выделяет простые претериты как одно из основных различий между двумя языками. Как можно видеть, общим для Тредиаковского и Пауса оказывается понимание единства русского и славянского как тождества по природе и различия в отдельных акциденциях. Именно на этой основе построена славяно-русская грамматика Пауса.

Не менее показательно в этом плане, что оба филолога в качестве общепонятного примера такого единства избирают отношения между диалектами. Тредиаковский замечает, что различие в отдельных акциденциях не мешает субстанциональному единству языков, "ибо ложно скажется, что Новгородский язык есть не русский, для того что внем *лони* и *дежа*, за наше *давно*, и *квашня*. Мешалаб она, ежелиб была такая, какая у Латинскаго с французским, италианским, и гишпанским, длятого что сии три языка отменились от латинскаго всею природою сочинения, хотя и ясно видимо, что оне произошли от него..." [Тредиаковский 1748: 300; Тредиаковский, III: 203]. Паус проводит точно такую же аналогию, используя, естественно, не пример русских, а пример немецких диалектов. Согласно Паусу, "man kan von den Dialectos betrifft gleiche Unterscheid einiger Maßen abnehmen an der NiederSächsischen u. hochteutschen Sprache u. Sächs od. Niederteutsch" (л. 5).

Таким образом, у Тредиаковского и Пауса совпадает вся последовательность рассуждения[21]. При том что знакомство Тредиаковского с грамматикой Пауса представляется весьма вероятным, наиболее простым объяснением этого сходства кажется рассмотрение грамматики Пауса в качестве одного из источников лингвистических построений Тредиаковского. Это означает, что грамматика Пауса не только служила важным пособием при формировании академической грамматической традиции в начале 1730-х годов (см. выше), но продолжала определять развитие этой традиции в дальнейшем. Нужно иметь в виду, что взгляды Ломоносова на соотношение русского и церковнославянского очень близки к тем воззрениям Тредиаковского, которые излагались выше. В изложении этой проблемы у Ломоносова (в "Рассуждении о пользе книг церковных") нет, однако, того сходства в последовательности аргументов, которое мы обнаружили у Пауса и Тредиаковского. На формирование воззрений Ломоносова Тредиаковский несомненно повлиял (их полемика по частным вопросам не должна заслонять общность и преемственность их идей). Оказала ли на Ломоносова непосредственное воздействие грамматика Пауса, куда более сомнительно. В любом случае Ломоносов принадлежит той же академической филологической традиции, в образовании которой существенную роль сыграл Паус. Попытке хотя бы предварительно очертить эту роль и была посвящена настоящая статья.

---

[21] Существенно отметить, что, утверждая единство русского и церковнославянского, и Паус, и Тредиаковский не отказываются от понятия "употребления" (usage, Gebrauch) как источника языковой нормы. Паус ссылается на "употребление" во многих местах своей грамматики, а в одном случае даже повторяет вожелаистскую формулу, говоря о "Tyranney des gemeinen Gebrauchs" (л. 15об — речь идет о том, что *ѳ* лучше было бы читать с легкой аспирацией, чтобы отличать ее от *ф*, однако это невозможно, поскольку противоречит "общему употреблению"). Понятие "употребления" в этом случае, очевидно, трансформируется (если в качестве исходного брать usage у Вожела). Подобные трансформации были достаточно распространены в европейской лингвистической литературе конца XVII — первой половины XVIII в. (ср. [Живов 1990: 97—105]). Паус и Тредиаковский оказываются здесь в общей струе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[Адодуров В.Е.] 1731 — Anfangs-Gründe der Russischen Sprache // Teutsch-Lateinisch- und Russischen Lexicon... СПб., 1731 (Цит. по кн.: Unbegaun 1969).

Алексеев А.А. 1982 — Эволюция языковой теории и языковая практика Тредиаковского // Литературный язык XVIII века. Проблемы стилистики. Л., 1982.

Бабаева Е.Э., Запольская Н.Н. 1993 — Языковой континуум Петровской эпохи: обзор грамматических трактатов первой четверти XVIII в. // Исследования по славянскому историческому языкознанию. Памяти проф. Г.А. Хабургаева. М., 1993.

[Байбаков Аполлос] 1794 — Грамматика руководствующая к познанию Славенороссийскаго языка. Печатана в Типографии Киево-печерския лавры 1794 года.

Живов В.М. 1986 — Новые материалы для истории перевода "Географии генеральной" Бернарда Варения // ИАН СЛЯ. 1986. № 3.

Живов В.М. 1990 — Культурные конфликты в истории русского литературного языка XVIII — начала XIX века. М., 1990.

Живов В.М. 1992 — Из истории русской грамматики: итеративы и имперфективы в структуре глагольной парадигмы // Доломоносовский период русского литературного языка. The Pre-Lomonosov period of the Russian literary language (Материалы конференции на Фагеруде, 20—25 мая 1989 г.). Stockholm, 1992.

Живов В.М. 1993 — Унификация склонения существительных в косвенных падежах м. числа в памятниках XVII века: характер вариативности и обусловливающие ее факторы // Исследования по славянскому историческому языкознанию. Памяти проф. Г.А. Хабургаева М., 1993.

Ломоносов М.В., I—VIII — Сочинения. Т. I—VIII. СПб; М.; Л., 1891—1948.

Ломоносов М.В., I^2—X^2 — Полное собрание сочинений. Т. I—X. М.; Л., 1950—1959.

Макеева 1961 — История создания "Российской грамматики" М.В. Ломоносова. М.; Л., 1961.

[Максимов Федор] 1723 — Грамматіка славенская въ кратцѣ собранная въ Грекославенской школѣ иже въ великом Новѣ градѣ при домѣ архіерейскомъ. СПб., 1723.

Материалы АН. — Материалы для истории императорской Академии наук / Под ред. М.И. Сухомлинова. Т. I—X. СПб., 1885—1900.

Михальчи Д.Е. 1964 — И.В. Паузе и его Славяно-русская грамматика // ИАН СЛЯ. 1964. № 1.

Михальчи Д.Е. 1968 — Листы беловой рукописи "Славяно-русской грамматики" И.В. Паузе // Вопросы грамматики и словообразования. М., 1968.

Михальчи Д.Е. 1969 — Славяно-русская грамматика Иоганна Вернера Паузе. Автореф. дис. ... док. филол. наук. Л., 1969.

Михальчи Д.Е. 1969а — Славяно-русская грамматика Иоганна Вернера Паузе: Дис. ... док. филол. наук. Л., 1969.

Ольховиков В.А. 1985 — Теория языка и вид грамматического описания в истории языкознания. М., 1985.

Перетц В.Н. 1902 — Историко-литературные исследования и материалы. Т. III: Из истории развития русской поэзии XVIII в. СПб., 1902.

Смотрицкий М. 1619 — Грамматики славенския правилное синтагма. Потщанием... Мелетия Смотрицкого. В Еве, 1619 (Цит. по изд.: М. Смотрицький. Граматика. Київ, 1979).

Смотрицкий 1648 — [Мелетий Смотрицкий]. Грамматика. М., 1648.

Смотрицкий 1721 — [Мелетий Смотрицкий]. Грамматика. М., 1721.

Тредиаковский В.К., I—III — Сочинения. Т. I—III, СПб., 1849.

Тредиаковский В.К. 1735 — Речь... в Санктпитербургской имп. Академии наук к членам Российского собрания, во время первого оных заседания, марта 14 дня 1735 года. СПб., 1735.

Тредиаковский В.К. 1745 — Слово о богатом, различном, искусном и несхотственном витийстве. СПб., 1745.

Тредиаковский В.К. 1748 — Разговор между чужестранным человеком и российским об ортографии старинной и новой и о всем что принадлежит к сей материи. СПб., 1748.

Тредиаковский В.К. 1935 — Стихотворения. Л., 1935.

Уложение 1987 — Соборное уложение 1649 года. Текст. Комментарии / Под руковод. А.Г. Манькова. Л., 1987.

Успенский Б.А. 1975 — Первая русская грамматика на родном языке. Доломоносовский период отечественной русистики. М., 1975.

Успенский Б.А. 1985 — Из истории русского литературного языка XVIII — начала XIX века. Языковая программа Карамзина и ее исторические корни. М., 1985.

Успенский Б.А. 1992 — Доломоносовские грамматики русского языка (итоги и перспективы) // Доломоносовский период русского литературного языка. The Pre-Lomonosov period of the Russian literary language (Материалы конференции на Фагеруде, 20—25 мая 1989 г.) Stockholm, 1992.

Успенский Б.А. 1994 — Краткий очерк истории русского литературного языка (XI—XIX вв.). М., 1994.

Черных П.Я. 1953 — Язык Уложения 1649 года. Вопросы орфографии, фонетики и морфологии в связи с историей Уложенной книги. М., 1953.

Шванвитц М. 1731 — Compendium grammaticae russicae / БАН, F.N. 250.

Bacmeister H.L. Chr. 1786 — Russische Bibliothek, zur Kenntniß des gegenwärtigen Zustandes der Literatur in Rußland. Bd. X. St. Petersburg, 1786.

Baumann H. 1980 — Groening und Adodurov // Sprache in Geschichte und Gegenwart. Jena, 1980.

Brien N. 1983 — Die Weißmannschen Wörterbucher — ein kurzer Vergleich der Erstund Zweitauflage // Weismanns Peterburger Lexikon von 1731. (III). Grammatischer Anhang. München, 1983, 23—37.

Glück J.E. 1994 — Grammatik der russischen Sprache (1704) / Herausgegeben und mit einer Einleitung versehen von H. Keipert, B. Uspenskij und V. Živov. Böhlau Verlag. Köln; Weimar; Wien, 1994.

Groening M. 1750 — Россійская грамматика. Thet är Grammatica Russica, eller Grindelig Handledning til Ryska Språket. Stockholm, 1750 // Цит. по: Unbegaum, 1969.

Horbatsch O. 1964 — Die vier Ausgaben der kirchenslavischen Grammatik von M. Smotrycкyj. Wiesbaden, 1964.

Keipert H. 1988 — The sources of Michael Groening's Rossijskaja grammatika (Stockholm, 1750) // Oxford Slavonic papers. 1988). V.XXI.

Keipert H. 1989 – Groening und Schwanwitz // "Прими собранье пестрых глав". Slavistische und slavenkundliche Beiträge für Peter Brang zum 65. Geburtstag. Bern — Frankfurt am Main — N.Y. – P. 1989.

Keipert H. 1992 — Русская грамматика М. Шванвитца 1731 г. (Предварительные замечания о рукописи БАН F.N. 250) // Доломоносовский период русского литературного языка. The Pre-Lomonosov period of the Russian literary language (Материалы конференции на Фагеруде, 20—25 мая 1989 г.) Stockholm, 1992.

Keipert H. 1995 — Michael Groenings "Ryska Talesätt" // Подобаетъ память сътворити. Essays to the memory of Anders Sjöberg / Ed. by P. Ambrosiani, B. Nilsson, L. Steensland. Stockholm, 1995.

Keipert H. 1995a — Das Problem der Motion in den ältesten Grammatiken des Russischen // The language and verse of Russia. In Honor of D.S. Worth / Ed. by H. Birnbaum and M. Flier. I. M., 1995.

Keipert H., (в печати) — *Рука – ручной — ручаться*. Zur Alternationslehre in den Grammatiken des Russischen vor Lomonosov // Сборник статей в честь А.А. Зализняка (в печати).

Kopiiewitz E. 1700 — Latina Grammatica in usum scholarum celeberrimae gentis Sclavonico-rosseanae adornata. Studio, atque opera Eliae Kopiiewitz... Amstelodami, 1700.

Ludolf H.-W. 1696 — Grammatica Russica... Oxonii, 1696 (Цит. по изд.: Oxford, 1959 / Ed. by B.O. Unbegaun).

Sohier J. I—II — Grammaire et Methode Russes et Françoises 1724. / Факсимильное изд. под ред. и с пред. Б.А. Успенского. München, 1987. Bd. I—II.

Šachmatov A., Shevelov G.Y. 1960 — Die kirchenslavischen Elemente in der modernen russischen Literatursprache. Wiesbaden, 1960.

Unbegaun B.O. 1969 — Drei russische Grammatiken des 18. Jahrhunderts: Nachdruck der Ausgaben von 1706, 1731 und 1750 mit einer Einleitung von B.O. Unbegaun. München, 1969.

Winter E. 1958 — Ein Bericht von Johann Werner Paus aus dem Jahre 1732 // ZSl, 1958, Bd. 3. Hf. 5.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1996

© 1996 г. Х. АНДЕРСЕН

ВЗГЛЯД НА СЛАВЯНСКУЮ ПРАРОДИНУ: ДОИСТОРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЭКОЛОГИИ И КУЛЬТУРЕ (II)*

4. ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И ЭКОЛОГИЯ

4.1. Лингвистическая география

Замечательно, что в пранстории общеславянского названия 'рябчика' и его производных содержатся свидетельства как выделения славянского в кругу его индоевропейских соседей, так и диалектного дробления общеславянского в эпоху до начала славянских миграций и во время миграций.

Большинство таких свидетельств имеет лишь относительное значение. Возьмем хотя бы следующие факты: 1) что сев.-зап. и.-е. название 'рябчика', *(h_1)erb-i-, (h_1)rb-i- объединяет славянский, балтийский и германский; 2) что иносказательное праславяно-балтийское *$h_3$er-n̥-b^h-i- 'птичка' объединяет славянский и части восточнобалтийского, и 3) что иносказательное пра-славяно-балтийское обозначение 'рябины *Sorbus aucuparia*' как 'рябчикового дерева (ягод)' является общим для славянского и лишь небольшой части восточнобалтийского. Эти факты свидетельствуют как о том, что названные прадиалекты в древности соседствовали друг с другом, так и о прогрессировавшей дифференциации соответствующих языковых сообществ в отдаленной праистории. Но они ничего не сообщают нам относительно локализации этих сопредельных языковых ареалов.

Прослеживается довольно отчетливая корреляция между нулевым вокализмом образования *h_3r-n̥-b^h-i- (протослав. RIMB-I- 'рябчик') и предположительно восточными диалектами общеславянского домиграционной эпохи. Рефлексы позднеобщеслав. *rębь- представлены в восточнославянском при почти полном отсутствии рефлексов позднеобщеслав. *jerębь- [Аванесов 1988: 153]. С восточным ареалом общеславянского могут быть связаны и отражения послемиграционного южнославянского *rębь- в сербскохорватском и словенском, а также восточнобалтийские образования с нулевой ступенью корня (протобалт. RUMB-), выступающей в лтш. *rubenis* 'тетерев'. Явный контраст между западным протослав. ERIMB-I- и восточным протослав. RIMB-I- вполне отвечает традиционным представлениям, которые 1) локализуют домиграционный общеславянский преимущественно между верхним течением Вислы на западе и средним Поднепровьем на Востоке, к югу от Припяти, в южной полосе лесной зоны, и 2) предполагают ранее разделение этой территории на западный и восточный культурные субареалы (ср. [Рыбаков 1981: 220–222]). Однако западно-восточное противопоставление протослав. ERIMB-I- ‖ RIMB-I-, отражаемое и вариантами производного прилагательного протослав. ERIMB-A- ‖ RIMB-A- 'рябой, пестрый', само по себе имеет лишь относительное значение; то же может быть сказано и о вариантах протослав. KARPĀ-T-Ū- ‖ KARPĀ-T-Ā- 'белая куропатка', также соотносящихся как западный и восточный (см. раздел 3.3.2).

---

* Продолжение статьи. Начало см. ВЯ. 1996. № 5.

Между тем семантический перенос протослав. (E)RIMB-I- 'рябчик > куропатка' неотделим от абсолютной экологической границы между лесной и степной зонами, в которых первоначально обитали эти птицы, а также от момента пересечения славянами этой границы с севера на юг.

Если бы не этот семантический перенос, название 'рябчика' было бы лишь одной из многих общеславянских лексем, подтверждающих локализацию первоначальной прародины славян в лесной зоне; см., например, обзор общеславянской терминологии для флоры, фауны и элементов ландшафта в [Филин 1962: 110–123]. Однако семантический перенос с 'рябчика' на 'куропатку' является неоспоримым свидетельством доисторического события, когда определенная часть славян стала заселять степь, повернувшись – культурно и лингвистически – спиной к лесной среде обитания своих предков.

Сходным образом и семантический перенос протослав. KARPĀ-TA-/-TĀ- 'белая куропатка > серая куропатка' неотделим от распространения сельского хозяйства железного века, которое сначала разрушило резкую границу лесной и степной зон, а затем постепенно, на протяжении столетий, эффективно обращало огромные участки лесной зоны в культивированную степь, что дало возможность серой куропатке расширить свой ареал к северу и таким образом лингвистически утвердиться поначалу как (серая) разновидность (белой) куропатки, а затем и сделаться основным немаркированным денотатом рефлексов протослав. KARPĀ-TA-/-TĀ-.

Ф.П. Филин в своем обзоре лексических свидетельств общеславянской прародины специально подчеркивает отсутствие в славянских языках общей терминологии для флоры, фауны и ландшафта степной зоны [Филин 1962: 112]. Однако представленный в данной работе анализ двух общеславянских названий 'куропатки' – типичной представительницы степной фауны – показывает, что лексическая сторона этой терминологии заслуживает более пристального внимания. Систематическое сравнительно-историческое исследование семантического разнообразия общеславянской терминологии природной среды может сообщить многое не только о локализации славян в доисторическую эпоху, но и об их доисторических перемещениях, сопряженных с изменением среды обитания, как и об адаптации к изменениям, претерпеваемым этой средой во времени.

Совершенно очевидно, что подобное систематическое исследование апеллятивов, выполненное, к примеру, в духе осуществленного О.Н. Трубачевым чрезвычайно важного новаторского исследования ремесленной терминологии [Трубачев 1966], сочетающего этимологическое изучение терминологических систем с ярко выраженной диахронической экстралингвистической перспективой (постепенное совершенствование технологий, орудий и продукции основных ремесел) может иметь весьма значительную отдачу. Оно способно внести убедительные коррективы в более спекулятивные выводы, полученные на основании анализа имен собственных, в частности, этнонимии и топонимии. В то время как исследование Трубачева, посвященное ремесленной терминологии древних славян и соседних индоевропейских народов, проливает свет на относительно отдаленные эпохи, аналогичное исследование терминологических систем, связанных с естественной средой обитания – проведенное с должным вниманием к широкой интегрированности природного окружения в древнюю культуру, – могло бы стать источником ценнейших сведений обо всем доисторическом периоде, включая эпоху великих миграций.

5. ПРИРОДА И КУЛЬТУРА В ПРАИСТОРИИ

5.1. Рябина и орешник

В разных местах данной работы всплывало непреднамеренное, но неизбежное сопоставление двух различных ассоциаций рябчика *Bonasa bonasia* – с рябиной *Sorbus aucuparia* в общеславянском (и части восточнобалтийского) и орешником *Corylus*

avellana в английском (западногерманских) и современных южнославянских языках. Как уже говорилось, между рябчиком и двумя этими растениями существуют простые природные связи: почки и побеги орешника составляют важную часть зимнего, а его молодые листья – весеннего рациона рябчика, тогда как осенью рябчик питается ягодами рябины [Cramp 1980: 387]; ср. разделы 1.1, 2.3.1. Можно полагать на этом основании, что при установлении отношений называния между *Bonasa bonasia* и одним из этих двух растений выбор между ними не мог не быть проблематичным.

Это допущение в принципе позволяет вообще отказаться от постановки ряда вопросов, однако едва ли это имеет смысл, если мы хотим понять: 1) почему предки славян образовали новое слово для 'рябины' от традиционного названия 'рябчика', а затем заменили название 'рябчика' иносказательным обозначением; или 2) почему в восточногерманском, напротив, традиционное слово для 'рябчика' (сохраненное в северногерманском) было заменено иносказанием, отсылающим к орешнику; или 3) почему славяне, заселившие Балканы, имевшие название для 'куропатки', но не для 'рябчика', когда им потребовалось слово для 'рябчика', образовали его от названия 'орешника'.

В разделах 2.3.1–2.3.3 я предложил ответ на первый из этих трех вопросов, предположив: 1) что древнее религиозное значение рябины как дерева Перуна обусловило табуистическую замену ее первоначального названия (раздел 2.3.2), 2) что религиозное значение рябчика как ритуального источника яиц для весеннего праздника плодородия также сделало его название предметом табуистической замены (раздел 2.3.3), но 3) что еще до появления этих лексических инноваций рябчик, хотя и ассоциировавшийся в целом с земным царством и весенней порой, стал рассматриваться как полноправный получатель осенних даров 'небесной' рябины [ср. запреты в подборке (2) и их интерпретацию в конце раздела 2.3.3].

В дальнейшем, однако, мы обнаружили, что это культурное представление, выразившееся в перенаименовании рябины как 'дерева рябчика' предками славян и балтов, трудно примирить с хтоническими коннотациями вероятного этимологического источника сев.-зап. и.-е. **(h_1)erb-i-, (*h_1)ṛb-i* 'птица мрака, *Bonasa bonasia*' – и.-е. **$h_1$reg^w-*, **$h_1$erg^w-* 'мрак, отсутствие дневного света', выявляемыми в греч. ἔρεβος 'подземный мрак, область перехода в Аид', ὄρφνη 'тьма (ночная, подземного мира)' и др. (раздел 2.4).

Столь зыбкие гипотезы с трудом поддаются оценке, особенно когда они конкурируют друг с другом. Однако, с другой стороны, именно такие соответствия, как зап.-герм. 'рябчик – орешник' ‖ протослав. 'рябчик – рябина' или протослав. 'ĒRB-, ĪRB- – "земная" птица, "небесное" дерево' ‖ 'греч. ἔρεβος – хтонический переход', могут послужить опорой для компаративиста. Возможно, познакомившись с символическим значением орешника в западногерманском и южнославянском культурном ареалах, где названием рябчика служат *hazel hen* и другие подобные термины, нам удастся гипотетически объяснить происхождение этих соответствий и таким образом ответить на второй и третий из сформулированных в начале этого раздела вопросов.

5.2. Хтонический орешник

Орешник – одно из первых деревьев, весной покрывающихся листьями. Он цветет приметными желтыми (мужскими) сережками и маленькими красными, похожими на почки цветами, задолго до того, как раскроются почки его листов. Но еще раньше, зимой, ветки и почки орешника служат кормом для многих видов птиц и млекопитающих, а в прошлом, в голодные годы, они использовались в пищу и человеком [Thiselton-Dyer 1968: 266]. Это делает орешник ярким выражением творческих сил Природы и их присутствия даже в ту пору, когда в остальном они кажутся дремлющими и запертыми в земле. Не удивительно поэтому, что орешник мог

восприниматься как символ сил хтонического царства. Такое восприятие его отражено некоторыми южнославянскими поверьями и обрядами; ср: (9):

(a) Сербы, по обычаю, в Рождество идя перед рассветом за водой для праздничного печенья, по дороге набирают веток орешника и приносят домой.

(b) Рождественским утром многие разговляются почками орешника, чтобы обеспечить себе здоровье в новом году.

(c) Сербы в Лике на Рождество втыкают за порогом дома три ветки орешника, а потом, перед весенним севом, перемешивают ими семена [Lettenbauer 1981: 59].

(d) Болгары верят, что орешник защищает от змей (и от ведьм); поэтому, путешествуя, они всегда держат при себе палку, вырезанную из орешника; считается, что от удара такой палкой змея сразу же погибает, тогда как никакое другое дерево такой силой не обладает (86)[50].

(e) Сербы в Среме верят, что ведьмы обычно встречаются у кустов орешника; в Далмации говорят, что ведьмы устраивают свои сборища в зарослях орешника под Пулой.

Очевидно, что засвидетельствованные этими поверьями функции орешника сродни тем, которые свойственны рябине (или пасхальным яйцам) у восточных славян (и балтов; ср. раздел 2.3.2). Однако в данном случае особый интерес представляет связь орешника с темнотой (9a), праздником зимнего солнцестояния (9a-c) и ведьмами, представительницами хтонического царства (9d-e).

Сходные с (9a-d) поверья широко засвидетельствованы и у западногерманских народов (ср. [HdA, 3:1527–1534]), хотя здесь, как кажется, во всяком случае в последнее время, ассоциированность орешника с силами тьмы проявляется в основном в его связи с ведьмами и ведовством. Считается, что ведьмы собираются в зарослях орешника [Teirlinck 1930: 12], что они используют орешник (и сходный с ним 'ведьмин орешник', *Hamamelis virginiana*) в своем ремесле [Teirlinck 1930: 40], что корень орешника обладает магической убийственной силой [там же: 143], но также и что орешник охраняет от ведьм [там же: 313]. Но особенно ярко родство орешника с хтоническим царством демонстрируется некогда широко распространенным использованием ореховых прутьев в так называемом жезлогадании, как "волшебного жезла" или "волшебной лозы", за которыми признавалась способность указывать, в искусных руках, места залегания кладов золота и серебра или, чаще, жил олова и меди, а также определять близкое присутствие подземных вод [Teirlinck 1930: 199; Thiselton-Dyer 1968: 270; ср.: OED, s.vv. *hazel, hazel-tree*].

Как и в случае с рябиной, дошедшие до нас верования, относящиеся к орешнику, представляют собой, по всей вероятности, лишь фрагменты некогда более связной системы народных представлений о природе вещей. Но даже и этих фрагментов достаточно, чтобы рассматривать орешник в парадигматическом противопоставлении рябине: он является символом творческих сил земли зимой и символом хтонического царства, тогда как рябина символизирует верхний мир и небесные силы, вызывающие плодоношение растений в конце сезона роста.

Вспомним теперь амбивалентное поведение рябчика, птицы по преимуществу наземной, но часто навещающей кроны деревьев и кустарники, а также примечательной своей скрытностью и способностью бесследно исчезать в подлеске (ср. раздел 2.3.3).

С учетом этого кажется возможным интерпретировать как взаимосвязанные западногерманскую лексическую ассоциированность *Bonasa bonasia* с орешником и буквальное значение прагерманского слова для 'рябчика', сев.-зап. и.-е. *$*(h_1)erb$-i- 'птица тьмы, хтоническая птица', и рассматривать эту связь как проявление преемственности символического значения птицы в западногерманском ареале, преемственности, восходящей к отдаленной эпохе, когда производное от и.-е. *$*(h_1)erg^w$- 'мрак' было впервые применено к 'рябчику' индоевропейцами, заселившими лесную зону еще до прихода туда предков тевтонов, балтов и славян.

[50] В некоторых местах эта способность приписывается не орешнику, а калине *Viburnum opulus* или кизилу *Cornus mas* [Lettenbauer 1981: 86].

И напротив, пра-славяно-балтийская инновация, обозначающая рябину как 'ягоды (дерево) рябчика', предполагает изменение в системе символических значений. Интересно было бы узнать, сложилось ли культурное представление, связывающее рябчика с рябиной, независимо в среде этих индоевропейцев или же было усвоено ими в ходе контактов с другими культурными группами. Вопрос этот может решаться лишь в контексте более широкого исследования доисторического символизма этих народов. Однако ответ подсказывается уже и тем, что известно о культурной праистории соседних балтов.

5.3. Культурная география в праистории

Одним из замечательных результатов предпринятого Велюсом [Vėlius 1989] обобщающего исследования символических систем балтов является демонстрация того обстоятельства, что, несмотря на фундаментальную типологическую общность балтийской картины мира, между отдельными регионами наблюдается существенное географическое варьирование в системах символических значений и их функционировании. В статистическом выражении эти различия выглядят как плавное изменение с запада на восток многочисленных семиотических параметров (см. табл. 1–12 в [Vėlius 1989]) – что свидетельствует о весьма древней культурной дифференциации этого ареала. В наиболее общих терминах эта дифференциация может быть описана как поляризация, проявляющаяся в большей значимости верхнего мира в восточном регионе, земного мира в центральных областях и хтонического – на западе.

В целом общая для всех балтов картина мира является, безусловно, древним индоевропейским наследием. Между тем наблюдаемая с запада на восток поляризация может быть результатом комбинации двух процессов. Она может быть соотнесена с различными неолитическими культурными ареалами, выделяемыми для периода, предшествующего иммиграции на эти территории предков балтов, и таким образом отражать ранние модификации их индоевропейского наследия под воздействием различных субстратных культур [Vėlius 1989: 290 и сл.]. Вместе с тем градуальный характер современной картины этой поляризации предполагает длительный процесс ареальной консолидации, сгладившей первоначальные контрасты между символическим употреблением отдельных регионов[51].

Тот факт, что лексическая инновация, связывающая рябину с рябчиком, объединяет славянский с частью восточнобалтийского, позволяет рассматривать эту символическую переориентацию рябчика в сторону верхнего мира в рамках описанного Велюсом процесса поляризации символических значений и предполагать, что первоначально это явление было распространено в балтийском ареале шире, чем теперь, затрагивая, возможно, и некогда балтийские территории современной России и Белоруссии, колонизованные восточными славянами в средние века. Переименование рябины – безусловно древняя инновация, и есть основания полагать, что оно было частью взаимного культурного приспособления предков славян и восточных балтов и субстратного населения, воспринявшего их язык, – по мнению Мошиньского, уралоязычных соседей предков современных западнофинских народов [Moszyński 1967: 275, 530].

5.4. Южнославянский 'рябчик'

Южнославянский неологизм позднеобщеслав. **lěščarъka* 'птица орешника' поднимает, как и всякое новообразование, вопрос: имеем ли мы дело с независимо возникшей или контактно мотивированной инновацией.

---

[51] Важным фактором в этом процессе были перемещения балтийского населения, широко засвидетельствованные археологическими данными, в ходе которых латыши и литовцы, начиная с 400-х гг. н.э., стали смещаться к северу и северо-востоку, на территории, занимаемые ими в настоящее время [Volkaitė-Kulikauskienė 1987: 150–156].

Если бы речь шла лишь о местном названии рябчика, можно было бы вполне удовлетвориться предположением, что славяне, заселившие Балканы, сами создали этот чисто описательный термин. Однако единство этого обозначения во всех славянских диалектах Балкан и, особенно, согласованность между южнославянской ассоциацией орешника с *Bonasa bonasia*, с одной стороны, и с предрассветной темнотой, самым темным временем года и силами тьмы – с другой, наводит на предположение, что как неологизм **lěščarъka* 'рябчик', так и специфически южнославянские обряды и поверья, связанные с орешником [указанные в (9)], отражают фрагменты символической системы, распространенной на Балканах в эпоху их колонизации славянами, фрагменты, интегрированные в средневековую культуру южных славян после перехода местного населения на славянскую речь.

Отметим в этой связи, что на отдельных территориях Балканского п-ова рябина ассоциируется со злыми женскими духами (ср. болг. *самодивско дръво*, буквально 'бесовское дерево'; [Moszyński 1967: 209, 685]. В этом явно находит выражение система символических значений, весьма отличная от свойственной славянам восточноевропейской лесной зоны.

Резюмируя сказанное, можно предположить, что на раннем этапе праистории северо-западной группы индоевропейских народов рябчик *Bonasa bonasia* ассоциировался с орешником, зимой и темнотой, а также с хтоническими силами. Предки славян и части балтов, возможно, под воздействием субстратной культуры, установили символическую связь между рябчиком и рябиной. Этиологическая легенда о рябчике и Перкунасе (раздел 2.4.4) объясняет, каким образом рябчик перешел в сферу действия небесных сил. Много позже, в канун исторической эпохи, одна из группировок славян, не располагавшая словом для 'рябчика', древнее название которого стало в их языке обозначением 'куропатки', расселилась на территории Балканского полуострова, где рябчик так же символически ассоциировался с орешником, как и в Западной Европе. Балканские славяне усвоили это символическое значение, о чем свидетельствует созданный ими неологизм позднеобщеслав. **lěščarъka* 'птица орешника'.

5.5. Белая куропатка

В отличие от позднеобщеслав. **jerębь*, **rębь*, с многообразием его фонологических вариантов, лексических значений, производных лексем и символических коннотаций, которые все так или иначе работают на мельницу компаративиста, общеславянские названия 'белой куропатки' возводятся к единственной, чисто славянской форме протослав. KARPĀ-TA-/-TĀ- с не вполне ясным описательным значением. Располагая лишь внутренними свидетельствами, реконструировать символическое значение белой куропатки не представляется возможным, не говоря уже о возможности определить, были ли закреплены за ней культурные функции, сходные с функциями рябчика.

И все же предложенные в разделе 3.2.3 две возможные интерпретации названия – 'птица в заплатах' и 'птица в снегоступах' – предполагают определенные символические коннотации. Обе они метафорически характеризуют оперение птицы посредством терминов, нормально обозначающих аспекты человеческой одежды. Это заставляет вспомнить, что в древней культуре восточных балтов, и, вероятно, также славян, тело человека и его одежда были включены в трехчастную картину мира. В этой схеме голова и головные уборы соотносились с верхним миром, туловище и покрывающая его одежда – с земным миром, а ноги, ступни, чулки и обувь – с нижним миром (ср. [Vėlius 1989: 41]).

Таким образом, реконструкция 'птица в снегоступах' предполагает ассоциацию *Lagopus lagopus* с хтоническим царством. Этому отвечает и отчетливо 'зимний' характер белого оперения птицы (ср. раздел 3.3.3). Согласуется с этим и допущение, что в эпоху, когда белая куропатка была названа протослав. KARPĀ-TA-/-TĀ-, она рассматривалась как разновидность сев.-зап. и.-е. **(h₁)erb-i-* 'птица тьмы' (раздел 2.4).

Напротив, реконструкция 'птица в заплатах' предполагает ассоциацию с земным миром, и, имплицитно, с весной, порой, когда белая куропатка (англ. *willow grouse*) кормится преимущественно в ивовых зарослях (англ. *willow* 'ива'). Можно вспомнить, что у балтов ива ассоциируется с земным миром ([Vėlius 1989: 127]; ср. раздел 2.3.2), и также, вполне вероятно, обстояло дело у славян. Ранее в славянском мире был широко распространен обычай развешивать куски ткани или предметы одежды на ветвях деревьев, за которыми признавалась целебная сила, для облегчения боли или излечения больших и малых недугов (см. [HdA, 5.908–912, s.v. *Lappenbäume*; также Lettenbauer 1981: 99–100]). Учитывая реальные целебные свойства почек и коры ивы *Salix* (обусловленные высоким содержанием в них салициловой кислоты), можно предполагать существование какой-то связи между белой куропаткой (*willow grouse*) и ивой (*willow*) как 'деревом в лоскутьях', которая могла мотивировать иносказательное 'птица в лоскутьях'[52].

Эта дополнительная символическая перспектива протослав. KARPĀ-TA-/-TĀ- пока мало что добавляет к уже известному. Но в рамках будущей реконструкции символической системы, интегрировавшей естественную флору и фауну в культуру древних славян, и эти фрагменты, может быть, найдут свое место в общей картине.

5.6. *Gallus domesticus:* птица для всех времен года

Неопределенности в предыдущих рассуждениях естественно возвращают нас к ключевому моменту в обсуждении символического значения рябчика в древней культуре славян (раздел 2.3.3) – утверждению, что эта древняя символическая система остается во многом недоступной для исследования, поскольку важные компоненты ее, связанные с орнитофауной, были нарушены и утрачены в связи с появлеиим домашней курицы.

В разделе 2.3.3 это положение было выдвинуто всего лишь как продиктованное здравым смыслом допущение, оправдывающее экскурс в ритуальные функции пасхальных яиц. Но если предполагать, что отдельные части этой системы символических значений были перенесены на домашнюю курицу, необходимо признать данное предположение в той же мере относящимся и к позднейшим символическим функциям петуха и курицы.

Общеизвестно, что с курицей ассоциируется целый ряд важных символических значений. Их количество и значимость удивительны для домашнего вида, существу-

---

[52] Дополнительное указание на связь белой куропатки с врачеванием можно извлечь из любопытного архаичного русского ритуала, известного как *троецыплятница*, записанного в нескольких вариантах в Вятской губернии и имеющего параллели в Болгарии. Курица, произведшая три выводка цыплят, должна быть зарезана (обязательно неполовозрелым мальчиком), приготовлена и съедена замужними женщинами деревни, включая вдов, или даже только вдовами, обязательно в отсутствии мужчин и незамужних женщин. Затем перья и кости курицы бросаются в реку или озеро или сжигаются. Ритуал осуществляется в годину нужды или тяжелой болезни, постигшей семью, или при трудных родах; он организовывается одним лицом и имеет ярко выраженный жертвенный характер (курица возвращается земле). Среди названий ритуала – *троецыплятница, курятница, курича братчина*, есть вариант *куротена*, записанный в одном пункте и, вероятно, представляющий собой производное от русск. диал. *куропоть* 'куропатка (белая и серая)' (так [Зеленин 1994 (1906): 119]). Если Зеленин прав, предполагая такую этимологическую связь, то название свидетельствует, что ритуал некогда предполагал принесение в жертву куропатки и таким образом должен быть древнее появления домашней курицы.

Однако реконструируемое позднеобщеслав. **kur-o-pъi-en-a* может быть относительно новым образованием. Характерно, что **-pъi-en-a* 'птенец' (ср. совр. русск. форму этого слова) соответствуют **-ćipl-ęt-* и **kur-ęt-* 'цыпленок' в других вариантах названия. Эти названия напоминают, что в жертву приносится не просто курица, но и потомство, которое она могла бы гарантированно произвести в будущем. Семантическая согласованность вариантных названий ритуала, не отмеченная Зелениным, говорит, на мой взгляд, больше, чем гипотетическая ассоциация с позднеобщеслав. диал. **kur-o-pъi-a* (протослав. KARPĀ-TA-).

Это, конечно, не значит, что ритуал не является древним. Если это действительно так, он и в самом деле мог опираться на символическое значение белой куропатки.

ющего в европейской культуре лишь на протяжении сравнительно небольшого периода времени. И что особенно характерно, эти значения отчасти противоречат друг другу и даже там, где противоречия нет, обнаруживают очевидную гетерогенность и отсутствие взаимной связи.

Курица ассоциируется с солнцем: петух возвещает приход зари и прогоняет духов тьмы, а возвращение кур в курятник знаменует конец дня; петух бдителен и всевидящ, как солнце, он предохраняет от пожара и одновременно символизирует огонь; его гребень – эмблема молнии. Но курица ассоциируется и с хтоническим миром: она является из почвы; из петушиных яиц, яиц без зародыша и яиц, снесенных черной курицей, вылупляются змеи и драконы. Ночной злой дух (позднеобщеслав. **kykymora*) может принять образ петуха, а петушиный крик после наступления темноты или зимой, а также крик курицы, могут предвещать смерть. Петухи и куры могут быть приносимы в жертву, чтобы задобрить водяных или домашних духов, или обеспечить плодородие полей; но курица участвует и в переходе человеческих душ в птиц, и только что родившая женщина может получить новую душу, съев цыпленка. В то время как курица и яйца являются символами плодородия (как женского, так и мужского), петух может быть положительным символом мужского плодородия или отрицательным символом необузданной похоти и половой распущенности (ср. [Афанасьев 1865–1869: 2.129; Moszyński 1967; Váňa 1992; Зеленин 1994 (1906)].

Вполне справедливо, с синхронной точки зрения, что "причастность петуха и к царству жизни, света, и к царству смерти, тьмы делает этот образ способным к моделированию всего комплекса жизнь–смерть–новое рождение" [Топоров 1982: 310]. Однако рассматривая этот комплекс ассоциаций в диахронической перспективе, следует задаться вопросом, каким образом этот недавний пришелец на птичий двор, стал наделен столь всеобъемлющим кругом символических функций? И можно спросить также, как эти разнообразные символические значения выражались до появления домашней курицы?

Гипотеза, имплицитно проведенная в настоящей работе, состоит в том, что некоторые из этих значений, а может быть, и большинство их, были ранее приписаны обитавшим в лесной зоне диким родственникам домашней курицы, некоторые из них – рябчику и белой куропатке, другие, возможно, другим тетеревиным. Поведение этих птиц во многом сходно с повадками наших петуха и курицы и должно было быть хорошо знакомо многим в древних сообществах, культивировавших лесную зону. Ревностная привязанность к своей территории моногамного рябчика *Bonasa bonasia* и экстравагантный брачный ритуал полигамного тетерева *Tetrao tetrix* представляют яркие образцы поведения, которые с легкостью могли быть обращены в символы человеческих отношений. Другие символические функции могли быть приписаны в эпоху до введения домашнего куроводства другим диким птицам. Этимологизированные в данной работе названия птиц служат подтверждением этой общей гипотезы.

Возможно, совместные усилия по реконструкции символических значений растений и животных древней прародины славян, смогут выявить намного больше подобных свидетельств. Но это уже – предмет будущих исследований.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе был предпринят анализ двух пар синонимов для 'рябчика *Bonasa bonasia*' и 'куропатки *Perdix perdix*', восстанавливаемых этимологами для (поздне)общеславянского. Было показано, что этимология этих названий птиц проливает свет на систему верований древних славян.

Позднеобщеслав. **lěščarьka* 'рябчик' (буквально 'птица орешника'), известное исключительно южнославянским языкам, было охарактеризовано как недавнее новообразование, созданное в эпоху славянской колонизации Балканского полуострова носителями позднеобщеславянских диалектов, в которых старое название 'рябчи-

ка', позднеобщеслав. *jerębь, *rębь и др., было перенесено на 'куропатку' (раздел 1.3, см. далее ниже).

Позднеобщеслав. *jerębь, *rębь, первоначально 'рябчик', было проанализировано в разделе 2 вместе с его дериватами *jerębina, *rębina 'рябина *Sorbus aucuparia*' (буквально 'рябчиковая ягода (дерево)') и *jerębъ, *rębъ 'рябой' (буквально 'рябчиковый').

Последнее прилагательное (протослав. (E)RIMBA-), является, как было показано, относительно недавней общеславянской заменой более древнего этимона со значением 'рябой, пестрый' (протослав. RAIBA-), который славянский разделял с балтийским и кельтским (корень и.-е. *$(h_x)roi$-, возможно также с германским; см. раздел 2.5.3).

Между тем анализ названий птицы и ягоды позволил выявить ряд морфологических и семантических обновлений, восходящих к весьма отдаленной праистории. Название рябчика может быть субстратным заимствованием или происходить от индоевропейского корневого существительного *h_1erg^w- 'мрак, отсутствие дневного света'. В таком случае оно могло быть усвоено предками славян, балтов и германцев из какого-то другого индоевропейского диалекта в форме сев.-зап. и.-е. диал. *$(h_1)erb$-i-, *$(h_1)ṛb$-i- (первоначально 'птица тьмы'), протослав., протобалт. ĒRB-I-, ĪRB-I- 'рябчик'. В дальнейшем слово неоднократно обновлялось посредством деминутивных образований, древнейшим из которых было, вероятно, иносказательное сев.-зап. и.-е. диал. *h_3er-n-b^h-i- 'птичка', разделяемое славянским и частью балтийского (латышским и литовским), протослав. (E)RIMB-I-, протобалт. (E)RUMB-Ē-; см. раздел 2.5.1. Название ягод и дерева является славянской и, отчасти, балтийской (латышской) инновацией, неоднократно обновлявшейся – или каждый раз создававшейся заново – в прозрачной деривационной зависимости от названия рябчика (протослав. ĒRB-Ā-, ĪRB-Ā-; ĪRB-ĒIN-Ā-, ĪRB-ĒIK-Ā-; (E)RIMB-ĒIN-Ā-; (E)RIMB-ĒIK-Ā-; см. раздел 2.5.2).

Было показано, что позднеобщеслав. *kuropъty, поверхностно 'куриная птица' > 'куропатка', широко представленное в фонологических вариантах, противоречащих этой разделяемой большинством этимологов реконструкции, обязано своей прозрачностью народной этимологии, дважды примененной к древнему протослав. KARPĀ-TA- / -TĀ-, общеслав. *karpā-ta-, karpā-tā- ‖ kārpa-t-ū-, общеславянскому названию белой куропатки *Lagopus lagopus*, первоначальным значением которого было, возможно, 'птица в снегоступах' или 'птица в заплатах' (см. раздел 3, особенно раздел 3.4).

Несколько слоев инноваций, выявленных в истории гнезда слов позднеобщеслав. *jerębь, *rębь 'рябчик', *jerębina, *rębina 'рябина', *jerębъ, *rębъ 'рябой, пестрый', отражают постепенное выделение праславянских диалектов среди соседних индоевропейских, развившихся в дальнейшем в кельтские, германские и балтийские языки. Семантический перенос позднеобщеслав. *jerębь, *rębь 'рябчик' > 'куропатка' отражает процесс заселения славянами степных районов к югу от лесной зоны накануне миграций, перенос позднеобщеслав. диал. *korpaty 'белая куропатка' > 'серая куропатка' – позднейшее обращение лесной зоны в культивированную степь. Эти семантические сдвиги демонстрируют важность изучения общеславянской терминологии природной среды в связи как с доисторическими перемещениями населения, так и с изменениями в самой природной среде, ставшими особенно заметными с бурным развитием сельского хозяйства железного века (раздел 4).

Исследование символических значений, ассоциируемых с рябчиком и куропатками, а также растениями, с которыми их соединяют природные и культурные связи, ведет к предположению, что сев.-зап. диал. $(h_1)erb$-i-, *$(h_1)ṛb$-i- 'птица тьмы *Bonasa bonasia*' первоначально ассоциировалось с орешником и хтоническим царством (что до сих пор сохраняется в западногерманском), но впоследствии было соотнесено с рябиной и верхним миром в праславянских и, отчасти, прабалтийских диалектах, возможно, под воздействием (уральского?) субстрата, поглощенного этими группами индоевропейского населения (разделы 5.1–5.4). Южнославянская инновация позднеобщеслав. *lěščarъka 'птица орешника *Bonasa bonasia*' отражает, по-видимому, систему символических значений, существовавшую на Балканском полуострове в эпоху славянской

территориальной экспансии и интегрированной в славянскую культуру по мере перехода местного населения на славянскую речь в средние века (раздел 5.4). С другой стороны, символическое значение белой куропатки *Lagopus lagopus* (протослав. KARPĀ-TA- / -TĀ-'птица в снегоступах' или 'птица в заплатах') остается неопределенным, пока не прояснено до конца описательное содержание этого термина (раздел 5.5).

В работе было высказано предположение, что важные символические функции, усвоенные в древней славянской культуре диким птицам семейства куриных, были с введением у славян домашнего куроводства в последние столетия до новой эры перенесены на домашнюю курицу. Это предположение находит поддержку в гетерогенности символических значений, традиционно приписываемых петуху и курице (см. раздел 5.6).

Неясно, в какой степени именно эта совокупность значений может поддаться сопоставительному или имманентному анализу. Однако результаты настоящей работы внушают надежду, что определенный прогресс в реконструкции древнеславянской символики растительного и животного мира возможен, при должном внимании к культурному содержанию, приписываемому природной среде, и при понимании того, что терминология природной среды может быть в той же мере подвержена культурным изменениям, как и другие сферы лексики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Аванесов Р.И. 1968 – К истории чередования согласных при образовании уменьшительных в праславянском // Славянское языкознание. VI международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1968.

Афанасьев А.Н. 1865–1869 – Поэтические воззрения славян на природу: опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований в связи с мифическими сказаниями других родственных народов. Т. 1–3. М., 1865–1869.

Зеленин Д.К. 1994 (1906) – Троецыплятница (Этнографическое исследование) // Зеленин Д.К. Избранные труды. Статьи по духовной культуре. 1901–1913. М., 1994.

Рыбаков Б.А. 1981 – Язычество древних славян. М., 1981.

Топоров В.Н. 1982 – Петух // Мифы народов мира. Т. 2. М., 1982.

Трубачев О.Н. 1966 – Ремесленная терминология в славянских языках (этимология и опыт групповой реконструкции). М., 1966.

Филин Ф.П. 1962 – Образование языка восточных славян. М., 1962.

ЭССЯ – Этимологический словарь славянских языков / Под ред. О.Н. Трубачева. Т. 1-. 1974-.

Cramp S. et al. 1980 – Handbook of the birds of Europe, the Middle East and North Africa. The birds of Western Palearctic. II. Hawks to bustards. Oxford, 1980.

HdA – *Bächtold-Stäubli H., Hoffmann-Krayer E. et al.* Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. B.; Leipzig, 1927–1942.

Lettenbauer W. 1981 – Der Baumkult bei den Slaven. Vergleichende volkskundliche kultur- und religionsgeschichtliche Untersuchung (-Selecta Slavica. 6). Neuried, 1981.

Moszyński K. 1967 – Kultura ludowa Słowian. T. II. Kultura duchowa. Część 1 (2-е изд.). Warszawa, 1967.

OED – The compact edition of the Oxford English dictionary. I–II. Oxford, 1971.

SP – Słownik prasłowiański. 1-. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1974-.

Teirlinck I. 1930 – Flora magica. De plant in de tooverwereld. Antwerpen, 1930.

Thiselton-Dyer Th.F. 1968 – The folklore of plants. L., 1968.

Váňa Z. 1992 – Mythologie und Götterwelt der slawischen Völker. Die geistigen Impulse Ost-Europas. Stuttgart, 1992.

Vėlius N. 1989 – The world outlook of the ancient Balts. Vilnius, 1989.

Volkaitė-Kulikauskienė R. (ed.) 1987 – Lietuvių etnogenezė. Vilnius, 1987.

Перевел с английского *А.А. Гиппиус*

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1996

© 1996 г. О.Н. ТРУБАЧЕВ

О 'РЯБЧИКЕ', 'КУРОПАТКЕ' И ДРУГИХ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ СВИДЕТЕЛЯХ СЛАВЯНСКОЙ ПРАРОДИНЫ И ПРАЭКОЛОГИИ*

Хеннинг Андерсен, профессор славистики Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, известный своими трудами по исторической и описательной фонетике, морфологии, типологии и лингвистической географии славянских языков, выступил на этот раз в несколько новой для себя области, если иметь в виду предпринятые им интенсивные разыскания в области этимологии слов – названий рябчика и куропатки в славянских языках. Однако проявленная им при этом широта взгляда, равная и глубокая заинтересованность во многих, подчас весьма различных, аспектах исследования, высокая теоретичность с одновременным очень пристальным вниманием к конкретному факту – будь то языка или истории культуры, иными словами – все лучшие качества, проявленные и накопленные опытом предшествующих работ этого датско-американского ученого, делают чтение этой новой его работы остроинтересным и поучительным. Обратившись в данном случае к преимущественно традиционной, этимологической, тематике, Андерсен намеренно трактует ее в подчеркнуто современной манере, давая понять, что для его задач это не центральный, а как бы один из многих аспектов исследования. Это находит свое выражение в том, что этимология (все же занимающая видное место в авторской методике) не вынесена в заглавие статьи, где сделан нарочитый акцент на включенности (всей) лингвистики в культурологию и даже на модной теперь экологии. Нельзя не отдать должное автору – даже будучи вынуждены признать крайними или преувеличенными ряд его утверждений (о чем специально ниже), согласимся, что столь же, пожалуй, часто именно его трактовка, его острые наблюдения расчищают путь к реконструкции славянского языкового и культурного прошлого в самом широком смысле.

Поскольку новая работа Х. Андерсена довольно обширна и – вследствие этого – труднообозрима, для начала напомню ее основные положения. Наблюдательный автор прежде всего констатирует факт некоторой избыточности славянской терминологии, относимой к позднепраславянскому времени, а именно – наличие д в у х названий для 'рябчика Bonasa bonasia' – **jerębĭ* и **lěščarŭka* и двух – для 'куропатки Perdix perdix' – **jerębĭ* и **kuropŭty*[1]. Андерсен прав, полагая, что вскрытая им таким образом синонимия и полисемия требуют специального объяснения. При этом отмечается, что **lěščarŭka* рябчик' и **kuropŭty* 'куропатка' представляют собой (практически до сих пор) "прозрачные образования", в отличие от затемненного (opaque) **jerębĭ*: **lěščarŭka* 'рябчик' – производное от **lěščarĭ* "заросли орешника" (рябчик любит обитать в орешнике), причем вполне уместно указывается на семантическую параллель нем. *Haselhuhn* 'рябчик', англ. *hazel-grouse, hazel-hen* то же – соответственно от *Hasel, hazel*

---

*Нижеследующая статья основана на чтении английского оригинала: H. Andersen. A glimpse of the homeland of the Slavs: ecological and cultural change in prehistory. Непосредственно к нему восходят и все цитаты в моем переводе. – *О.Т.*

[1] Сохраняем здесь авторское предпочтение несколько архаизирующей реконструкции преимущественно французской школы Мейе – Вайяна, оставляя за собой право более привычной трактовки *й* как *ъ*, *ĭ* как *ь*.

'орешник'; далее, упоминается привычная семантическая реконструкция **kuropŭty* как 'куриная птица', что, впрочем, автором потом в сущности пересматривается. С этимологической прозрачностью *и *ěščarŭka* и **kuropŭty*, тем не менее, связывается идея инновации, для первого – в масштабах балканского славянства, для второго – у западных и восточных славян, хотя автор не может не признать наличия продолжений **kuropŭty* также в словенском и сербохорватском. Наверное, Андерсен прав также, упрекая этимологов в том, что они до сих пор не задумывались, п о ч е м у **jerębĭ* стало названием таких р а з н ы х птиц, как куропатка и рябчик; сам он считает, что на куропатку оно перенесено вторично. Отмечается и такая существенная (экологическая) деталь, как дополнительное распределение обеих птиц в отношении друг к другу: рябчик – птица лесная, а куропатка, наоборот, птица степей. Весьма пластично рисуется автором картина постепенной миграции к северу именно куропатки, что связано с культурным расширением степи за счет лесов. Здесь, как и в ряде других аспектов, автор касается и вопроса славянской прародины, считая, что предки славян жили в лесах Восточной Европы, знали рябчика и не знали куропатку, с которой наиболее южные из них могли познакомиться как со степной птицей и перенесли на нее название рябчика – **jerębĭ* (эти разные птицы внешне похожи). Более южные славяне, как уже сказано, нарекли 'рябчиком' 'куропатку' (**jerębĭ*), а "потом", встретив в лесах Балкан рябчика, назвали его новым **lěščarŭka*.

Привычное объяснение родственной лексической группы русск. *рябчик ~ рябина ~ рябой* как основанной на определении цвета заменяется у Х. Андерсена совсем иным направлением семантического развития, причем 'рябина' реконструируется как первоначально 'рябчиковая ягода', а само 'рябой, пестрый' – как 'рябчиковый', что подкрепляется аналогией англ. *pied* 'пестрый, разноцветный' на базе *pie* 'сорока'. Мысль о том, что в основе всей семьи слов лежит название птицы, ученый аргументирует эффектным наблюдением, согласно которому шире всего представлены родственные названия 'рябчика' – в славянском, восточнобалтийском и германском, далее идут названия 'рябины' – в славянском и части восточнобалтийского, притом, что значение 'рябой, пестрый' фигурирует только в славянском. Небезынтересно замечание, что **(je)rębina* 'рябина' – единственное прозрачно мотивированное название среди прочих названий деревьев, хотя именно рябина – святое дерево у ряда индоевропейских народов, чего автор не может сказать о рябчике. Свою точку зрения он имеет и о словообразовательно-морфологическом членении, понимая *erimbi-/rimbi-* (протоформу слав. **jerębĭ*) как производное с и.-е. суффиксом *-ṇ-bho-* от и.-е. **$h_1$er-* 'птица', все вместе – якобы уменьшительное 'птичка', сюда же *er-il-a-/ar-il-a-* 'орел'. Любопытны и культурологические суждения о том, что первоначальными пасхальными яйцами (весенний праздник плодородия) были яйца рябчика. Нельзя пройти мимо курьезного этимологического прочтения русск. *ку́рочка ря́ба* как "the grouse hen, рябчиковая курочка", хотя приводимая тут же англосаксонская аналогия "Little R e d Hen", кажется, выглядит мотивированной как раз со стороны цвета, а не со стороны рябчика. Весьма смелы авторские построения относительно связи герм. **erpa-* 'коричневый' < сев.-зап.-и.-е. **(h_1)erb-/*(h_1)r̥b-* 'рябчик' с греч. ἔρεβος 'мрак' etc. от и.-е. **$h_1$reg^w-* 'темный', для чего автор вспоминает даже гипотезу о "темематических" смычных (слав. *mediae*, вместо и.-е. *tenues* и т.д.) в очень спорной книге австрийца Хольцера. Итогом этих рассуждений является вывод о том, что название 'рябчика' могло быть заимствовано из индоевропейского диалекта – предтечи германского, балтийского и славянского, поглощенного этими последними "в лесах Восточной Европы"... Когда автор заявляет, что "каково бы ни было происхождение (названия 'рябчика'. – *О.Т.*), оно семантически не мотивировано (то есть лексически изолировано) в славянском, балтийском и германском праязыках", – складывается впечатление, что его (Х. Андерсена) анализ достиг критической точки, не говоря о внутренних противоречиях (см. выше его же этимологию слав. **jerębĭ* 'рябчик' от **$h_1$er-ṇbho-* 'птичка'?). Правда, констатируется такая индоевропейская особенность, как аблаут – протослав. *ērb(ā)-*,

протобалт. *ērb-ē-* и т.д. (детали спорны). Вместе с тем протослав. *raiba-* etc. и праслав. **(je)rębŭ* рассматриваются как чужеродные апофонические ряды, причем первое вытеснялось вторым.

Здесь временно расстанемся с 'рябчиком' и посмотрим, как автор решает вопрос с 'куропаткой' (вторая половина работы). Позднепраславянская реконструкция **kuropŭty* 'куриная птица' вызывает у него сомнения как со стороны формы, так и со стороны содержания: отклонений вроде **koro-*, **kor-*, **kro-* гораздо больше, чем обычно постулируемого **kuro-*. Бегло высказанная им самим здравая мысль о реальности табуирующих искажений охотничьей терминологии одиноко повисает в воздухе. Андерсен склоняется к тому, что изменения типа *koro-* > *kuro-* осуществились по народной этимологии, причем признаются периферийность и изолированность случаев **kuro-* (? До сих пор именно эта лингвогеографическая черта обычно считалась сигналом первичности). Примерно то же и буквально на тех же основаниях утверждается о замене **pat-* на **pŭt-*. Автор прав, упрекая нас, этимологов, в том, что мы упустили из виду этимологию и реконструкцию Вайяна – **kropaty* ж.р. 'куропатка' < прилагательное **kropatŭ* 'пестрый, пятнистый', но в дальнейшем все же станет ясно, что это не более как вопрос неполноты библиографии. Сам Андерсен на этой этимологии тоже больше не настаивает, высказывая другие оригинальные соображения. Его протославянская реконструкция – *karp-ā-ta-*, типа bard-ā-ta- 'бородатый', откуда производное на *-ū-* основу женского рода *karp-āt-ū-* (приводятся в качестве подтверждений отадъективные производные на *-ū-* праслав. **pĭstrū* > **pĭstry* 'форель', **suxŭ* > сербохорв. *suhva*, но ни одного случая на *-atъ* > *-aty/-atъve* среди них нет...). Дальнейшая, в том числе семантическая, реконструкция задает автору немало хлопот на избранном им направлении. Его внимание привлекает гнездо протослав. *kurpā-tēi* 'драть, щипать, резать', откуда и праславянское название обуви **kŭrpĭ*. Дело в том, что серая куропатка – птица мохноногая. Ее научное название – Lagopus, что по-гречески значит 'зайцелапая'. В этом смысле Андерсен и понимает реконструированное им протослав. *karpā-ta-*, хотя его самого смущает полученный при этом полный вокализм (для обувного термина праслав. **kŭrpĭ* обычен нулевой вокализм корня). Terminus post quem для сближения **kuropŭty* с **kurъ*, **kura* 'курица' – введение домашнего куроводства у славян, которое, надо сказать, датируют довольно рано – до начала нашей эры.

Весь протославянский ареал с формой *erimbi-* на западе и *rimbi-* на востоке, по Андерсену, непротиворечиво локализуется, согласно традиции, между верхней Вислой и средним Днепром, южнее Припяти, в южной части лесной зоны. Большое значение наш автор придает "абсолютной экологической границе лесной и степной зон" для семантического переноса протослав. *(e)rimbi-* 'рябчик' > 'куропатка', а также для момента пересечения славянами этой границы с с е в е р а н а ю г. Размышляя в русле традиционных представлений о среде обитания славян, Андерсен полагает, что "семантический перенос с 'рябчика' на 'куропатку' является неопровержимым свидетельством доисторического события, когда одна часть славян начала заселять степь и повернулась спиной – в культурном и лингвистическом смысле – к лесной среде обитания своих предков". Соглашаясь с Ф.П. Филиным, когда тот специально говорит об отсутствии в славянских языках общей лексики для степной флоры, фауны и т.д. [Филин 1962 : 112, 119–120], наш автор вместе с тем вынужден признать: "Но предложенный здесь анализ двух праславянских слов для куропатки – типичной представительницы степной фауны – показывает, что стоит обратить больше внимания на лексическое содержание этой терминологии". Запомним эту авторскую мысль, считая, со своей стороны, что спор между "лесной" и "степной" (лесостепной) концепциями славянской прародины отнюдь не закончен, он продолжается, стимулируемый новыми плодотворными импульсами вроде новой статьи Х. Андерсена. Есть еще немало рутинно недооцениваемых или не получивших адекватной характеристики языковых фактов, как например отсутствие старого, праславянского названия для

такой лесной птицы, как 'глухарь Tetrao urogallus', что успел с достаточной объективностью отметить наш автор, сторонник "лесной" прародины славян. Можно, конечно, сослаться на то, что глухарь – обитатель "северных частей лесной зоны", и Андерсен делает это. Но недвусмысленная дискуссия может быть продолжена и применительно к более южным зонам, также имеющим вероятное отношение к древним местам проживания славян.

Прежде чем изложить наши замечания о предмете исследования Андерсена в более связной форме, позволим себе обратить внимание на название еще одной птицы, не рассматривавшееся автором, тем более, что это название, кажется, даст возможность увереннее судить о материале статьи Андерсена, а может быть, и о "степной" (южной) версии славянской прародины в целом. Я имею в виду название 'дрофы Otis tarda', относимое нами к праславянскому лексическому фонду в реконструированной праформе **dropъty*, род.п. **dropъtъve*, см. [ЭССЯ, 5: 125, 126]. Речь идет о широкораспространенном слове, причем затемненность ряда форм говорит, скорее, в пользу его древности, а корректность принимаемой нами реконструкции подтверждается отдельными реально засвидетельствованными формами, в первую очередь – старочешской (ниже). Значение в основном всюду одно и то же – 'дрофа Otis tarda' (отклонения явно вторичны и иррелевантны): болг. *дро́пла* (Геров: дро́пла), сербохорв. *дро̑пља*, словен. *drôplja*, ст.-чеш. *droptva*, чеш. *drop* м.р., слвц. *drop* м.р., польск. *drop*, род.п. *dropia*, м.р., русск. *дрофа́*, укр. *дрохва́*, блр. *драфа́*. Фонетическое развитие исхода слова пошло по линии упрощения/упрощений *p(t)v* > *f* или *pø*, или же различных диссимиляций с результатом *pl(j)*, *pj*. Первоначальное состояние при этом просматривается достаточно четко, и это немаловажно для наших задач: речь идет о гетероклитической основе на *-ŭ/-ъve* и даже точнее – о сложении со вторым компонентом *-pъty/-pъtъve*. Первый компонент сложения – *dro-*, к глаголу **derǫ*, **derti/* dьrati* 'драть', фигуральное употребление которого – 'быстро бежать, удирать' – имеет еще (пра)индоевропейскую древность, прочие детали, связанные с первым компонентом здесь не столь важны. Первоначальное значение всего сложения **dropъty* в целом будет 'быстро бегающая птица'. В смысле исторического словообразования (как, впрочем, и в целом ряде других отношений) очевидно праславянское **dropъty/dropъtъve*, несомненно, стоит рядом с **kuropъty/*kuropъtъve* как двучленный композит с основой на *-ŭ*. Конечно, можно бы было возразить, что формальный рисунок у **dropъty* несколько иной, чем у **kuropъty*, хотя бы в том отношении, что формы типа **dropotka*, **dropatka* характерным образом отсутствуют. Допустимо высказать предположение, что здесь сказались морфологические и прежде всего акцентуационные различия: в случае с **dro-pъty* с его сверхкратким первым компонентом первоначальное ударение так и осталось на исходном гласном всего сложения, ср. русск. *дрофа́* и другие однородные восточнославянские свидетельства. В случае с **kuro-pъty* с полным вокализмом первого компонента существовали предпосылки для выработки (особенно после падения редуцированных) более нейтрального варианта со смещенным к середине сложного слова постоянным ударением типа "нового акута". Так появились русск. *куропа́тка* и многочисленные другие аналогичные формы, – весьма вторичный продукт из предыдущего **ку́ро́патка* и даже более первоначального **ку́ро́потка*, **ку́ро́-пътъка*. Об этом могут свидетельствовать формы др.-русск. *куропоть* (XVII в.), русск. диал. (северновеликорусск.) *ку́ропоть*, *ку́ропть* ж.р., см. данные в [ЭССЯ, 13 : 127–128], русская фамилия *Куроптев*, продолжающая архаичную огласовку апеллатива. Возвращаясь к не совсем обычной – для восточнославянского и некоторых других славянских – рефлексации ъ > *а* в *куропа́тка* etc, уместно отнести ее за счет охарактеризованной выше стабилизации ударения, сославшись при этом еще на аналогичные нарушения "стабилизационного" характера: *коша́чий*, *лягуша́чий*, стар. *лягу́шечий*, ср. [Kiparsky 1962 : 259], где высказана однозначная

отсылка последних к основам на *-ęt-*, но наличие здесь исходных форм на *-ьк- кóшка, лягýшка* и отмеченного колебания свидетельствует против такой однозначности.

Означенная рядоположенность **kuropъty, *dropъty*, прежде всего – их принадлежность к гетероклитической основе на *-ū/-ъve* имеет отнюдь не инновационный, скорее – архаический словообразовательно-морфологический характер. Это имеет самое прямое отношение к образованию и происхождению **kuropъty, куропатка*, спорность трактовки которого у Х. Андерсена уже была намечена выше, начать хотя бы с этой его гипотезы о вторичном преобразовании исхода некоего условного прилагательного на *-atъ* по модели *-ūĵъve* и столь же гипотетического предположения о переосмыслении *...patъ>pъl-* и вынужденного принятия серии "народных этимологий", призванных оправдать осмысление первоначального однокоренного прилагательного **korp-atъ* как двукорневого композита **kuro-pъty*. Таким образом, ясно, что на этимологию и праисторию славянского названия птицы **kuropъty* мы смотрим существенно иначе, чем Х. Андерсен. Речь должна идти не о "сближении" **kurъ*, **kura* 'петух, курица', а об образовании **kuro-pъty* от **kurъ*. Конечно, домашняя курица Gallus domesticus к нам импортирована извне (со средиземноморского Юго-Запада? с иранского Юго-Востока?), хотя было это очень давно. Означает ли это, что заимствовано было и слово **kurъ*? Тот факт, что оно было употреблено при образовании названия д и к о й птицы куропатки, делает это сомнительным. Остается напомнить то, что было сказано на этот счет раньше: «Вообще не следует смешивать факт относительно позднего культурного заимствования и распространения курицы как домашней птицы в Европу с Востока (курица как "персидская птица" в Греции) с древним наличием звукоподражательного наименования, вторично употребленного о домашней курице. Относительная древность и исконность слав. **kurъ* подтверждается старым его употреблением в топонимии и гидронимии, ср. *Кур, Курица, Курец* в русск. гидронимии, болг. *Курец*» [ЭССЯ, 13 : 130]. Оттуда же приведем цитату из, как всегда, несколько аподиктичного, но проницательного Брюкнера: "Во всяком случае слово *kur* – праславянское и притом извечное. Литва его не знает". Локализовав тем самым смущающий фактор культурного куроводства (о значении которого Андерсен много говорит, и мы также далеки от того, чтобы умалять это значение), мы можем поставить вопрос о семантической реконструкции праслав. **kuropъty* как 'горластая, шумная птица'[2]. Его вскрываемая при этом как бы описательность (иносказательность?) едва ли нужно обязательно толковать как в чистом виде неологизм (новая реалия = новое название). Здесь, похоже, налицо элемент охотничьего табу, о необходимости учета которого применительно к куропатке уже было бегло упомянуто выше, в том числе самим Андерсеном, который мысль эту, к сожалению, бросил, не развив. А возможно, перед нами как раз один из примеров табуирования названия куропатки; другой пример т о г о ж е – серия наименований куропатки по цвету, от **(e)rębъ/*(a)rębъ*, о чем мы будем еще говорить. Для того, чтобы вводить одно и другое, не кажется необходимым для славян вторгаться в степную зону извне, из более северных лесов, как это эффективно рисует нам автор. Ведь в сущности для этого достаточно было извечно жить в степях, а скорее, похоже, в зоне лесостепи, луговой растительности, и при этом выражать свою вполне понятную озабоченность результатами жизненно важной охоты описанными выше актами обновления (alias табуирования) своей терминологии. Что речь шла изначально о степных пространствах как среде обитания, выглядит вполне правдоподобно после того, что уже сказано о 'дрофе', с характерной дефиницией последней в русской толковой лексикографии: 'крупная степная птица семейства журавлиных'.

Итак, резюмируя то, что, по нашему мнению, послужило культурно-экологической мотивацией дескриптивного праслав. **kuro-pъty* 'шумная, голосистая птица', в основе

---

[2] Экспрессивность обозначенной куропатки идет еще дальше в "классических" языках: греч. πέρδιξ, буквально 'Farzerin, п... унья', аналогично – как κ'αβη.

называния тут лежит не акт встречи с абсолютно "новым" при пресловутом движении с севера на юг, а извечная потребность в иносказании по отношению к всегдашнему объекту охоты. Обновленное иносказание, обнаруживающее себя как табуистический по природе феномен, объясняется скорее изнутри языка, сущности называния вообще и из традиций охотничьего языка в частности. Фактор среды обитания, экологии присутствует (мы говорим о степной зоне, например), но его надлежит трактовать не простодушно-прямолинейно, а преломленно, то есть именно так, как нам подсказывает сам язык.

Руководствуясь этими, как нам представляется, плодотворными мыслями, мы обращаемся к другим лексемам из затронутой сферы. Попытаемся взглянуть на них, исходя из нашего постулата, что славянин знал куропатку изначально, а не встречал впервые и при каких-то внешних обстоятельствах (см. выше о миграции на юг). Таким образом, именно уклончивость как сущность табуистического иносказательного наименования объясняет, кажется, те двусмысленности, совершенно, впрочем, ясные древнему славянскому птицелову, но несколько затрудняющие понимание непосвященным, в чем и был, собственно, смысл всякого подобного называния. По-моему, это дает возможность ответить положительно на вопросы, которые во множестве задал еще вначале Х. Андерсен: почему **arębъ/ь* (у Андерсена: **jerębĭ*) называло столь разных птиц, как куропатка и рябчик? – С точки зрения охотника, sapienti sat. И на вводные недоумевающие вопросы нашего автора, – почему и откуда синонимия и полисемия (**arębъ/ь* 'рябчик; куропатка', **lěščarъka* 'рябчик', **kuropъty* 'куропатка'), – полномочна давать ответы социальная диалектология (описанное выше промысловое табуирование), разве что при условии дополнительного распределения с диалектологией ареальной, ср. факт сходности принципов называния 'рябчика' (**lěščarъka: Hasel-huhn*) и 'куропатки' (**arębъ/ь: Reb-huhn*) в части славянских и части германских языков как очевидно вторичное (контактное?) явление. В связи со сказанным для нас, думаю, отпадает избыточная постановка вопроса Андерсеном о "затемненности" (opacity) праслав. **arębъ/ь* (у автора: **jerębĭ*) как названия птицы. Здесь все кажется ясным как субстантивация прилагательного **arębъ(jь)* 'рябой, пестрый' в качестве такого названия. Ведь совершенно (синхронно) наглядно и наше *рябчик* есть не что иное, как суффиксальная субстантивация прилагательного *ряб(ой)*. Апеллировать к мнимой иррелевантности признака 'пестроты' как якобы свойственной слишком многим птицам простительно, наверное, для кабинетного дальтонизма; праславянин в этом разбирался без колебаний (см. выше). Понимание *рябина* как "рябчиковая ягода" и *курочка ряба* как "рябчиковая курочка" (!) мы, конечно, отклоняем как искусственное: издержки усложненного анализа там, где правильное прочтение лежало, так сказать, на синхронной поверхности, потому что и 'рябина Sorbus aucuparia' и фольклорная курочка продолжают восприниматься носителем русского языка так, как были названы вначале – как 'рябые, пестрые'.

Утверждать после всего отмеченного выше (как это делает Андерсен), что название 'рябчика' не мотивировано семантически и изолировано лексически, значило бы не видеть выгод синхронии и одновременно слишком вольно толковать возможности диахронии. Общая перевернутость авторских суждений с ног на голову (не 'рябчик' от 'рябой', а наоборот) и, кажется, чрезмерная доверчивость постулатам новой сравнительной мифологии (трехчастность мира и 'птицы' обязательно как 'летающие' существа верхнего мира) имплицируют нам авторскую этимологию праславянского названия рябчика: **jerębĭ* как индоевропейский деминутив **h₃n̥bhi-* 'птичка', якобы антонимичное **h₃er-el-* 'орел' ("большая птица"?), что, конечно, все в целом очень сомнительно. Дело даже не в том, что в такой индоевропейской диалектной ветви, как балтийская, *-l-* форманты подчеркнуто деминутивны ('орел', выше, как аугментатив проблематичен), а в том, скорее, что и.-е. **er-/*or-*, действительно вычленяемое в индоевропейских названиях орла, далее – не только в греч. ὄρνις 'птица', но и в ἔρνος 'отпрыск, потомок', естественно отпочковались от глагола с

семантикой 'начинаться, рождаться'. И в этом последнем, и в ряде синонимичных примеров приходится считаться с этимологией лексем, обозначающих 'птицу' не как первоначальное 'летун', а 'детеныш, выкормыш'. Эти рассуждения, более подробно изложенные в другом месте [Трубачев 1980 : 11] или – местах, если иметь еще в виду мою книгу "Этногенез и культура древнейших славян" (М., 1991), где сделана попытка реконструкции восприятия древним славянином птиц ("птицы–детки") в рамках более общей древней идеологии рода и антропоцентризма, – эти рассуждения призваны здесь главным образом показать неубедительность членения названия рябчика как **er-imb-i-*. Эта этимология неправомерно разрушает единство древнего апофонического ряда **raib-/*roib-/*remb-/*romb-*, который, по нашему убеждению, представлен в лексике с семантикой рябизны, пестроты, разноцветности. Гласное начало (*a-* и варианты, см. [ЭССЯ, 1:73 и сл.: **arębъ*]) может отсутствовать или присутствовать уже с древних времен, представляя порой трудности для своей функциональной характеристики: префикс или преформант? Что касается корня и его чрезвычайно разнообразных вариантов, то они требуют внимательного учета и трактовки, адекватной их древности и пестроте (чистые гласные дифтонги наряду со смешанными, носовыми дифтонгами и даже редукционными вариантами). Примат значения 'рябой, пестрый и т.п.' не оставляет у нас при этом никаких сомнений, особенно если отдавать себе отчет в потенциальной чрезвычайной лексико-семантической широте соответствующего гнезда, включавшего, по-видимому, далеко не только названия пестрых птиц. Важно по-прежнему считаться с вероятием того, что широкие потенции этого лексического гнезда на редкость удачно наложились на предрасположенность языка древних добытчиков к табуированию, к применению приблизительных атрибутивов. Утверждая это, я имею в виду, например, давний опыт В.Н. Топорова по этимологии праслав. **ryba* [Топоров 1960, 1:5 и сл.]. Самый факт забвения славянским праиндоевропейского названия рыбы, которое могло иметь вид **zъvь*, также не случайно и уже давно ассоциируют с табуистическими мотивами. Поэтому этимология родового названия для 'рыбы' от табуистически маркированного корня **raib-/*roib-* (сам Топоров склонялся к мысли о наличии здесь сочетания *u* с носовым согласным) в наших глазах сохраняет серьезное значение. При стандартно принимаемом обычно *ū* как источнике славянского *у*, следует считаться с вероятием также других его источников, прежде всего – дифтонгических. Уровень описания и непосредственного наблюдения также подтверждает реальность такого происхождения, начиная от отражения славянского *у* как [ui] в формах, заимствованных в другие языки из славянского и кончая древним графическим начертанием *у* как кириллического ы и глаголического [illegible], то есть в сущности диграф (и дифтонг) *йи*. Все это имеет самое прямое отношение к адекватной трактовке сложного апофонического ряда, куда принадлежат наши *рябой, рябчик (*rębъ-<*remb-)*, но и *рябец* 'лосось Trutta', далее – укр. *рібий (*rěb-<*roib-)*, наряду с *рябий* 'рябой', но и *рыба*, **ryba (*ruib-)*, как напоминание нам о том времени, когда праславяне, охотясь за рыбой, именовали ее столь же уклончиво 'пестрой', 'рябой', (думают, что сначала имелись в виду лососевые, ср. [Коломиец 1983 : 28–29]), как и разные виды птиц.

* * *

Вот и все пока о 'рябчике' и 'куропатке' с точки зрения лингвиста-этимолога. За скобкой, несмотря на экскурсы, в основном осталось то, что историю культуры интересует в первую очередь: ареальная проекция затронутых языковых явлений. Хотя и здесь в общем удалось определить свою позицию, надеюсь, не впадая в противоречия ни с данными языка в их ареальном выражении (затронутые антитезы Лес – Степь, Север – Юг), ни с собственной среднедунайской концепцией прародины славян. Говоря о последней совсем уж кратко, нам больше импонирует мысль

о раннем знакомстве славян с природой Венгерской (лесо)степной равнины (ср. самобытный славизм венгерского – *puszta* 'степь' из **pusta*, sc.l. *zemja* 'пустая (земля)'), а не с аридными степями Северного Причерноморья, во всяком случае – в предскифскую эпоху.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Коломиец В.Т. 1983 – Происхождение общеславянских названий рыб. Киев, 1983.

Топоров В.Н. 1960 – Из праславянской этимологии. RYBA. – Этимологические исследования по русскому языку. Вып. 1. М., 1960.

Трубачев О.Н. 1980 – Реконструкция слов и их значений // ВЯ. 1980. № 3.

Филин Ф.П. 1962 – Образование языка восточных славян. М.; Л., 1962.

ЭССЯ – Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 1. М., 1974; Вып. 5. М., 1978; Вып. 13. М., 1987.

Kiparsky V 1962 – Der Wortakzent der russischen Schriftsprache. Heidelberg, 1962.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1996

© 1996 г. В.С. ХРАКОВСКИЙ

АНКЕТА ДЛЯ ОПИСАНИЯ УСЛОВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ*

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Обязательной составляющей типологического описания какого-либо феномена является стандартная форма представления материала конкретных языков. Лишь при соблюдении этого условия возможно относительно адекватное истолкование общих и особенных черт разных языков, на базе которых анализируется данное явление. Основу стандартного описания составляет универсальная анкета, создание которой составляет суть исследовательского процесса в типологии. Наличие хорошо структурированной подробной анкеты с осмысленным порядком включенных в нее вопросов по сути дела предопределяет некую стандартную форму описания, хотя, разумеется, в конкретных описаниях могут и будут отсутствовать ответы на некоторые вопросы анкеты, что связано с типологическими особенностями данного языка. Теоретически анкету следовало бы иметь до начала описания материала конкретных языков. Однако практически составление анкеты осуществляется в течение всего периода работы над материалом конкретных языков, попавших в первоначальную выборку. Таким образом, фактически работа над анкетой завершается тогда, когда практически материал конкретных языков в той или иной форме уже описан. Соответственно конкретные описания в определенной степени подвергаются редактированию с тем, чтобы привести их в полное соответствие анкете в ее окончательной форме. Лишь те языки, которые не попали в первоначальную выборку, можно с самого начала описывать с опорой на готовую анкету. Из изложенного следует, что публикация данной анкеты преследует, как минимум, две цели. Во-первых, мы хотим познакомить читателя с итогом работы, которая возникла в результате детального анализа примерно 20 разноструктурных языков (алеутский, английский, армянский, болгарский, вьетнамский, дари, древнегреческий, древнекитайский, индонезийский, кламат, кхмерский, латынь, хинди, финский, эвенский, эвенкийский, эскимосский, японский), составивших исходную выборку; разумеется, в процессе работы дополнительно привлекались данные и по другим языкам, не попавшим в выборку. Во-вторых, мы хотим предложить данную анкету в качестве модели, опираясь на которую можно описывать условные конструкции в языках, которые не попали в нашу выборку.

У предлагаемой анкеты есть две особенности, на которые мы хотим обратить внимание читателя. Первая особенность заключается в том, что анкета состоит из нескольких разделов, посвященных определенному блоку проблем, а вопросы к каждому блоку проблем задаются после того, как предварительно в экспозиции дается характеристика каждого блока проблем, сопровождаемая конкретными иллюстрациями из различных языков. Таким образом, читатель сначала знакомится с определенным блоком проблем, благодаря чему у него создается предварительное представление об обсуждаемых проблемах и лишь затем ему задаются вопросы, на которые нужно отвечать на материале своего языка. Вторая особенность анкеты состоит в том, что семантика условных конструкций в анкете не дискутируется, а задается, если хотите, априорно. Иначе говоря, анкета прежде всего рассчитана на тех исследова-

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ.

телей, которые солидарны с предлагаемой трактовкой условных конструкций. Вместе с тем можно думать, что и при любой иной трактовке условных конструкций предлагаемая анкета сохранит свою значимость для их типологической характеристики.

Заключая наши вступительные замечания, мы хотим обратить внимание на то, что в соответствии с законами жанра анкеты мы полностью отказались от ссылок на многочисленную литературу, которой мы пользовались при подготовке анкеты. Некоторое представление о работах, которые оказали наибольшее влияние на формирование нашего подхода, можно получить из наших статей [Храковский 1994; 1996].

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ

В прототипических условных конструкциях (УК) и условие (p), выражаемое в зависимой части, и следствие (q), выражаемое в главной части, рассматриваются говорящим по отношению к миру не как действительные, а как возможные или невозможные. Указанная смысловая особенность составляет универсальный отличительный признак УК, который соответственно принимает два значения: 1) в УК выражается реальная, т.е. выполнимая возможность, 2) в УК выражается нереальная, т.е. невыполнимая возможность. Иллюстрировать эти значения можно с помощью следующих простых примеров:

(1) а. *Если Петров получит завтра деньги, он купит жене подарок;*

б. *Если бы Петров получил (вчера/завтра) деньги, он бы купил жене подарок.*

Как видно из приведенных примеров, и в зависимой, и в главной части УК обычно обозначаются разные положения дел.

Бинарную семантическую классификацию прототипических УК следует отличать от формальной маркировки значений этой классификации. Если во многих языках, в том числе и в русском, с помощью грамматических средств специально маркируется как реальная, так и нереальная возможность [ср.: (1а) и (1б)], то наряду с этим имеются языки, в которых такая маркировка вовсе не обязательна, и вне контекста УК может иметь как реальное, так и нереальное прочтение. К числу таких языков относится, например, вьетнамский язык:

(2) *nêu bac biêt tin*$_1$ *tuc*$_2$ *vê ông Bôn chăc*
если дядя узнать известие$_{1,2}$ о господин Бон наверняка
bac cũng lấy lam vui$_3$ *mung*$_4$
дядя также взять сделать радостный$_{3,4}$

1. "Если дядюшка получит известие о старом Боне, он наверняка обрадуется" (реальное прочтение),

2. "Если бы дядюшка получил известие о старом Боне, он бы, наверняка, обрадовался" (нереальное прочтение).

Среди реальных УК принято различать неречеактные ("обычные") и речеактные УК. В "обычной" УК зависимость между условием и следствием реализуется в виде связи между смыслами условия и следствия. В "речеактной" УК зависимость между условием и следствием реализуется в виде связи между смыслом условия и речевым актом, соответствующим следствию. Соответственно "неречеактной" является УК (3а), а речеактными – УК (3б) и (3в):

(3) а. *Если будет хорошая погода, мы поедем за город,*

б. *Если будет хорошая погода, поезжай за город!,*

в. *Если я поступлю в институт, я совершу настоящее чудо.*

В самых различных языках УК и по смыслу, и формально могут быть очень близки другим синтаксическим конструкциям. Крайним проявлением такой близости следует считать случай, когда конструкция в определенных употреблениях наряду с условным

допускает и какое-либо другое, например, временное прочтение, как это характерно для следующего немецкого примера:

(4) *Wenn er im Bett lag, konnte er das Bild des Vaters betrachten*

"Если/когда он лежал в постели, он мог рассматривать портрет своего отца".

В УК могут выражаться как единичные, т.е. неповторяющиеся положения дел, см. (1) – (3), так и повторяющиеся положения дел:

(5) *Если газеты опаздывают, за ними выстраиваются большие очереди,*

(6) *Если он будет звонить мне каждый день, я не буду подходить к телефону,* см. также (4).

УК типа (4–6), в которых выражаются повторяющиеся положения дел, принято называть и т е р а т и в н ы м и. Важная семантическая особенность итеративных УК типа (4) – (5) состоит в презумпции их относительной фактичности. Это значит, что в момент, когда произносится такая УК, говорящему известен как минимум один случай реализации единичного положения дел, обозначенного и в условии, и в следствии этой УК. Указанная особенность подобных УК заставляет относить их к периферийным УК, которых в принципе может и не быть в отдельных конкретных языках.

Семантика реальных УК определяет наличие ряда прагматических ограничений на функционирование таких конструкций. В частности, говорящий не может выступать в роли какого-либо участника положения дел, выражаемого в условии, если это положение дел контролируется данным участником. Ср. в этой связи (7а) и (7б):

(7) а. *Если Петрову сейчас никто не мешает, он работает над диссертацией,*

б. *?Если мне сейчас никто не мешает, я работаю над диссертацией.*

Высказанные соображения позволяют сформулировать следующие вопросы общего характера, на которые необходимо ответить при типологически ориентированном описании УК в любом конкретном языке.

1. Существуют ли в Вашем языке отдельные конструкции для выражения реальной и нереальной возможности или же в нем представлена только одна конструкция, которая в зависимости от контекста или конситуации имеет либо реальное, либо нереальное прочтение?

2. Какие "нестандартные" речеактные УК (повелительные, вопросительные, оценочные и т.д.) выделяются в Вашем языке наряду со "стандартными" УК?

3. Есть ли в Вашем языке какие-либо синтаксические конструкции (временные, уступительные, причинные, презумптивные и т.д.), с которыми УК связаны формально, семантически и этимологически?

4. Представлены ли в Вашем языке итеративные УК? Если не представлены, то с помощью каких конструкций выражается тот смысл, который в других языках передают итеративные УК?

5. Какие прагматические ограничения накладываются в Вашем языке на употребление УК?

СИНТАКТИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Поскольку УК являются бипредикативными конструкциями, то для их таксономии очень важную роль играет синтактико-морфологическое устройство обеих частей УК: синтаксически зависимой и синтаксически независимой (если, разумеется, существует четкая формальная граница между этими частями).

В этой связи необходимо учитывать, что глаголы в принципе могут иметь финитные (конечные) и нефинитные (неконечные) формы (другой термин для нефинитных форм – "вербоиды"). Финитными принято называть формы, которые могут занимать позицию единственного сказуемого в простом повествовательном предложении. Соответственно нефинитными называют все остальные глагольные формы. Разумеется, в отдельных конкретных языках разграничения финитных и нефинитных глагольных

форм может и не быть. Учитывая сказанное и опираясь на традиционную классификацию синтаксических типов предложения (естественно, отдавая себе отчет в ее некоторой условности и неопределенности), можно утверждать, что в зависимости от синтактико-морфологического оформления зависимой части УК, в которой выражается условие, существуют следующие формально-синтаксические типы УК:

1) Сложноподчиненное предложение (в обеих частях такого предложения употребляются однородные финитные глагольные формы, а каждая его часть представляет собой такую монопредикативную конструкцию, в которой субъектно-предикатная связь оформляется как в простом повествовательном предложении; обе части стандартно связаны друг с другом с помощью союза), см.: (1) – (7), хотя допускается и бессоюзная связь:

(8) *Будешь жив: будешь сыт.*

2) Осложненное предложение [в обеих частях такого предложения употребляются неоднородные глагольные формы: в главной части употребляется финитная форма и соответственно в этой части субъектно-предикатная связь оформляется как в простом повествовательном предложении, в зависимой части употребляется нефинитная форма (деепричастие, причастие и т.п.), несущая на себе печать синтаксической зависимости, и соответственно субъектно-предикатная связь в этой части может оформляться иначе, чем в простом повествовательном предложении, или даже вообще может отсутствовать; союз как показатель связи между частями конструкции стандартно отсутствует]. Приведем соответствующие примеры (9а) и (9б) из эвенкийского языка:

(9) а. *Эмав-де-рэки-с улла-вэ, ха-ва-н эсикэкэн*
принести- IMPF-CON$_D$-2SG мясо-ACC часть-ACC-3 SG
улэ-де-м
сейчас варить -FUT-1 SG
"Если ты принесешь мясо, я часть его сейчас сварю".

б. *би тыматнэ унэ эмэ-ми синэ аккит-ту арча -мча-в*
я утром рано придти- CON$_D$ тебя на- причале встретить- SUBJ-1 SG
"Если бы я пришел рано утром, то встретил бы тебя на причале".

В зависимой части примера (9а) употреблена нефинитная форма спрягаемого разносубъектного деепричастия на *-раки*, а в главной части употреблена финитная форма будущего времени на *-дя-* В зависимой части примера (9б) употреблена нефинитная форма неспрягаемого односубъектного деепричастия на *-ми*, а в главной части употреблена финитна форма сослагательного наклонения на *-мча-*

Осложненными предложениями являются и следующие русские примеры:

(10) *Принимая эти таблетки, больной быстро поправится,*

(11) *Обидь, оскорби он меня, я бы только посмеялся* (Писемский).

В зависимой части примера (10) употреблена нефинитная форма деепричастия, которое в стандартном русском языке всегда является односубъектным, т.е. его субъект обозначается в главной части, где он согласуется в данном конкретном случае с финитной формой будущего времени. В зависимой части примера (11) употреблена нефинитная форма так называемого квазиимператива, которую, учитывая ее синтаксическую функцию, можно характеризовать как условное деепричастие. В главной части этого примера употреблена финитная аналитическая форма сослагательного наклонения;

3) Простое предложение (специфика такого предложения заключается прежде всего в том, что в нем нет специально обозначенной формальной границы между зависимой и главной частями УК и соответственно нет какого-либо отдельного показателя связи: зависимая часть представляет собой обстоятельство условия, которое выражается нефинитной формой глагола, преимущественно отглагольным существительным, а также непроизводным существительным с пропозитивным значением – все эти формы обычно вводятся предлогами/послелогами; главная часть представляет собой все

предложение за вычетом обстоятельства условия и в нем употребляется финитная форма глагола), см. примеры (12) – (14):

(12) *При пожаре звоните 01,*

(13) *В случае неуплаты штрафа вы будете привлечены к уголовной ответственности,*

(14) *Без жертвы пешки партия будет проиграна.*

Наряду с указанными способами оформления УК целесообразно отметить и более периферийные. В частности, УК может оформляться и как сложноподчиненное предложение:

(15) *Дайте мне точку опоры, и я переверну земной шар.*

В подобных сложносочиненных предложениях четко выделяются обе части УК, выступающие как отдельные предложения. Формальный показатель связи – сочинительный союз – обязателен, однако при этом он реально функционирует как подчинительный, поскольку служит показателем условной связи. В обоих предложениях употребляются финитные формы глагола, причем в первом предложении, в котором выражается условие, стандартно употребляются императивные формы. Очевидно, УК могут оформляться и в виде последовательности двух формально не связанных друг с другом предложений, но образующих сверхфазовое единство:

(16) *Вы идете? Я вас подожду.*

В подобном сверхфразовом единстве формально четко выделяются обе части УК. Первое предложение представляет собой зависимую часть, в которой выражается условие. В этом предложении позицию сказуемого занимает финитная глагольная форма, обозначающая будущее действие. Второе предложение представляет собой главную часть, в которой выражается следствие. В этом предложении позицию сказуемого также занимает финитная глагольная форма, обозначающая будущее действие. Существенно подчеркнуть, что никакого формального показателя связи между частями УК в этом случае нет.

Учитывая все вышеизложенное, можно сформулировать следующие синтактико-морфологические вопросы, на которые необходимо ответить в рамках типологически ориентированного описания УК в любом конкретном языке.

1. Существует ли в Вашем языке формальное разграничение финитных и нефинитных глагольных форм?

2. Какие из перечисленных формально-синтаксических типов УК представлены в Вашем языке?

3. Какие из представленных в Вашем языке формально-синтаксических типов УК являются преферентными (прототипическими), а какие – маргинальными?

4. Можно ли говорить о том, что в Вашем языке как минимум два формально-синтаксических типа УК являются преферентными?

5. Любую ли прототипическую УК в Вашем языке можно преобразовать в маргинальную и наоборот? Если не любую, то какова природа ограничений?

6. Можно ли говорить о том, что при определенных условиях (скажем, в тех или иных стилях речи) употребление маргинальных УК оказывается предпочтительнее по сравнению с употреблением прототипических УК?

УК, ОФОРМЛЯЕМЫЕ КАК СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В соответствии с традиционными представлениями сложноподчиненное условное предложение, как и любая УК, состоит из двух частей: главного предложения, выражающего следствие, и придаточного предложения, выражающего условие. Обе эти части и формально отграничены друг от друга, и формально связаны друг с другом, образуя единое целое, которое иногда называют условным периодом. Важная особенность прототипических условных сложноподчиненных предложений заключается в том, что в их обеих частях употребляются формально однородные глагольные формы. Это либо финитные формы в языках, для которых релевантна оппозиция финитных и

нефинитных форм, либо единственные формы, представляющие глагольную лексему в языках, для которых оппозиция финитных и нефинитных форм иррелевантна. Формально однородные глагольные формы могут иметь различные наборы грамматических категорий или вовсе не иметь их и тем самым играть различную роль в выражении тех значений, которые релевантны для характеристики УК.

Поскольку в обеих частях условных сложноподчиненных предложений употребляются формально однородные глагольные формы, никак сами по себе не указывающие на наличие и характер синтаксической связи между частями предложения, в состав которых они входят, то именно в сложноподчиненных предложениях можно ожидать появления служебных слов типа союзов, которые специально указывают на наличие (и характер) синтаксической связи между частями сложноподчиненного предложения. Из сказанного, однако, неверно было бы делать вывод, что наличие формальных показателей синтаксической связи типа союзов в сложноподчиненных предложениях строго обязательно. Формальная однородность глагольных форм в обеих частях сложноподчиненного предложения предполагает использование служебных слов типа союзов, но отнюдь не детерминирует их употребление во всех разновидностях условных предложений. Из сказанного следует, что для таксономии сложноподчиненных условных предложений наиболее существенными представляются две группы проблем: 1) проблемы способов связи между частями условных предложений, 2) проблемы категориального потенциала и взаимодействия глагольных форм, употребляющихся в разных частях условных предложений.

ТИПОЛОГИЯ СПОСОБОВ СВЯЗИ МЕЖДУ ЧАСТЯМИ СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫХ УСЛОВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Одним из компонентов связи между частями сложноподчиненного условного предложения служит их взаиморасположение. Этот признак принимает четыре значения: 1) придаточная часть предшествует главной, 2) придаточная часть следует за главной, 3) придаточная часть вклинивается в главную, 4) главная часть вклинивается в придаточную. Первое значение данного признака является преферентным: оно реализуется во всех языках и при его реализации возможно отсутствие специального показателя синтаксической связи типа союза:

(17) *Любишь кататься, люби и саночки возить.*

Могут реализоваться второе и третье значения данного признака, однако они реализуются только при наличии союза и, очевидно, не во всех языках. Что касается четвертого значения, то оно, можно думать, является нереализуемым.

Стандартным средством связи между придаточной и главной частями сложноподчиненного условного предложения служат подчинительные условные союзы, которые одновременно указывают и на наличие синтаксической связи, и на ее семантическое содержание. Значительно реже в условных предложениях употребляются асемантические союзы, которые только маркируют синтаксическую связь между частями предложения, но ничего не говорят о содержании этой связи. Такой асемантический союз *ke* встречается, например, в иранских языках, и в частности, в языке дари:

(18) *Čay ke yah bas-a na-mehor-om*
чай CONJ холодный быть: SUBJ 1–3 SG NEG – пить: PREFUT-1 SG
"Если чай остыл, я не стану его пить".

Условное прочтение этого примера обеспечивается не союзом, а комбинацией глагольных форм, употребляющихся в придаточной и главной частях предложения. В придаточной части это форма коньюнктива I, а в главной части это форма настоящего-будущего времени.

Условный союз находится в придаточной части и преферентной для него является начальная позиция. Неначальная и в особенности конечная позиция является стандартной для условного союза в очень немногих случаях. В качестве примера можно

привести мансийский язык (среднеобский говор сосьвинского диалекта):

(19) *Вот-Ø мунт маньм-ыс-Ø* *ке холыт ам-Ø* *еглиг-ум*
ветер-NOM бы уменьшиться-PST-3 SG если завтра мой-NOM брат-мой
няр-ныл *ёхта-нув-е*
тундра-ABL приехать-SUBJ-его
"Если бы ветер ослабел, завтра бы мой брат из тундры приехал".

В принципе в языке может быть только один условный союз, но наиболее обычна ситуация, когда в языке есть несколько условных союзов. В этом случае их можно классифицировать по различным семантическим и формальным параметрам. Так, в некоторых языках разграничиваются союзы, обозначающие реальную возможность, и союзы, обозначающие нереальную возможность. Примером может служить литературный арабский союз, где реальная возможность маркируется союзами *'in* и *'iza:*, а нереальная возможность – союзом *law:*

(20) а. *'in zahab-a* *zajdun zahab-tu ma'a-hu*
если идти: PERF-M: 3 SG Зейд идти: PERF-1 SG с-ним
"Если Зейд пойдет, я пойду вместе с ним".
б. *law zahab-a* *zajdun zahab-tu mâa-hu*
если-бы идти: PERF-M: 3 SG Зейд идти: PERF-1 SG с-ним
"Если бы Зейд пошел, я бы пошел вместе с ним".

Для некоторых языков существенна оппозиция "неотрицательных" и "отрицательных" условных союзов. Например, в латыни отрицательный условный союз *nisi* в отличие от неотрицательного условного союза *si* вводит отрицаемое придаточное предложение:

(21) а. *Si id* *credi-s,* *erra-s*
если это верить-PRS:2 SG ошибаться-PRS:2 SG
"Если ты этому веришь, то ошибаешься".
б. *Nisi* *id credi-s,* *erra-s*
если-не это верить-PRS:2 SG ошибаться-PRS:2 SG
"Если ты этому не веришь, то ошибаешься".

Возможна ситуация, когда отдельные союзы наряду с условным значением выражают его дополнительные характеристики. Такие союзы есть, например, во вьетнамском языке. В частности, значение союза *he* – "если p, то обязательно q", значение союза *lo(nho)* – "q – неблагоприятное с точки зрения говорящего", значение союза *neu ma* – "p – маловероятное с точки зрения говорящего".

Условные союзы могут различаться по их нормативности и употребительности как в языке в целом, так и в различных стилях речи. С этой точки зрения русские условные союзы *если, ежели, коли* и *кабы* характеризуются следующим образом. Союз *если* является нейтральным и широко употребительным в различных стилях речи. Союз *ежели* несет в себе печать архаичности и относительно редко употребляется в художественной литературе:

(22) *Ежели какая непредвиденная задержка в наших сборах, то вы отправляетесь с эшелоном* (К. Федин).

Союзы *коли* и *кабы* являются архаичными и к тому же подчеркнуто разговорными:

(23) *Извини нас, коли мы в чем перед тобой провинились* (И. Тургенев),

(24) *Кабы он получше платил за труды, так и Янко бы его не покинул* (М. Лермонтов).

Основные условные союзы могут иметь и определенные маргинальные значения. Так, союз *если* в русском языке (как и аналогичные союзы во многих других языках) может выступать в роли показателя темы. В этом случае союз *если* выступает квазисинонимом такого показателя темы, как *что касается:*

(25) а. *Если вас интересует моя поездка в Москву, то она оказалась на редкость удачной.*

б. *Что касается моей поездки в Москву, то она оказалась на редкость удачной.*

Во многих языках, в том числе и в русском, основной условный союз может употребляться в презумптивных предложениях, в которых ему присуще сопоставительное значение:

(26) *Если в северных районах области снег еще лежит, то в южных районах его почти не осталось.*

Кроме того, во многих языках, например, в английском, французском основной условный союз может служить показателем косвенного вопроса:

(27) *I don't know if John is coming or not*
"Я не знаю, придет Джон или нет".

Попадая в сферу действия определенных частиц, прототипические условные союзы могут видоизменять свое значение. Например, в русском языке союз *если*, оказываясь в сфере действия частицы *даже*, означает, что действие, выраженное в главной части условного предложения, либо осуществится при любом условии, в том числе и при том, которое выражено в придаточной части, либо не осуществится ни при каком условии, в том числе и при том, которое названо в придаточной части условного предложения:

(28) а. *Даже если моего отца будут умолять остаться, он все равно уедет,*
б. *Даже если у меня будут деньги, я не пойду в кино.*

Подобные предложения принято характеризовать как условно-уступительные. Связь условного и (более сложного) уступительного значений представляется несомненной. Об этом свидетельствует то обстоятельство, что в ряде языков прототипический условный союз служит базой для образования более сложного прототипического уступительного союза. Например, в грузинском языке на базе прототипического условного союза *tu* "если" образуется прототипический уступительный союз *tumca* "хотя".

Возможна ситуация, когда условный союз присоединяет в качестве энклитики (проклитики?) другое слово, образуя с ним не только фонетическое, но и графическое целое. Именно так обстоит дело, например, в польском языке, где союз *jeśli* может присоединять в качестве энклитики спрягаемую частицу *by*, в результате чего образуется "спрягаемый союз":

(29) а. *Jeślibyś jutro śpiewał, to ja bym tańcził*
"Если бы ты завтра пел, то я бы танцевал"
б. *Jeślibym jutro śpiewał, to ty byś tańcził*
"Если бы я завтра пел, то ты бы танцевал".

Условные союзы могут заимствоваться. Так, например, в языке хинди и в ряде тюркских языков употребляется условный союз *agar* (в различных фонетических модификациях), который заимствован из персидского языка.

При преферентном расположении частей сложноподчиненного условного предложения, т.е. когда главная часть следует за придаточной, главная часть может начинаться специальным коррелятивным союзом, который соотносится с условным союзом в придаточной части. Самое общее назначение коррелятивных союзов, видимо, заключается в том, чтобы дополнительно маркировать синтаксическую зависимость предшествующей придаточной части от следующей за ней главной части. Языки отличаются друг от друга по количеству представленных в них коррелятивных союзов. В одних языках, например, в английском, только один коррелятивный союз *then* "то". В других языках, например, во вьетнамском, два коррелятивных союза: *thì* "то" и *là* "то". Языки отличаются друг от друга и по степени обязательности употребления коррелятивных союзов. В большинстве языков коррелятивные союзы употребляются относительно редко, а причины, которые требуют их употребления чаще всего остаются невыясненными. В некоторых языках употребление коррелятивного союза

характеризуется высокой степенью обязательности. Таков, в частности, литературный арабский язык, где коррелятивный союз *fa* "то" употребляется в условных предложениях, выражающих реализуемую возможность, а коррелятивный союз *la* "то" употребляется в условных предложениях, выражающих нереализуемую возможность [см. (20)].

В отдельных языках возможны (относительно редкие) случаи, когда коррелятивный союз употребляется в главной части УК при отсутствии условного союза в зависимой части УК. Подобная ситуация наблюдается, например, в древнекитайском языке, где встречаются УК только с коррелятивным союзом *цзэ:*

(30) *Ли го сань жэнь, цзэ ся чэ*

"По правилам вежливости: [если] проезжаешь мимо троих, то следует сойти с повозки".

Изложенные соображения дают возможность сформулировать следующие вопросы, на которые необходимо ответить при типологически ориентированном описании способов связи между частями сложноподчиненного условного предложения в различных конкретных языках.

1. Какие типы взаимного расположения частей сложноподчиненного условного предложения представлены в Вашем языке?

2. Возможна ли в Вашем языке бессоюзная связь между частями сложноподчиненного условного предложения? Если такая связь возможна, то характеризуются ли условные предложения с такой связью какими-либо специфическими семантическими или иными особенностями?

3. Представлены ли в Вашем языке наряду с семантическими условными союзами также асемантические? Если асемантические союзы употребляются в Вашем языке, то с помощью каких средств выражается условное значение? Можно ли указать причины, детерминирующие употребление асемантических союзов?

4. Какая синтаксическая позиция является в Вашем языке стандартной для союза в придаточной части условного предложения? Есть ли другие позиции, которые может занимать условный союз? Если такие позиции есть, то можно ли сформулировать причины, в силу которых союз занимает нестандартные позиции?

5. Сколько условных союзов в Вашем языке? Какова их семантика? Есть ли в нем союзы, которые выражают только реальную возможность, и союзы, которые выражают только нереальную возможность? Есть ли в Вашем языке отрицательные условные союзы? Если такие союзы есть, то не присущи ли предложениям с такими союзами какие-либо специфические семантические особенности? Есть ли в Вашем языке союзы, которые наряду с условным значением выражают какие-либо его дополнительные характеристики? Если в Вашем языке есть синонимичные условные союзы, то можно ли сформулировать причины, которые в каждом конкретном случае определяют выбор того или иного союза?

6. Могут ли в Вашем языке прототипические условные союзы иметь в определенных случаях и другие значения? Если могут, то перечислите эти значения? Существует ли семантическая связь между условным значением и этими значениями? Возможна ли в Вашем языке ситуация, когда предложение с определенным условным союзом вне контекста допускает наряду с условным и какое-либо другое прочтение? Если такая ситуация возможна, то какие прочтения допускаются наряду с условным? С помощью каких формальных средств в контексте осуществляется разграничение разных прочтений?

7. Есть ли в Вашем языке условные союзы, которые видоизменяют свое значение, попадая в сферу действия определенных частиц? Если такие союзы есть, то перечислите частицы, которые воздействуют на значение союзов?

8. Могут ли в Вашем языке условные союзы служить базой для образования каких-либо других союзов? Если могут, то какие союзы образуются на их базе?

9. Известна ли этимология условных союзов в Вашем языке? Если известна, то охарактеризуйте этимологические связи условных союзов?

10. Присоединяют ли Вашем языке условные союзы в качестве энклитики или проклитики какие-либо другие слова (частицы, вспомогательные глаголы и т.п.)? Если присоединяют, то перечислите присоединяемые слова? Отражается ли присоединение в графике? Если отражается, то какая терминология используется для обозначения графически цельных единиц?

11. Какие условные союзы употребляются в Вашем языке: исконные или заимствованные? Если в Вашем языке есть заимствованные союзы, то можно ли указать причины заимствования?

12. Употребляются ли в условных предложениях Вашего языка коррелятивные союзы? Если употребляются, то какова, с Вашей точки зрения, их основная функция? Сколько коррелятивных союзов есть в Вашем языке? Если их больше одного, то каковы мотивы их выбора? Какова степень обязательности употребления коррелятивных союзов? Можно ли сформулировать причины, в силу которых в одних случаях более предпочтительно отсутствие коррелятивных союзов, а в других случаях более предпочтительно их наличие?

ОФОРМЛЕНИЕ ГЛАГОЛОВ В ПРИДАТОЧНОЙ И ГЛАВНОЙ ЧАСТЯХ СЛОЖНОПОДЧИНЕННОГО УСЛОВНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Как уже было отмечено, формально однородные глагольные формы, употребляющиеся в обеих частях сложноподчиненного условного предложения, могут либо вообще не иметь грамматических категорий, либо иметь различные наборы этих категорий. Соответственно такие глагольные формы играют различную роль в маркировке реального и нереального условных значений, различной временной отнесенности положений дел, выражаемых в придаточной и главной частях условного предложения, а также таксисной соотнесенности этих положений дел. Иными словами, глагольные формы по-разному участвуют (или вообще не участвуют) в выражении значений тех семантических признаков, которые положены в основу исчисления семантических моделей УК. В принципе можно говорить о шкале, на одном конце которой помещаются языки, где роль глаголов в выражении указанных значений сводится к нулю, а на другом конце помещаются языки, где глаголы играют ведущую роль в выражении указанных значений, что в первую очередь определяется наличием у глаголов категорий наклонения, времени и вида.

Нулевую роль глагол играет в изолирующих языках, где у глагола нет грамматических категорий и он практически всегда выступает в одной и той же форме. Соответственно в таких языках возможны примеры, которые вне контекста имеют несколько интерпретаций. Таков, в частности, приводимый ниже кхмерский пример:

(31) *пеи* *га:т'* *мак* *кхньум* *ка* *чень* *дау*
если он приходить я выделит. частица выходить уходить

1. "Если он придет, я уйду",
2. "Если он пришел, я ухожу",
3. "Если бы он пришел, я бы ушел".

Важно подчеркнуть, что при отсутствии в контексте специальных указаний реальное условное предложение в изолирующих языках имеет футуральное прочтение с таксисным значением следования, а нереальное условное предложение – претеритное прочтение также с таксисным значением следования. Это объясняется тем, что в любых языках реальные УК с временной локализацией в будущем составляют центр поля реальных УК, а нереальные УК с временной локализацией в прошлом составляют центр поля нереальных УК. При наличии у глагола парадигмы финитных форм возможны два случая. Во-первых, у глагола может не быть грамматических категорий (наклонения, времени, вида, возможно, и каких-то других), которые выражают интересующие нас значения. Таков, например, индонезийский язык, в

котором многие (но не все!) глаголы имеют парадигмы залоговых форм актива и пассива:

(32) *Kalau Anwar belum ber-angkat, pasti Maria sudah me-nilpon dia*
если Анвар еще не выехать наверняка Мария уже позвонить ему
"Если Анвар еще не выехал, наверняка Мария уже позвонила ему".

В этом примере в придаточной части употреблен неизменяемый по залогу глагол с префиксом *ber-*, а в главной части употреблена форма актива с префиксом *me-*. Временная отнесенность к прошлому определяется с помощью таксисных показателей: отрицания предшествования *belum* "еще не" в придаточной части и предшествования *sudah* "уже" в главной части. Сами же глаголы в принципе допускают любую временную локализацию. Если же у глагола есть грамматические категории, выражающие интересующие нас значения, то возможны две ситуации. Ситуация первая: в реальных и нереальных условных предложениях употребляются одни и те же глагольные формы, но разные союзы, которые и маркируют значения реального и нереального условия. Ситуация вторая: в реальных и нереальных условных предложениях употребляются одни и те же союзы, но разные глагольные формы, которые маркируют значения реального и нереального условия, а также могут маркировать отнесенность обозначаемых положений дел к будущему, настоящему и прошлому и их последовательность или одновременность.

Первая ситуация наблюдается, например, в литературном арабском языке, см. (20а) и (20б). В этих предложениях, отличающихся друг от друга только союзами, употреблены одни и те же временные глагольные формы, которые тем не менее в каждом предложении имеют специфическое темпоральное прочтение. В (20а) – это футуральное прочтение, а в (20б) – это претеритное прочтение. Важно подчеркнуть, что именно претеритное прочтение свойственно этим глагольным формам, когда они выступают в простых повествовательных предложениях, т.е. претеритное значение является основным для этих форм. Тем самым претеритные формы глагола сохраняют свое основное значение в сложноподчиненных нереальных условных предложениях и меняют это значение на футуральное в сложноподчиненных реальных условных предложениях.

Вторая ситуация является наиболее распространенной. В рамках этой ситуации мы будем отдельно рассматривать тенденции, характеризующие употребление глагольных форм в реальных и нереальных условных предложениях. Основная тенденция, которая характеризует употребление глагольных форм в реальных условных предложениях, – это преимущественное (но не исключительное!) использование индикативных (видо-временных) глагольных форм, а в главной части также форм, имеющих повелительное значение:

(33) а. *Если Петров получит завтра деньги, то купит жене подарок,*
б. *Если Петров будет решать задачи, я буду ему помогать,*
в. *Если Петров будет решать задачи, я помогу ему,*
г. *Если Петров сейчас принимает экзамен, он освободится только через час,*
д. *Если Петрову сейчас никто не мешает, он пишет отчет,*
е. *Если Петров вернулся из отпуска, я позвоню ему завтра,*
ж. *Если Петров уже вернулся, то теперь он отдыхает,*
з. *Если Петров получил вчера деньги, он купил жене подарок.*

В этих примерах глагольные формы выражают значение реального условия, конкретную временную локализацию и таксисные значения следования (а, г, е, ж, з) или одновременности (б, в, д), которые обеспечиваются различными комбинациями СВ и НСВ. Существенно обратить внимание на то, что условие и следствие могут локализоваться как в одном и том же временном плане (а, б, в, д, з), так и в разных (г, е, ж). Наряду с индикативными формами в условных предложениях и прежде всего в придаточной части могут употребляться формы косвенных наколонений: сослагательного, условного, желательного и т.п., что характерно для случаев, когда условие

локализуется в будущем. Примером может служить армянский язык:

(34) *Et'e eγanakə lavə lini,*
если погода-DEF хорошая-DEF быть: 3 SG: FUT: SBJ V
menk' kgnank' Aštarak'
мы COND-идти-1 PL:FUT Аштарак
"Если погода будет хорошая, мы поедем в Аштарак".

Возможно также параллельное употребление в придаточной части неиндикативных и индикативных форм. Например, в древнегреческом языке (язык Гомера) при локализации условия в будущем в придаточной части употребляется в основном аорист коньюнктива вместе с модальной частицей, но может употребляться и футурум индикатина, маркирующий выражение угрозы или обязательность осуществления действия, называемого в главной части условного предложения, ср. (35):

(35) а. *aytar Akhaioi triplei tetraplei t' apoti-so-men*
но Ахейцы трижды четырежды и воздавать-FUT: IND-1 PL
ai ke pothi Zeys doi-si polin
если MOD как-нибудь Зевс давать: AOR: KONJ:-3 SG город
Troien eyteikheon eksalapaksai
Трою крепкостенный разрушить
"Но мы, ахейцы, трижды и четырежды воздадим [ему], если Зевс как-нибудь даст [нам] разрушить крепостенный город Трою",

б. *ei gar Akhilleus oios epi Troessi makhei-tai*
если ибо Ахилл один с троянцами сражаться: FUT-MED: 3 SG
oude minynth' hek-s-ousi podokea Peleiona
не на. короткое. время сдерживать-FUT-IND: 3PL быстроного Пелейона
"Ибо если Ахилл будет один сражаться с троянцами, они не сдержат быстроногого Пелейона даже на самое короткое время".

Вторая тенденция состоит в том, что при локализации условия не только в настоящем, но и в будущем, употребляются формы настоящего времени. Ср. следующие немецкие примеры:

(36) а. *Wenn Sie jetzt an den Sohn nicht denken, (so) werden Sie es bedauern*
"Если Вы сейчас не думаете о сыне, вы будуте сожалеть об этом",

б. *Wenn ich die Einladung bekomme, fahre ich zur Konferenz*
"Если я получу приглашение, я поеду на конференцию".

И в первом, и во втором примере в придаточной части употреблена форма настоящего времени, однако в первом примере условие локализовано в настоящем времени, а во втором – в будущем времени. Тем самым темпоральная локализация условия определяется неформально, а с помощью семантики глаголов, контекста и конситуации.

Говоря о реальных условных предложениях, следует обратить внимание на то, что в отдельных языках говорящий может по-разному характеризовать выполнимость как следствия, так и условия, используя в этих целях различные глагольные формы. Ср. в этой связи следующие болгарские примеры:

(37) а. *Ако събера повече пари, ще си купя*
если накопить-1 SG: PRS побольше денег, PTL себе купить-1 SG: PRS
хубаво радио
хороший радиоприемник
"Если накоплю побольше денег, куплю себе хороший радиоприемник",

б. *Ако събера повече пари,*
если накопить-1 SG: PRS побольше денег
бих си купил *хубаво радио*
AUX: SG себе купить-PART AOR: SG: хорошее радио
"Если накоплю побольше денег, возможно, куплю себе хороший радиоприемник".

В главной части первого предложения употреблена форма будущего времени, а в главной части второго предложения употреблена форма условного наклонения. Других

формальных отличий у этих предложений нет (в их придаточных частях выступает форма настоящего времени). Соответственно использование формы условного наклонения вместо формы будущего времени позволяет говорящему оценить выполнимость положения дел, обозначенную в следствии, как не вполне достоверную.

Теперь ср. следующие английские примеры:

(38) а. *If you meet him, tell him to come*
"Если ты встретишь его, то вели ему прийти",
б. *If you should meet him, tell him to come*
"Если ты вдруг встретишь его, то вели ему прийти".

В придаточной части первого предложения употреблена форма настоящего времени, а в придаточной части второго употреблена конструкция с модальным глаголом *should*. Других формальных отличий у этих условных предложений нет, поскольку в их главных частях выступает одна и та же форма повелительного наклонения. Соответственно использование конструкции с модальным глаголом *should* вместо формы настоящего времени позволяет говорящему оценить выполнимость положения дел, обозначенного в условии, как не вполне достоверную.

Две тенденции характеризуют и предложения, в которых реализуется нереальное условие. Первая тенденция заключается в том, что в таких примерах преимущественно, но не исключительно, употребляются формы косвенных наклонений. В частности, в древнегреческом языке (языке Гомера) в обеих частях сложноподчиненного условного предложения при временной отнесенности к плану прошлого употребляются формы аориста (или имперфекта) индикатива, которые в главной части комбинируются с модальной частицей:

(39) *kaí ken épay-s-e* *mákhen epi neysin Akhaion*
и MOD прекращать-AOR-IND-3 SG битву у кораблей ахейцев
ei min... balon *ekseíl-e-to* *thymón*
если бы его поразивший отнимать: AOR-IND-MED: 3 SG жизнь
"И он [Тевкр] прекратил бы битву у кораблей ахейцев, если бы он, поразив его [Гектора].., отнял [у него] жизнь".

Вторая тенденция состоит в том, что для таких предложений характерна либо полная, либо частичная нейтрализация временной отнесенности глагольных форм. Полная нейтрализация наблюдается, например, в русском языке, где в обеих частях сложноподчиненного предложения, выражающего нереальное условие, употребляются не изменяющиеся по временам формы сослагательного наклонения:

(40) *Если бы была хорошая погода, мы бы поехали за город.*

Полная нейтрализация может маркироваться не только формами косвенных наклонений, но и индикативными формами. Например, в болгарском языке в сложноподчиненном предложении, выражающем нереальное условие, употребляются индикативные формы: в придаточной части – форма прошедшего несовершенного (имперфекта), а в главной части – форма будущего в прошедшем:

(41) *Ако събере-х* *повече пари,*
если накопить-IMPF: 1 SG побольше денег
щя-х да *си куп-я* *хубаво радио*
хотеть: AUX-IMPF: 1 SG себе купить-PRS: 1 SG хорошее радио
"Если бы я напокипл побольше денег, купил бы себе хороший радиоприемник".

При частичной нейтрализации одни глагольные формы употребляются при временной локализации в настоящем и будущем, а другие при временной локализации в прошлом. Соответственно нейтрализуются грамматические различия между настоящим и будущим. В случае необходимости различия между настоящим и будущим маркируются неграмматическими средствами. Такая модель характерна, в частности, для немецкого языка. При временнóй отнесенности к плану настоящего и будущего в придаточной и главной частях условного предложения употребляются претерит (!) коньюнктива (чаще в придаточной части) и кондиционалис I (чаще в главной части).

Тем самым отнесенность к настоящему или будущему маркируется не с помощью глагольных форм, а с помощью семантики глаголов, контекста и конституации, ср. (42):

(42) а. *Wenn ich in den nächsten Tagen die Einladung bekäme, würde ich zur Konferenz fahren*
"Если бы я в ближайшие дни получил приглашение, я бы поехал на конференцию",

б. *Wenn ihn niemand störte, würde er jetzt an seiner Dissertation arbeiten*
"Если бы ему никто не мешал, он бы сейчас писал свою диссертацию".

При временной отнесенности к плану прошедшего и в придаточной части, и в главной части условного предложения употребляются формы плюсквамперфекта (!) коньюнктива:

(43) *Wäre das Wetter gut gewesen, wäre er die Stadt gefahren*
"Если бы погода была хорошей, он бы поехал в город".

Очень редко в придаточной части условного предложения употребляется кондиционалис 2:

(44) *Wenn er laut gerufen hätte, würde Sie ihn gehört haben*
"Если бы он громко крикнул, она бы его услышала".

В нереальных условных предложениях, как и в реальных, говорящий может по-разному характеризовать выполнимость положения дел, выражаемого в следствии, используя в этих целях различные глагольные формы. Ср. в этой связи следующие болгарские примеры:

(45) а. *Ако събере-х* *повече пари,*
если накопить-IMPF: 1 SG побольше денег
щя-х да си купя *хубаво радио*
хотеть: AUX-IMPF: 1 SG CNJ себе купить-PRS хорошее радио
"Если бы я накопил побольше денег, купил бы себе хороший радиоприемник",

б. *Ако* *събере-х* *повече пари,*
если накопить-IMPF: 1 SG побольше денег
би-х *си* *купи-л* *хубаво радио*
AUX: 1 SG себе купить-PART AOR: SG: M хорошее радио
"Если бы накопил побольше денег, возможно, купил бы себе хороший радиоприемник".

В придаточной части обоих предложений употребляется форма прошедшего несовершенного. В то же время в главной части первого предложения употребляется форма будущего в прошедшем, а в главной части второго предложения – форма условного наклонения. Соответственно использование условного наклонения вместо будущего в прошедшем позволяет говорящему оценить выполнимость положения дел, обозначаемого в следствии как менее достоверную.

Все изложенное позволяет сформулировать вопросы, на которые необходимо ответить при типологически ориентированном описании употреблении глагольных форм в сложноподчиненных условных предложениях различных конкретных языков.

1. Выражают ли глаголы, употребляющиеся в условных предложениях Вашего языка, значения семантических признаков, составляющих базу исчисления семантических моделей УК? Если глаголы не выражают значения этих семантических признаков, то с помощью каких средств такие значения могут быть выражены? Если глаголы выражают значения этих семантических признаков, то какие грамматические категории используются в этих целях?

2. Одинаковые или разные глагольные формы употребляются в Вашем языке в реальных и нереальных условных предложениях? Если эти формы одинаковые, то с помощью каких средств выражаются значения реального и нереального условия? Употребляются ли эти формы в простых повествовательных предложениях? Если такое употребление возможно, то какое значение присуще этим формам в данном

случае? Если эти формы различны, связано ли это различие с выражением реального и нереального условия, разной временной локализации и таксисных значений следования и одновременности?

3. Какие средства, кроме категории вида, если она есть в Вашем языке, используются для маркирования таксисных значений следования и одновременности?

4. Если в Вашем языке есть категория наклонения, то используются ли в реальных условных предложениях наряду с формами индикатива (или вместо них) также формы косвенных наклонений? Если использование косвенных наклонений возможно, то какая временная локализация преферентна в этом случае? Возможно ли параллельное использование индикативных и неиндикативных форм при одной и той же временной локализации? Любая ли временная локализация положений дел, обозначаемых в условии и следствии, допускается в реальных условных предложениях?

5. Какие индикативные (и неиндикативные) видовременные формы употребляются в реальных условных предложениях? Отличаются ли по набору используемых форм придаточная и главная части реального условного предложения? Существуют ли индикативные формы, которые в принципе не могут употребляться в реальных условных предложениях? Если такие формы существуют, то перечислите их и, если возможно, укажите причины запрета.

6. Используются ли в Вашем языке формы настоящего времени (вместо форм будущего времени или наряду с ними) для маркирования условия, относимого к плану будущего времени? Если такое употребление форм настоящего времени в Вашем языке является закономерным, то с помощью каких средств различаются условия, относимые к плану будущего и настоящего времени? Есть ли в реальных условных предложениях Вашего языка другие случаи, когда временные формы используются для маркирования не "своего" временного плана?

7. Если в Вашем языке есть категории наклонения, то используются ли в нереальных условных предложениях наряду с формами косвенных наклонений (или вместо них) также формы индикатива? Если использование индикатива возможно, то какая временная локализация преферентна в этом случае? Возможно ли параллельное употребление неиндикативных и индикативных форм при одной и той же временной локализации? Любая ли временная локализация положения дел, обозначаемых в условии и следствии, возможна в нереальных условных предложениях?

8. Могут ли неиндикативные (и индикативные) глагольные формы, употребляющиеся в обеих частях нереального условного предложения, выражать временную локализацию положений дел, обозначаемых в условии и следствии? Если не могут, то с помощью каких средств обозначается временная локализация? Если же могут, то любая ли конкретная временная локализация маркируется с помощью этих форм? Какие именно неиндикативные (и индикативные) формы используются для маркировки различных временных реализаций положений дел, обозначаемых в условии и следствии нереальных условных предложений?

9. Возможно ли в Вашем языке как в реальных, так и в нереальных условных предложениях по-разному характеризовать выполнимость положений дел, выражаемых в условии и следствии, используя в этих целях различные глагольные формы?

УК, ОФОРМЛЯЕМЫЕ КАК ОСЛОЖНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Осложненное условное предложение, как и любая УК, состоит из двух частей: главной, в которой выражается следствие, и зависимой, в которой выражается условие. (При описании осложненных предложений в отличие от сложноподчиненных предложений такие термины, как "придаточная часть", "придаточное предложение", не используются.) Специфика осложненного предложения состоит в том, что в обеих его частях употребляются неоднородные глагольные формы: в зависимой части нефинитная форма, в главной части финитная форма, при этом никакого отдельного

специального показателя связи между частями предложения стандартно не бывает. Иными словами, осложненное предложение можно характеризовать как бипредикативную конструкцию, которая включает две связанные между собой монопредикативные конструкции, но при этом в каждой монопредикативной конструкции субъектно-предикатная связь оформляется специфическим образом. Если в монопредикативной конструкции, выражаемой в главной части, субъектно-предикатная связь стандартно оформляется как в простом повествовательном предложении, то в монопредикативной конструкции, выражаемой в зависимой части, другой стандарт: субъектно-предикатная связь оформляется иначе, чем в простом повествовательном предложении и даже может отсутствовать.

Из сказанного следует, что осложненные предложения могут встречаться только в тех языках, где у глагола есть богатый морфологический потенциал и, в частности, имеются вербоиды, т.е. глагольные формы, совмещающие свойства глаголов со свойствами других частей речи. Вербоиды, употребляющиеся в зависимой части осложненного условного предложения, в описательных грамматиках могут называться по-разному, однако чаще всего речь идет о деепричастиях, т.е. о формах, совмещающих свойства глагола и наречия, и о причастиях, т.е. о формах, совмещающих свойства глагола и прилагательного. Для нефинитных глагольных форм характерна тенденция утрачивать некоторые глагольные категории, и соответственно нефинитные и финитные глагольные формы обычно обладают различными потенциями выражения тех значений, которые существенны для характеристики УК.

Для таксономии осложненных условных предложений, как и для таксономии сложноподчиненных условных предложений, наиболее важными являются две группы проблем: 1) проблемы способов связи между частями предложения, 2) проблемы категориального потенциала и взаимодействия глагольных форм, употребляющихся в зависимой и главной частях предложения.

ТИПОЛОГИЯ СПОСОБОВ СВЯЗИ МЕЖДУ ЧАСТЯМИ ОСЛОЖНЕННЫХ УСЛОВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

На связь между частями осложненного условного предложения указывает их взаиморасположение. Стандартно зависимая часть осложненного предложения предшествует главной, см., напр. (9). Случаи, когда зависимая часть следует за главной или вклинивается в нее, периферийны и относительно редко встречаются в тех языках, где осложненное предложение не является основным средством выражения условного значения:

(46) а. *Черные добились бы равной позиции, взяв пешку не конем, а ферзем,*
б. *Черные, сыграв ферзем, добились бы равной позиции.*

Выше уже говорилось, что в прототипических осложненных условных предложениях союзов, связывающих обе части предложения, стандартно не бывает. Вместе с тем в виде исключения союзы все-таки встречаются в осложненных условных предложениях. Здесь следует различать несколько случаев.

Случай первый. Союз является, если можно так сказать, обязательным компонентом вторичной (!) нефинитной формы, образованной на базе первичной финитной формы. С таким явлением мы встречаемся, например, в японском языке, где есть нефинитная форма, образуемая на базе финитной формы настояще-будущего времени с суффиксом *-ru/-u*, к которой присоединяется (постпозитивный) союз *to*. Эта форма сохраняет некоторые черты финитных форм: в ее составе может употребляться показатель адрессивности *-(i)mas-*, который, правда, уже не имеет значения подчеркнутой вежливости; кроме того, в ней заполнена позиция показателя времени, однако эта позиция деграмматикализована, поскольку занимающий ее показатель настояще-будущего времени не может заменяться никаким другим показателем. Вместе с тем в составе этой формы не может быть показателей наклонения и

вопросительной частицы. Сказанное свидетельствует о том, что данную форму нельзя считать финитной:

(47) *nomu-to kenka mo shinai*
выпьет-COND драка тоже не делает
"Если [он] выпьет, не дерется".

Подчеркнем, что в данном случае условное значение является не значением союза *to*, а значением вторичной нефинитной формы, в состав которой входит этот союз. Иными словами, ситуация здесь отличается от ситуации, которая характерна для условных союзов в сложноподчиненных условных предложениях.

Случай второй. Условный союз является факультативным элементом зависимой части осложненного предложения, т.е. может быть опущен без какого-либо изменения смысла. Относительно редко подобное явление наблюдается в тех языках, где основной моделью УК является сложноподчиненное предложение, а осложненное предложение является маргинальным средством выражения условного значения. Так, например, в английском языке осложненное условное предложение с причастным оборотом может факультативно вводиться союзом *if*, который "заимствуется" из сложнопочиненного предложения:

(48) *If urged by our friends, we'll stay*
"Если наши друзья нас убедят, мы останемся".

В тех же языках, где осложненное предложение является единственным средством выражения условного значения, такие союзы обычно заимствуются из других языков. Например, в эскимосском языке возможно употребление союза *ичын* "если" который заимствован из чукотского языка и занимает первую позицию в зависимой части осложненного предложения:

(49) *Ичын ка: с-ка-та*
если приезжать-COND-3 PL
ун'ипак'ы-лъпк'-а-пут
рассказать -FUN-TRANS-1 PL.AGx3 PL.OBJ
"Если они приедут, мы им расскажем".

Вместе с тем в некоторых языках в зависимой части осложненного предложения факультативно могут употребляться слова со значением "если", которое в описательных грамматиках именуются союзами, квазисоюзами, союзными словами, частицами и которые не заимствованы из других языков. Например, в хакасском языке начальную позицию в зависимой части осложненного предложения может факультативно занимать слово *сынап*, которому приписывается значение "и если":

(50) *Сынап син аннаң , хорыхчатсаң , ол сағаа учурир, –тидірлер абадаң ар*
если ты он-ABL бояться-COND-2SG он ты-DAT встретиться -FUT-3 SG
говорить-PRS-IND-3PL медведь–OBJ
"И если ты будешь бояться его, он тебе встретится, – говорят про медведя".

Аналогичная ситуация наблюдается и в якутском языке. Здесь в осложненном предложении в зависимой части с формой на *таг ына* начальную позицию может факультативно занимать слово *өскө/өскөто/өскөтүн* "если", на которое приходится акцентное выделение, благодаря чему оно оказывается в фокусе внимания:

(51) *Өскө дьыала табыллыбатағына, Маньчжурияға биитэр Японияға*
эйиэхэ хайаан да миэстэ көстүө
если дело-NOM удаться-NEG-COND-3 SG Маньчжурия-DAT или
Япония-DAT ты-DAT обязательно место-NOM ожидать-FUT-3 SG
"Если дело не получится, то тебе обязательно найдется место в
Маньчжурии или Японии".

Случай третий. Речь идет об употреблении в главной части осложненного предложения прототипически неусловного союза, который занимает специфическую синтаксическую позицию и служит показателем нереального условного значения.

Такая ситуация наблюдается, в частности, в японском языке, где показателем нереального условия служат противительные (!) союзы (*ga, keredomo, noni*), которые занимают конечную позицию в главной части осложненного предложения и употребляются вместе с финитной формой прошедшего времени:

(52) *Yasu-kereba kat-ta n desu ga*
дешевое-COND купить-PAST NOM COP.PRES однако
"Было бы дешево, купил бы".

В этом случае вряд ли можно рассматривать подобный союз как показатель связи между зависимой и главной частями осложненного предложения. Скорее речь может идти о том, что в данном употреблении союз становится специализированным показателем нереального условного значения, которое имеет несомненную смысловую связь с противительным значением.

На базе изложенного можно сформулировать вопросы, на которые необходимо ответить при типологически ориентированном описании способов связи между зависимой и главной частями осложненного условного предложения в различных конкретных языках.

1. Какие типы взаимного расположения частей осложненного условного предложения представлены в Вашем языке? Какой порядок слов в каждой части осложненного предложения?

2. Существует ли в Вашем языке союзная связь между частями осложненного условного предложения? Если такая связь существует, то является ли они обязательной или факультативной? Какова мотивация употребления союза, если союзная связь является факультативной?

3. Являются ли в Вашем языке условные союзы исконными или заимствованными?

4. Есть ли в Вашем языке слова со значением "если"/"если бы", которые не характеризуются как союзы, но употребляются обязательно или факультативно в осложненных условных предложениях?

5. В какой части предложения и в какой линейной позиции употребляются в Вашем языке условные союзы и другие слова, имеющие значение "если"/"если бы"?

6. Возможно ли в Вашем языке участие прототипически неусловных союзов в образовании (вторичных) инфинитных форм?

7. Возможно ли в Вашем языке использование прототипически неусловных союзов в качестве показателей нереального условного значения.

ОФОРМЛЕНИЕ ГЛАГОЛОВ В ЗАВИСИМОЙ И ГЛАВНОЙ ЧАСТЯХ ОСЛОЖНЕННОГО УСЛОВНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Характеризуя нефинитные формы, которые употребляются в зависимой части осложненного условного предложения, сразу же отметим, что эти формы делятся на собственно условные и условно-временные. Первые в принципе во всех типах контекстов имеют условное прочтение, вторые в одних типах контекстов имеют условное прочтение, в других – временное.

Собственно условная форма с показателем *-ку-/-ка* представлена, например, в эскимосском языке:

(53) *Афтаныг'мын' так'ых-ку-ма аглах'-лъык'-ун'а*
разделывать кончать-COND-1 SG идти-FUT-INTR-1 SG
"Если кончу разделывать, пойду домой".

Условно-временная форма представлена, например, в эвенкийском языке. Точнее, в этом языке есть две условно-временные формы: одна (неспрягаемая) с показателем *-ми* указывает на кореферентность субъектов в обеих частях осложненного условного предложения, а другая (спрягаемая) с показателем *-раки* указывает на некореферентность субъектов в разных частях осложненного условного предложения. Других содержательных отличий у этих двух форм нет. Ниже приводятся примеры

с формой на *-ми*. В первом примере эта форма имеет условное прочтение, во втором – временное:

(54) а. *Эси сурусин-мин лунур-дэлэ-н ис-чана-с*
сейчас отправиться-CON сумерки-ADIT-3 SG дойти-FUT-2 SG
"Если ты сейчас отправишься, до наступления сумерек дойдешь",
б. *Дю-ла-ви эмэ-ми деп-тэ-н*
дом-ADIT-POSS прийти-CON есть-NONFUT-3 SG
"Когда он пришел (=придя), он поел". См. также (9).

При наличии двух разных прочтений естественно встает вопрос о критериях их разграничения. Одним из наиболее важных критериев является временное значение финитной глагольной формы в главной части осложненного предложения. Условное значение определяется употреблением в главной части финитных форм будущего времени, временное значение определяется употреблением в главной части финитных форм небудущего времени (ср.: 54а и 54б). В языке может быть несколько условно-временных нефинитных форм, употребление которых не связано с кореферентностью/некореферентностью субъектов в разных частях осложненного условного предложения и которые во многих случаях являются взаимозаменимыми при условном прочтении. Так, например, в японском языке есть три нефинитных условно-временных формы: первичная нефинитная форма с суффиксом *-tara/-dara/-itara*, первичная нефинитная форма с суффиксом *-eba/-reba*, вторичная нефинитная форма с суффиксом *-ru/-u*, к которой присоединяется постпозитивный союз *to*. Все они на равных правах могут быть употреблены в следующем примере:

(55) *ima oki-nakat-tara/oki-nake-reba/oki-nai to gakkoo ni*
сейчас встать-NEG-COND школа IO
okureru wa-yo
опоздаешь же
"[Ты] же опоздаешь в школу, если сейчас не встанешь".

В данном случае возможно только условное прочтение, поскольку нефинитная форма, употребляющаяся в зависимой части, является отрицательной, а в главной части употребляется финитная форма, указывающая на временную отнесенность к будущему. Таким образом, указанные особенности нефинитной и финитной форм служат еще одним критерием разграничения условного и временного прочтения осложненных предложений с условно-временными нефинитными формами.

Вместе с тем в японском языке есть специальные средства, с помощью которых исключается (!) временное прочтение условно-временной формы. Наиболее употребительным из них является "союзное наречие" *moshi* "если", которое обычно ставится в начале зависимой части осложненного предложения:

(56) *moshi watashi no soofu ga shin-dara/shin-eba/shinu to*
если я ATTR дедушка SU умереть-COND
zaisan ga korogarikonde-kimasu
"Если умрет мой дедушка, [мне] привалит наследство".

Разграничение значений реального и нереального условия в осложненных предложениях осуществляется с помощью специальных показателей в нефинитной форме и/или с помощью употребления различных финитных форм. Например, в эскимосском языке в зависимой части предложений реального условия употребляется нефинитная форма с показателем *-ку-/-ка*, а в главной – любые финитные формы, кроме форм сослагательного наклонения, см. (53). В то же время в предложениях нереального условия в зависимой части употребляется условная форма с показателем *-йак'у-*, а в главной части употребляется форма сослагательного наклонения с показателем *-найаг'-*:

(57) *Акмах' так' имиг' -йа-к' у-мкун пиниг'-найах'т-ук'*
мешок наполнять-COND-1 SGx3SG хорошо-SUBJ-INTR-3 SG
"Если бы я заполнил мешок, было бы хорошо".

В зависимой части осложненных предложений эвенского языка, выражающих как реальное, так и нереальное условие, употребляются одни и те же условно-временные формы, выражающие кореферентность и некореферентность субъектов действия. В то же время в главной части предложений, выражающих нереальное условие, употребляется только форма сослагательного наклонения с показателем *-мч-/-мчи*, тогда как в главной части осложненных предложений, выражающих реальное условие, в принципе могут употребляться любые другие финитные формы глагола:

(58) а. *Ак-ϑ-му мучу-рака-н буйух-нэ-мч-у*
брат-NOM-1 SG вернуться-CONS-3 SG охотиться-DJR-SUBJ-1SG
"Если бы мой брат вернулся, я бы пошел на охоту".

б. *Ак-ϑ-му мучу-рака-н буйух-нэ-зи-м*
брат-NOM-1 SG вернуться-CONS-3 SG охотиться-DJR-FUT-1 SG
"Если мой брат вернется, я пойду на охоту".

Аналогичная ситуация характерна и для эвенкийского языка, см. (9). В японском языке показателем нереального условия служат противительные союзы (*ga, keredomo, noni* "однако"), которые ставятся в самом конце главной части предложения и употребляются вместе с финитной формой прошедшего времени (см. 52).

В алеутском языке показателем нереального условия служит частица *кум/кума*, которая занимает первую позицию в главной части осложненного предложения и употребляется вместе с финитными формами небудущего и прошедшего времени:

(59) *суг'анг'и-л а-гу-ун' кум тин* 'ну-ку-к'
молодой-CONJ AUX-COND-1 SG бы OBJ:2 SG догнать-NONFUT-1 SG
"Если бы я был молодым, я бы тебя догнал".

Рассмотрим вопрос о маркировании временной локализации положений дел, обозначаемых в осложненных предложениях. Что касается предложений, выражающих реальное условие, то здесь возможны две ситуации.

Ситуация первая. Нефинитная глагольная форма, употребляющаяся в зависимой части осложненного предложения, не указывает на временную отнесенность обозначаемого ею положения дел. Временная отнесенность маркируется только финитной глагольной формой, употребляющейся в главной части осложненного предложения. Иллюстрирует эту ситуацию следующий алеутский пример:

(60) *инак'амис укааг'ака-лака-н а-гу-н*
ты.сам приходить-туда-мочь-NEG-CONJ AUX-COND-2SG
"Если ты сам не мог туда прийти, ты мог прислать туда кого-нибудь".

См. также (55), (56), (58б).

Ситуация вторая. И нефинитная, и финитная формы указывают на временную отнесенность обозначаемых положений дел. Ее специфика заключается в следующем. При временной отнесенности положения дел, выражаемого в зависимой части, к настоящему или будущему у нефинитной глагольной формы нет какого-либо специального маркера. Такой маркер появляется у нефинитной условной формы при временной отнесенности к прошлому. См. эскимосский пример (53). Теперь рассмотрим вопрос о маркировании временной локализации положений дел, обозначаемых в осложненных предложениях, выражающих нереальное условие. Здесь также возможны две различные ситуации.

Ситуация первая. И нефинитная, и финитная формы не указывают на временную отнесенность обозначаемых положений дел. Временная отнесенность опознается по контексту и по конситуации. См., например, (52), (58а), (55).

Ситуация вторая. Нефинитная форма в отличие от финитной указывает на временную локализацию обозначаемого положения дел. Достигается это следующим образом. При временной локализации в настоящем и будущем нефинитная форма не имеет специального показателя временной отнесенности. Такой показатель появляется у нефинитной формы при временной локализации в прошлом. Для иллюстрации

этого положения приведем следующий эскимосский пример:

(61) *Тawани иг'ивгани таги-ма-йа-к'у-вык*
тот вечер-LOK приходить-PRET-COND-2 SG
сугмалгуткы-найаг'-амкын
играть. в. шахматы-SUBJ-TRANS-1SGx2 SG
"Если бы ты пришел в тот вечер, мы бы сыграли с тобой в шахматы".

Суммируя изложенное, можно сделать следующие выводы. Финитная форма глагола, употребляющаяся в главной части осложненного предложения, выражающего реальное условие, стандартно указывает на временную локализацию, обозначаемого положения дел. Финитная форма, употребляющаяся в главной части осложненного предложения, обозначающего нереальное условие, стандартно не указывает на временную локализацию обозначаемого положения дел. Нефинитная форма, употребляющаяся в зависимой части осложненного предложения, выражающего как реальное, так и нереальное условие, либо указывает на временную локализацию обозначаемого положения дел, либо не указывает. Таким образом, существуют следующие корреляции между моделями осложненных предложений, выражающих реальное и нереальное условие. К о р р е л я ц и я п е р в а я: в осложненном предложении, выражающем реальное условие, нефинитная форма не указывает на временную локализацию обозначаемого положения дел, а финитная форма, напротив, указывает на временную локализацию обозначаемого положения дел; в осложненном предложении, выражающем нереальное условие, ни нефинитная, ни финитная формы не указывают на временную локализацию обозначаемого положения дел. К о р р е л я ц и я в т о р а я: в осложненном предложении, выражающем реальное условие, и нефинитная, и финитная формы указывают на временную локализацию обозначаемого положения дел; в осложненном предложении, выражающем нереальное условие, нефинитная форма указывает на временную локализацию обозначаемого положения дел, а финитная форма, напротив, не указывает. Установленные корреляции соответствуют корреляциям, существующим между моделями сложноподчиненных предложений, выражающих реальное и нереальное условие.

Все изложенное дает основание для формулирования вопросов, на которые необходимо ответить при типологически ориентированном описании нефинитных и финитных форм, употребляющихся в осложненном условном предложении в различных конкретных языках.

1. Какие грамматические категории (наклонение, время, вид и т.п.) свойственны финитным и нефинитным формам, употребляющимся в главной и зависимой частях осложненного условного предложения в Вашем языке? Какие из этих категорий выражают значения, необходимые для семантической характеристики условных предложений?

2. Релевантна ли для Вашего языка классификация нефинитных форм, употребляющихся в осложненных условных предложениях, на разносубъектные, односубъектные и безразличносубъектные?

3. Какая терминология (деепричастие, причастие и т.п.) традиционно используется в Вашем языке для обозначения нефинитных форм, употребляющихся в осложненных условных предложениях?

4. Какие нефинитные формы – условные или условно-временные – представлены в Вашем языке? Если эти формы условно-временные, то с помощью каких формальных средств (определенная комбинация глагольных форм в разных частях предложения, наличие/отсутствие отрицания, семантика глагольных форм, порядок частей предложения и т.п.) осуществляется дифференциация значений?

5. Существуют ли в Вашем языке такие средства, которые говорящий может специально использовать для дифференциации условного и временного значений?

6. Используются ли в Вашем языке условные или условно-временные формы при определенных обстоятельствах для выражения каких-либо других значений, например, причинного, уступительного и т.п.?

7. Есть ли в Вашем языке разные нефинитные формы, употребление которых не связано с выражением кореферентности/некореферентности субъектов действия в разных частях осложненного условного предложения? Если такие формы есть, то являются ли они синонимичными и взаимозаменимыми или же у них есть различия в семантике?

8. Как осуществляется в Вашем языке разграничение реального и нереального условного значения: с помощью нефинитных и/или финитных форм, с помощью союзов, частиц или каким-либо другим способом?

9. Как маркируется в Вашем языке временная отнесенность положений дел, обозначаемых в обеих частях осложненного предложения, выражающего реальное или нереальное условие: с помощью нефинитных и/или финитных форм, каким-либо другим способом или вообще не маркируется?

10. Маркируется или не маркируется в Вашем языке таксисная соотнесенность положений дел, обозначаемых в обеих частях осложненного условного предложения?

11. Как маркируются в Вашем языке имена, обозначающие субъект действия в зависимой части осложненного условного предложения? Если такие имена выступают в косвенном падеже, то позицию какого члена предложения они занимают в соответствии с традиционными представлениями? Если осложненное условное предложение является односубъектным, то может ли субъект действия обозначаться в зависимой части предложения? Если может, то каким образом?

12. Как соотносятся сложноподчиненные и осложненные условные предложения, если оба эти типа представлены в Вашем языке? Какой из них является преферентным?

УК, ОФОРМЛЯЕМЫЕ КАК ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

УК этого типа являются периферийными и обычно представлены в языках с большим морфологическим потенциалом глагола и имени, с развитой системой предлогов или послелогов и где преферентными являются УК, оформляемые как сложноподчиненные предложения. Важно подчеркнуть, что в самых различных языках как будто бы не бывает наречий условия. На употребление простых предложений с обстоятельством условия, которое обычно занимает первую линейную позицию, накладываются значительные ограничения. В частности, они не используются для выражения речеактных УК, а кроме того, с их помощью реализуются только некоторые из моделей, выражающих стандартные УК. При этом в простых предложениях затруднено или исключено употребление отрицания, а также актантов и сирконстантов при вершинном слове зависимой части, выражающей условие. Разграничение моделей УК в подобных предложениях происходит преимущественно с помощью показателей грамматических категорий (наклонение, время, вид) финитного глагола, выступающего в позиции сказуемого:

(62) а. *При ходе конем белые выигрывали (бы)* = 'Если бы белые пошли конем, они бы выиграли/?выигрывали;

б. *При ходе конем белые выиграли бы* = 'Если бы белые пошли конем, они бы выиграли',

в. *При ходе конем белые выигрывают* = 'Если белые пойдут конем, они выигрывают',

г. *При ходе конем белые выиграют* = 'Если белые пойдут конем, они выиграют',

д. *Без Вашего приглашения нам визы не дадут* = 'Если у нас не будет Вашего приглашения, нам визы не дадут',

е. *В случае вашего отъезда мы прекращаем испытания* = 'Если вы уедете, мы прекращаем испытания'.

(63) франц. *Chez eux, tu ferais tes études*
"У них ты бы учился в школе" =
Si tu vivais chez eux, tu ferais tes études
"Если бы ты жил у них, ты бы учился в школе".

На основании изложенного можно сформулировать вопросы, на которые нужно ответить при типологически ориентированном описании простых предложений с обстоятельством условия в различных конкретных языках.

1. Если в Вашем языке есть УК, оформляемые как простое предложение с обстоятельством условия, то какие (предложно-падежные) формы отглагольного или непроизводного существительного употребляются в роли обстоятельства условия? Если таких форм несколько, то чем определяется их дистрибуция? Есть ли среди этих форм синонимичные?

2. Есть ли в Вашем языке наречия условия?

3. Может ли в Вашем языке обстоятельство условия занимать не первую линейную позицию?

4. Какие формы финитного глагола употребляются в Вашем языке в простых предложениях с обстоятельством условия?

5. Какие из моделей УК могут быть в Вашем языке оформлены как простые предложения? Можно ли с помощью простых предложений выражать не только односубъектные, но и разносубъектные УК?

6. Существуют ли в Вашем языке какие-либо предпочтения для употребления простых предложений с обстоятельством условия в определенных стилях речи?

7. Всегда ли в Вашем языке возможна трансформация простых предложений с обстоятельством условия в сложноподчиненные условные предложения и наоборот? Если такая трансформация возможна не всегда, то являются ли ограничения формальными и/или смысловыми?

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Храковский В.С. 1994 – Условные конструкции: взаимодействие кондициональных и темпоральных значений // ВЯ. 1994. № 6.

Храковский В.С. 1996 – Исчисляющие классификации в типологии // ВЯ. 1996. № 3.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1996

© 1996 г. С.Д. ШЕЛОВ

РОДОВИДОВЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РОДОВИДОВАЯ ИЕРАРХИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ

(НА МАТЕРИАЛЕ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ)

Категория понятийной структуры терминологии принадлежит к фундаментальным, основным понятиям науки о терминах. Собственно говоря, вся проблематика системности терминологии предполагает, что понятийная структура терминологии (т.е. совокупность терминологических единиц и основных понятийных отношений между ними) уже достаточно ясно установлена и зафиксирована. В то же время само выявление понятийной структуры терминологии в целом и ее родо-видовой иерархии, в частности, представляет собой далеко не простую задачу. И лингвистическая, и логическая традиции изучения содержательной стороны терминов справедливо требуют обращения в первую очередь к текстам, играющим ключевую роль в фиксации понятийного содержания терминов, в качестве которых чаще всего выступают определения терминов (далее выражение "определение термина" используется как более краткая формулировка выражения "определение понятия, называемого соответствующим термином").

С теоретической точки зрения проблематика анализа терминологических определений для выявления понятийной структуры терминологии представляется чрезвычайно актуальной и лингвистически, и логически. Лингвистически — для выяснения того, между какими понятиями и терминами фиксируются понятийные отношения и какими способами это достигается; логически — для описания процедур дефиниционного анализа и связанных с ними вопросов теории определения.

С практической точки зрения решение соответствующих вопросов могло бы оказать существенную помощь при разработке нормативной терминологии и повысить качество терминологических дефиниций как важнейшей части любой нормативной терминологии. Очевидна также важность этой проблематики для терминологической лексикографии, построения информационных тезаурусов, построения терминологических банков данных, разработки автоматизированных интеллектуальных систем, баз знаний и т.п. Здесь совокупность понятийных отношений между терминами может быть использована и как информационная модель семантики соответствующей области знания (это направление исследований развивается, в частности, в работах С.Е. Никитиной [Никитина 1978; Никитина 1987]. В этом смысле чрезвычайно показателен интерес к лингвистическому анализу терминологических определений [TKE'90; Martin 1992; Meyer et al. 1992].

Целесообразно обратиться к вопросам понятийной структуры терминологии на материале самого распространенного и наиболее изученного типа терминологических дефиниций — родовидовых. Здесь основным является вопрос о том, какое понятие (из числа всех понятий, названных в определяющем выражении) является ближайшим родовым для определяемого термина, а что составляет его видовой признак. При этом в логике текстовая формулировка родовидового определения часто рассматривается как фиксация результатов некоторой ментальной процедуры (ее частью является классификационное деление ближайшего родового понятия), сама же ментальная процедура существует как бы и независимо от формулировки данного определения и —

тем более — от каких-либо других определений. Родовое понятие независимо от того, к какой категории понятий оно принадлежит — категории предметов, процессов, свойств или величин — считается заданным, и вопрос о том, каким способом выражается ближайшее родовое понятие (и что, таким образом, подвергается классификационному делению), выглядит обычно предельно простым. Таковы типичные примеры этого рода:

Щелочь — жидкость, при погружении в которую лакмусовой бумажки последняя окрашивается в синий цвет.

Окружность — замкнутая кривая, образованная движением точки, не меняющей расстояния от другой неподвижной точки.

Словоизменительная грамматическая категория — грамматическая категория такая, что в грамматических значениях, представленных в ее парадигме, встречается не менее двух разных граммем этой грамматической категории.

Здесь для терминов и понятий *щелочь, окружность, словизменительная грамматическая категория* ближайшими родовыми понятиями оказываются соответственно "жидкость", "замкнутая кривая", "грамматическая категория", а видовые отличия выражаются оставшимися частями определяющего выражения.

Подобному анализу следует и традиционное изучение определений и понятийной семантики терминов. Очень характерны в этом отношении работы Д.С. Лотте [Лотте 1961; 1971] с последовательным рассмотрением удачных и неудачных номинаций, обозначающих разновидности подшипников, сцеплений (в автомобиле), двигателей, тормозов, вихревых движений и т.п. При таком подходе задачи специального лингвистического анализа текстовых формулировок определяющего выражения обычно не возникают: ближайшими родовыми понятиями автоматически оказываются достаточно специализированные понятия типа "подшипник", "сцепление", "автосцепка", "тормоз", "вихревое движение" и т.п. [Лотте 1961: 97-112; Лотте 1971: 9-28; Канделаки 1971; КМП 1979: 16-28; Волкова 1986].

Примеры такого типа остаются бесспорно справедливыми, но, не вызывая сомнения сами по себе, они, тем не менее, не должны создавать иллюзию очевидности там, где установление ближайшего родового понятия и, следовательно, выяснение родовидовой структуры понятий данной области далеко не столь бесспорно. Подобный иллюстративный материал представляет собой лишь очень небольшую часть богатейшей практики реального толкования терминов, и первый же просмотр массива дефиниций какого-либо толкового терминологического словаря показывает, что вопрос о том, какое именно понятие следует рассматривать как ближайшее родовое к определяемому, в **общем случае** далеко не столь прост. Вот лишь несколько примеров, подтверждающих это.

Междометие. Неизменяемая часть речи, которая служит для выражения чувств и волевых импульсов, но не называет их (1).

Агглютинация. Механическое присоединение однозначных стандартных аффиксов к неизменяемым корням или основам (2).

Грамматическая категория. Совокупность всех однородных граммем (3).

Далеко не очевидно, что и почему в определениях (1-3) выражает ближайшее родовое понятие для термина *междометие*: "часть речи"?, "неизменяемая часть речи"?, "часть речи, которая служит для выражения чувств и импульсов"?, "неизменяемая часть речи, которая служит для выражения чувств и волевых импульсов"? и т.п. Аналогично, далеко не очевиден ответ на вопрос о том, каково ближайшее родовое понятие для определяемого подобным образом термина *агглютинация*: "присоединение"?, "механическое присоединение"?, "присоединение аффиксов"?, "присоединение стандартных аффиксов?", "присоединение однозначных стандартных аффиксов"?, "присоединение аффиксов к корням или основам?" и т.п. В третьем примере эти же

вопросы ставят текстовые фрагменты — "совокупность граммем", "совокупность однородных граммем", "совокупность всех однородных граммем".

В некоторых работах отмечается, что "ближайший родовой признак в классификационной дефиниции обозначается существительным или номинативным словосочетанием в именительном падеже" [Суперанская и др. 1989: 168]. Однако вопрос о том, каким именно "существительным или номинативным словосочетанием" текстовой формулировки определяющего выражения обозначено ближайшее родовое понятие, остается открытым. Следовательно, остается открытым и вопрос о структуре родовидового определения, и вопрос о родовидовой иерархии соответствующих понятий. Кроме того, можно предполагать, что и статус самого определения и, в частности, его идентификация как родовидового до ответа на поставленные вопросы остаются неясными.

Настоящая статья ставит целью предложить решение сформулированных вопросов об установлении родовидовой иерархии терминов и понятий, предложить процедуры соответствующего лингвистического анализа и обсудить результаты применения этих процедур к тематической области языкознания и, соответственно, к материалу определений лингвистических терминов. Конкретным предметом изучения нам будут служить лингвистические термины и их определения, содержащиеся в широко известных словарных изданиях — лингвистическом энциклопедическом словаре [ЛЭС] и в словаре лингвистических терминов О.С. Ахмановой [Ахманова 1967] (при этом не влияющие на содержательную сторону дела незначительные изменения формулировок, отмеченные скобками "[]"; опускание в целях экономии места части определяющего выражения, также не влияющее на результаты рассмотрения, обозначается отточием "..."). В ряде случаев используются также дефиниционные формулировки из работы А.А. Зализняка [Зализняк 1967].

При этом мы исходим из некоторых установок на природу термина и терминологических определений, описанных в публикациях [Шелов 1982; 1987; 1990а; 1990б], из числа которых здесь нам необходимо отметить лишь следующие.

Первым моментом такого рода является то, что **наличие дефиниции какого-либо слова или словосочетания признается достаточным для того, чтобы это слово или словосочетание считать обладающим известной мерой понятийной специальности и, соответственно, известной мерой терминологичности**.

Вторым моментом теоретических представлений этого рода является тезис о том, что **совокупность терминологических понятийных отношений** и, в частности, родовидовых отношений **не должна постулироваться, но должна выводиться из текстового материала и, в первую очередь, материала определений**. Таким образом, нас интересует совокупность родовидовых отношений, как она задается **дефинициями и только дефинициями**, в которых эта совокупность явно выражена и не требует интерпретации, отличной от буквального понимания текста определений.

Наконец, третьим моментом этого типа является допущение о существовании лингвистически отточенной, абсолютно ясной и последовательной системы определений, отвечающей всем логическим и лингвистическим требованиям, которые предъявляются к системе определений. Подобное допущение является весьма сильным и, вообще говоря, в полном объеме выполняется на практике исключительно редко (хотя степень выполнения соответствующих требований для нормативной терминологии значительно выше, чем для ненормативной [Шелов 1990б]). И все же подобная установка представляется вполне уместной: предпочтительно иметь ясное представление на уровне теоретических модельных идеализаций, чтобы в дальнейшем либо достичь необходимой степени приближения к уровню идеализаций, либо разрабатывать некоторые общие правила, учитывающие различные отклонения от идеала, — альтернативные пути заведомо обречены на ограничение методами ad hoc.

При сделанных допущениях ответом на поставленные вопросы является такой анализ текста определяющего выражение, который выделяет две его части, а именно: фрагмент текста, выражающий ближайшее родовое понятие, и фрагмент или фраг-

менты текста, выражающие видовой признак данного понятия. Первую часть естественно называть **родовым фрагментом дефиниции** (или просто **родовым фрагментом**), а вторую часть — **видовым фрагментом дефиниции** (или просто **видовым фрагментом**). Поскольку определяющее выражение родовидовых дефиниций представляет собой субстантивное словосочетание с существительным в главной синтаксической роли, подобный анализ сводится к анализу соответствующей субстантивной конструкции, причем родовой фрагмент занимает в нем главное, синтаксически независимое положение, а видовой фрагмент всегда находится в отношении синтаксического подчинения к какому-либо слову родового фрагмента.

Попытаемся теперь найти некоторые критерии, которым должен удовлетворять родовой фрагмент определяющего выражения.

Прежде всего обратим внимание на то, что родовой фрагмент дефиниции, являющийся частью определяющего выражения, должен обладать свойством смысловой завершенности, законченности, полностью повторяя структуру определяющего выражения (иногда, возможно, в более явном, более эксплицитном виде). Рассмотрим следующие определения:

Корень. Центральная часть слова, остающаяся неизменной в процессах морфологической деривации и являющаяся носителем вещественного, лексического значения этого слова (4).

Парадигматическая схема слова. Набор словоизменительных грамматических значений, представленных в парадигме [данного] слова (5).

Грамматический разряд слов. Совокупность всех слов, имеющих одинаковую парадигматическую схему (6).

Граммема. Компонент грамматической категории, представляющий собой по своему значению видовое понятие по отношению к значению грамматической категории как понятию родовому (7).

Инкорпорация. Способ синтаксической связи компонентов словосочетания или всех членов предложения, при котором компоненты соединяются в единое целое... (8).

Заметим, что в этих определениях слова *часть, набор, совокупность, компонент, способ* и т.п. сами по себе не выражают родовых понятий определяемых терминов. В самом деле, в лингвистике "части", "части вообще" не подразделяются на части слов и, скажем, части предложения. В равной степени языкознание не занимается классификациями "совокупностей вообще" (совокупностей чего угодно!), "множеств вообще" (множеств чего угодно!) и т.п.

В специальной сфере общения невозможны диалоги типа: *"Какая это часть? — Это — часть слова"; "Какая это совокупность?" — "Это — совокупность текстов"; "Какая это система?" — "Это — система форм"* и т.п. Сам вопрос "Какой?", "Какая?" в специальной сфере общения распространяется на понятийно очерченные и завершенные ментальные конструкции. Соответственно бессмысленными оказываются вопросы типа: является ли данная часть (часть вообще?!) частью словоформы? является ли данная совокупность (совокупность вообще?!) совокупностью текстов? Совершенно аналогично, "присоединения" ("присоединения" вообще) не классифицируются в языкознании на присоединения, скажем, аффиксов и присоединения корней. Хотя аффиксы и корни являются объектами языкознания, подобная "классификация" (если вообще здесь возможно говорить о таковой) осуществляется в общем языке с помощью его синтаксиса, но не в предметной области лингвистики. В предметной же области языкознания без понятийной законченности слова *присоединение*, для которой необходимы ответы на вопросы о том, что и к чему присоединяется, невозможно говорить ни об иерархически предшествующем родовом понятии, ни о его классификации по какому-либо основанию.

Отсюда и вытекает требование смысловой законченности соответствующего субстантивного словосочетания. В поисках "лингвистического гаранта", обеспечиваю-

щего выполнение этого требования, естественно обратиться к понятию "валентность". Введенное в научный обиход Л. Теньером и развиваемое в огромном числе публикаций (из которых сошлемся лишь на работы [Апресян 1974; Степанова, Хельбиг 1978; Кибардина 1979; VSC 1978]), оно считается принципиальным для установления условий, при которых обеспечивается семантическая законченность главного слова словосочетания. Считается, что имеет место семантическая законченность главного слова, если у него заполнены все его синтаксические валентности. Применительно к задачам настоящей работы соответствующее субстантивное выражение естественно считать понятийно завершенным, законченным, если у всех его слов заполнены все синтаксические валентности, ср.: часть — чего? компонент — чего? совокупность — чего? система — чего? способ — чего? и т.п.; аналогично, предшествование — чего и чему?, присоединение — чего и к чему? уподобление — чего и чему? и т.п.

В то же время родовой фрагмент определяющего выражения должен называть не только какое-то законченное понятие, но и обязательно **специфическое понятие** какой-либо области, подлежащее классификационному делению. Рассмотрим, например, следующие дефиниционные формулировки.

Фраза 3. Интонационно-смысловое единство, ограниченное с двух сторон паузами (9).

Многосоюзие. Принцип построения текста, при котором последующие повествовательные единицы (или их части) присоединяются к предыдущим одним и тем же (обычно соединительным) союзом (10).

Текст. Объединенная смысловой связью последовательность знаковых единиц, основными свойствами которой являются связность и цельность (11).

Для соответствующих терминов не называют ближайших родовых понятий текстовые фрагменты "единство", "принцип", "последовательность единиц". Фрагменты эти, безусловно, обозначают понятия, но понятия общеязыковые и не специфические для тематической области языкознания или какой-либо смежной с ней; как таковые просто "единства", "принципы", "последовательности единиц" не классифицируются в языкознании ни вообще, ни данными определениями в частности, и никакого классификационного деления этих понятий, столь характерного для родовидового определения, здесь не происходит.

Ситуация меняется на противоположную, если в качестве родовых фрагментов взять фрагменты "интонационно-смысловое единство", "принцип построения текста", "последовательность знаковых единиц", которые бесспорно, являются специфическими для лингвистической области, а специфичность эта обусловлена наличием в составе этих фрагментов терминов или их производных, выражающих соответствующие понятия, ср. *интонация, смысл, текст, знак (знаковая единица)* (отметим, кстати, что все они, кроме термина *смысл*, имеют самостоятельные словарные статьи в ЛЭС). При этом и соответствующие субстантивные выражения приобретают явно выраженный классификационный статус: интонационно-смысловое единство может быть ограничено, а может и не быть ограничено с двух сторон паузами; принцип построения текста может состоять в том, что последующие повествовательные единицы (или их части) присоединяются к предыдущим одним и тем же союзом, а может и не состоять в этом; последовательность знаковых единиц может быть объединена смысловой связью, а может и не быть. Таким образом, **специфичность родового понятия заведомо достигается**, если соответствующий фрагмент текстовой формулировки определяющего выражения содержит ранее определенный (дефинированный) термин или производные в понятийном отношении от него.

Однако установление в тексте определяющего выражения его законченного по смыслу фрагмента, выражающего специфическое родовое понятие, еще не гарантирует того, что соответствующий фрагмент и будет родовым фрагментом дефиниции,

поскольку ищется конструкция, выражающая **ближайшее** родовое понятие, т.е., в логических терминах, максимальное по содержанию — для данного определения — понятие. Соответствующая субстантивная конструкция должна, следовательно, выражать "максимально насыщенное" специфическими признаками терминологическое понятие из числа вообще всех специфических терминологических понятий, которые выражаются в данном определении (иначе оно не было бы **ближайшим** родовым понятием). Соответствующее понятие выражается, по-видимому, "максимальной" по своей словесной длине и лексико-синтаксической структуре конструкцией, включающей "максимальный термин", ср.: не "часть речи", а "неизменяемая часть речи", не "набор значений" (и не "набор грамматических значений"), а "набор словоизменительных грамматических значений", не "присоединение аффиксов к корням или основам", а "присоединение однозначных аффиксов к неизменяемым корням или основам". В этих примерах понятие "неизменяемая часть речи" — специфическое понятие данной области, равно как и понятие "словоизменительное грамматическое значение" или "однозначные аффиксы" или "неизменяемые корни или основы". Этим и обусловлены соответствующие границы родового фрагмента в вышеприведенных дефинициях.

В то же время условие "максимальности **термина**", входящего в состав определяющего выражения означает, что результат дальнейшего лексико-синтаксического увеличения субстантивного выражения хотя бы на одно знаменательное слово не приводит к выделению дополнительных специальных признаков понятия и, соответственно, к выделению какого-либо специального термина данной или смежной области. Подобное увеличение лишь превращает найденный на предыдущих этапах синтаксического анализа терминологическое словосочетание в свободное сочетание слова общего языка с выделенным ранее терминологическим словосочетанием, ср. "неизменяемая часть речи, которая служит для (чего-то)" (нет термина *неизменяемая часть речи, которая служит для* (чего-то)), "механическое присоединение однозначных стандартных аффиксов к неизменяемым корням или основам" (нет специфических, специально толкуемых терминов (и понятий) *механическое присоединение* или *стандартный аффикс*), "совокупность всех однородных граммем (нет специального термина *все однородные граммемы*), "объединенная (некоторой) связью последовательность знаковых единиц" (нет специфического термина *объединенная* (*некоторой*) *связью последовательность знаковых единиц*, отличного от термина *последовательность знаковых единиц)* и т.п. Соответствующее лексическое распространение, расширяя лексико-синтаксическую структуру определяющего выражения и изменяя его понятийное содержание, уже не добавляет специфического содержания к понятию данной области. Не специальное по своему понятийному содержанию слово, вместе со всеми синтаксически ему подчиненными, не имея отношения к выражению ближайшего родового понятия, называет лишь какой-либо видовой признак соответствующего родового понятия, ср.: не просто "неизменяемая часть речи", но "неизменяемая часть речи, которая служит для (чего-то)", не просто "присоединение однозначных аффиксов к неизменяемым корням или основам", но именно "механическое присоединение", причем именно "стандартных аффиксов", не просто "совокупность однородных граммем", а именно "всех однородных граммем" и т.п. Формулировка определяющего выражения предполагает, что если соответствующие слова опустить, то содержание оставшегося фрагмента не называется определяемым термином: скажем, совокупность не всех слов, имеющих одинаковую парадигматическую схему (а только их части), не называется грамматическим разрядом слов. В этом отношении принцип выделения родового фрагмента является как бы лингвистическим аналогом логического принципа per genus proximum et differentiam specificam.

Итак, мы перечислили три критерия, которым должно удовлетворять смысловое содержание некоторого субстантивного фрагмента определяющего выражения, для того, чтобы это выражение считалось родовым фрагментом: 1) его смысловая

(семантическая) законченность, 2) специфичность названного им понятия и 3) максимальная насыщенность признаками этого понятия в рамках специфического понятия данной или смежной области. Сформулируем теперь положение о том, что же представляет из себя родовой и видовой фрагменты родовидового определения термина. **Родовым фрагментом определяющего выражения является его минимальная семантически законченная и синтаксически главная, независимая текстовая часть, включающая максимальный (по лексико-синтаксической структуре) ранее определенный термин (или свободное сочетание ранее определенных терминов); оставшаяся часть определяющего выражения представляет из себя формулировку видового признака ближайшего родового понятия (если эта часть синтаксически относится к одному слову) или соединение (конъюнкцию) видовых признаков (если эта часть синтаксически относится к разным словам).**

Какова же процедура анализа определений 1–11 и ее результаты в соответствии с этим положением?

Если воспользоваться синтаксическим анализом по дереву зависимостей, то для рассматриваемых примеров имеем:

междометие – часть речи – неизменяемая часть речи; *агглютинация* – присоединение – присоединение аффиксов – присоединение аффиксов к корням или основам – присоединение однозначных аффиксов корням или основам – присоединение однозначных аффиксов к неизменяемым корням или основам; *грамматическая категория* – совокупность – совокупность граммем – совокупность однородных граммем; *корень* – часть – часть слова; *парадигматическая схема слова* – набор – набор значений – набор грамматических значений – набор словоизменительных грамматических значений; *грамматический разряд слов* – совокупность – совокупность слов; *граммема* – компонент – компонент категории – компонент грамматической категории; *инкорпорация* – способ – способ связи – способ связи компонентов – способ связи компонентов словосочетания или членов – способ связи компонентов словосочетания или членов предложения – способ синтаксической связи компонентов словосочетания или членов предложения; *фраза 3* – единство – интонационно-смысловое единство; *многосоюзие* – принцип – принцип построения – принцип построения текста; *текст* – последовательность – последовательность единиц – последовательность знаковых единиц.

Таким образом, результирующие пары "определяемый термин – формулировка ближайшего родового понятия" таковы: *междометие* – неизменяемая часть речи; *агглютинация* – присоединение однозначных аффиксов к неизменяемым корням или основам; *грамматическая категория* – совокупность однородных граммем; *корень* – часть слова; *парадигматическая схема слова* – набор словоизменительных грамматических значений; *грамматический разряд слов* – совокупность слов; *граммема* – компонент грамматической категории; *инкорпорация* – способ синтаксической связи компонентов словосочетания или членов предложения; *фраза 3* – интонационно-смысловое единство; *многосоюзие* – принцип построения текста; *текст* – последовательность знаковых единиц.

Ниже, в **Приложении 1** приводятся дополнительные примеры лингвистических терминов, их определений из ЛЭС и результаты поиска родового фрагмента, выражающего ближайшее родовое понятие для определяемого термина.

Вычленив родовой фрагмент определения, нетрудно установить видовые фрагменты того же определяющего выражения; ими являются оставшиеся части определяющего выражения. Если этих частей несколько, т.е. соответствующие части синтаксически подчинены разным словам, то и видовых фрагментов несколько (а содержательно видовой признак представляет собой конъюнкцию, соединение всех признаков, выраженных различными видовыми фрагментами); если же оставшаяся часть синтаксически подчинена одному слову, то вся она и выражает один видовой признак. При этом формулировка видового признака отнюдь не обязана синтаксически

соотноситься только с главным словом формулировки родового понятия; в этом смысле результаты синтаксического и логико-понятийного анализа текста определяющего выражения дефиниций в некоторых существенных отношениях могут не совпадать.

Так, выше для термина *агглютинация* видовыми признаками ближайшего родового понятия ("присоединение однозначных стандартных аффиксов к неизменяемым корням или основам") оказывается соединение, конъюнкция признаков "механическое" и "стандартных"; для термина *грамматическая категория* видовым признаком ближайшего родового понятия ("совокупность однородных граммем") оказывается признак "всех"; для термина *парадигматическая схема слова* видовым признаком ближайшего родового понятия ("набор словоизменительных грамматических значений") оказывается признак "представленных в парадигме [данного] слова"; для термина *грамматический разряд слов* видовым признаком ближайшего родового понятия ("совокупность слов") оказывается соединение, конъюнкция признаков "всех" и "имеющих одинаковую парадигматическую схему"; для термина *текст* видовым признаком ближайшего родового понятия ("последовательность знаковых единиц") оказывается соединение, конъюнкция признаков "объединенная смысловой связью" и "основными свойствами которой являются связность и цельность". Разнообразие различных соотношений синтаксической структуры определяющего выражения и его разбиения на родовой и видовой фрагменты более подробно описано в работах [Шелов 1994; 1995]. Здесь нам важно только то, что формулировка видового признака синтаксически не относится к главному слову формулировки родового понятия, из-за чего в вышеназванных работах подобная структура определяющего выражения называется **синтаксически смещенной.**

В то же время синтаксическая "смещенность" определяющего выражения не препятствует выполнению им задачи номинации видового признака соответствующего понятия, ср. понятийную осмысленность вопросов и логическую корректность (для данной системы определений) ответов на них:

Какое соответствие между ролями глагольной лексемы и членами предложения называется диатезой? – Такое соответствие, при котором члены предложения выражают эти роли глагольной лексемы.

Какое отношение между компонентами высказывания называется кореферентностью? – Такое, при котором компонентами высказывания обозначают один и тот же внеязыковой объект или ситуацию...

Какая система рядов грамматических форм называется грамматической категорией? – Во-первых, это система противопоставленных друг другу рядов грамматических форм, и во-вторых, это система грамматических форм с однородными значениями.

Какой именно лексико-семантический класс знаменательных слов следует считать по определению местоименными словами? – Такой лексико-семантический класс знаменательных слов, что его знаменательные слова принадлежат к различным частям речи и обладают "местоименным" типом лексического значения.

Любую ли семантическую и структурную соотнесенность морфем с [какими-либо] морфемами следует считать внутренней формой слова? – Нет, не любую, а только такую, при которой [эти] морфемы составляют слово.

Представленный материал, как кажется, обнаруживает хорошее соответствие с интуитивными представлениями о членении определяющего выражения дефиниции на родовой и видовые фрагменты. В то же время он имеет и вполне прозрачную лингвистическую интерпретацию. Если логико-философский принцип родовидового определения, начиная с античной традиции, может быть выражен словами: "Формулировка родового понятия отражает суть вещи" [Аристотель 1978], то лингвосемантический принцип родовидового определения мог бы звучать так: "Формулировка родового понятия отражает понятие, ближайшее к определяемому в понятийном про-

странстве данной области или смежных с ней". Таковы, в представленном материале соотношения (см. **Приложение 1**):

аблаут – чередование гласных; *аккомодация* – приспособление артикуляций согласного и гласного; *антиципация* 1 – отклонение от последовательности элементов анафоры; *ассимиляция* – артикуляционное уподобление звуков; *гаплология* – выпадение одного из слогов; *гравис* – тон слогов и т.д.

В этом смысле интересно одно из возможных практических приложений полученных результатов и, особенно, к задачам информационного обеспечения словарно-терминологических изданий. Каковы должны быть предметные указатели к терминологическим словарям, энциклопедиям, справочникам и, в частности, какие единицы следует включать в них? Один из ответов на поставленный вопрос, учитывая сказанное, мог бы заключаться в следующем: в предметный указатель подобных изданий непременно должны включаться термины и их свободные сочетания, встречающиеся в родовых фрагментах определений всех терминов, включенных в данное издание. Следует в этой связи отметить некоторую непоследовательность чрезвычайно полезного в целом предметного указателя к ЛЭС. Так, в нем указывается, что выражение *форма языка* встречается в энциклопедической статье термина *гумбольдтианство*, однако выражение *форма речи*, которое не только встречается в некоторых энциклопедических словарных статьях, но является родовым для терминов *диалогическая речь* и *монологическая речь*, в нем просто отсутствует. Аналогично, в нем указывается, что термин *гласная мора* встречается в словарной статье термина *мора* (отметим, что не в дефиниции этого термина, а просто в тексте его энциклопедической статьи), однако отсутствует указание на то, что в словарной статье термина *монофтонг* имеется термин *гласный*, который, согласно представленной дефиниции термина *монофтонг*, является родовым для него. Точно также, существенно, что термин *лексико-грамматическая категория* встречается в энциклопедической статье термина *категория* (указатель фиксирует этот факт), однако, возможно, не менее существенно то обстоятельство, что термин *лексико-грамматическая категория* используется в формулировке родового понятия при определении термина *именные классы*, что никак не отмечено в указателе, и т.п.

Вместе с тем необходимо отметить, насколько нам известно, и новые теоретические аспекты логико-лингвистического анализа текста родовидовых определений. Прежде всего мы имеем в виду несовпадение чисто синтаксического и логико-понятийного членения определяющего выражения, под которым подразумеваются факты разрывности формулировки видовых признаков определяемого понятия, факты синтаксической связи формулировки видового признака не с главным словом формулировки родового понятия, а с другими ее словами и т.п. В свете исследований соотношения синтаксиса и семантики синтаксических конструкций такое несовпадение представляется вполне естественным, ср., например, работы [Падучева 1974; Корельская, Падучева 1978]. Кроме того, проведенный анализ родовидовых дефиниций, как можно надеяться позволяет изменить и уточнить наше представление о них в целом (ср. с уточнением по логико-лингвистическим причинам понятий "прямая теорема" и "обратная теорема" в работе [Корельская, Падучева 1978]). По-видимому, не любое определение субстантивного термина с помощью некоторой субстантивной конструкции следует считать родовидовым. Например, определения (12-13) не являются, по нашему мнению, родовидовыми, ибо в их определяющем выражении не называются какие-либо специфические понятия вообще:

Азбуковники. Русские анонимичные рукописные сборники статей учебного, энциклопедического или нравоучительного характера (12).

Многоязычие. Употребление нескольких языков в пределах определенной социальной общности (прежде всего государства) (13).

С другой стороны, рассмотрим дефиниции 14-15, представляющие собой несколько измененные определения ЛЭС:

Метатеза. Перестановка звуков или слогов слова (14).

Лексикализация. Превращение морфемы, словоформы или словосочетания в слово или во фразеологизм. (15).

Определяющее выражение этих дефиниций содержит термины данной области (*звук, слог слова, морфема, словоформа, словосочетание* и т.п.) и, следовательно, их смысл имеет в качестве понятийной компоненты некоторое специфическое терминологическое понятие. Однако соответствующие термины занимают в определяющей формулировке слишком низкое синтаксическое положение, а сама формулировка не имеет других лексико-синтаксических распространителей, чтобы в ней можно было выделить некоторый видовой фрагмент. Но коль скоро выделение родового и видового фрагментов оказывается невозможным и сами определения не могут классифицироваться как родовидовые, в связи с чем в работах [Шелов 1994; 1995] они рассматриваются как особый вид **неспецифических определений**, который представляет из себя отдельный и, по-видимому, ранее не выделявшийся тип дефиниций.

Приложение 1

Термин, определение и родовой фрагмент определения

Термин	Определение	Родовой фрагмент
Аблаут	[Чередование гласных, фонетически не обусловленное и выражающее... словоизменительные и словообразовательные значения].	[Чередование гласных]
Аккомодация	[Частичное приспособление артикуляций смежных согласного и гласного]	[Приспособление артикуляций согласного и гласного]
Анафорическое отношение	Отношение между языковыми выражениями (словами или словосочетаниями), состоящее в том, что в смысл одного выражения входит отсылка к другому	Отношение между языковыми выражениями (словами или словосочетаниями)
Антиципация 1	[Отклонение от обычной линейной последовательности элементов анафоры]	[Отклонение от последовательности элементов анафоры]
Антиципация 2	Предшествование местоименного обозначения замещаемому им слову	Предшествование местоименного обозначения слову
Ассимиляция	[Артикуляционное уподобление звуков (друг другу) в потоке речи в пределах слова или словосочетания]	[Артикуляционное – уподобление звуков]
Гаплология	[Выпадение вследствие диссимиляции одного из двух непосредственно следующих друг за другом одинаковых (или сходных) слогов]	[Выпадение одного из слогов]
Гравис	Тон слогов в древнегреческом языке, характеризующийся отсутствием повышения голоса	Тон слогов
Грамматическая категория	Система противопоставленных друг другу рядов грамматических форм с однородными значениями.	Система рядов грамматических форм

Термин	Определение	Родовой фрагмент
Грамматическое значение	Обобщенное, отвлеченное языковое значение, присущее ряду слов, словоформ, синтаксических конструкций и находящее в языке свое регулярное (стандартное) выражение	Языковое значение
Граммема	Компонент грамматической категории, представляющий собой по своему значению видовое понятие по отношению к значению грамматической категории как понятию родовому	Компонент грамматической категории
Дейксис	Указание как значение или функция языковой единицы, выражаемое лексическими и грамматическими средствами	Указание как значение или функция языковой единицы
Диатеза	Соответствие между ролями глагольной лексемы и выражающими их членами предложения	Соответствие между ролями глагольной лексемы и членами предложения
Диссимиляция	[Расподобление артикуляции двух или более одинаковых или подобных звуков в пределах слова]	[Расподобление артикуляции звуков]
Дифтонг	Сложный гласный, состоящий из двух элементов, образующих один слог	Гласный
Звукоподражание	Закономерная, не произвольная фонетически мотивированная связь между фонемами слова и лежащим в основе номинации звуковым (акустич.) признаком денотата (мотивом)	Фонетически мотивированная связь между фонемами слова и признаком денотата
Звукосимволизм	Закономерная, не произвольная, фонетически мотивированная связь между фонемами слова и полагаемым в основу номинации незвуковым (неакустическим) признаком денотата (мотивом)	Фонетически мотивированная связь между фонемами слова и признаком денотата
Знаки препинания	Система графических внеалфавитных знаков, образующих вместе с графикой и орфографией основные средства письменного языка	Система графических внеалфавитных знаков
Именные классы	Лексико-грамматическая категория существительного, состоящая в распределении имен	Лексико-грамматическая категория существительного
Инверсия 1	Отклонение порядка членов предложения от наиболее распространенного [порядка членов предложения]	Отклонение порядка членов предложения от [какого-то] порядка членов предложения
Инверсия 2	Отклонение от порядка членов предложения, которое не связано с изменением синтаксических связей и актуального членения предложения	Отклонение от порядка членов предложения
Инклюзив	Местоименная форма, выражающая включенность адресата речи	Местоименная форма

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Апресян А Д 1974 – Лексическая семантика Синонимические средства языка М , 1974

Аристотель 1978 – Топика Кн 6 // Соч в 4-х т Т 2 М , 1978

Аристотель 1978 – Вторая аналитика // Соч в 4-х т Т 2 М , 1978

Ахманова О С 1967 – Словарь лингвистических терминов М , 1967

Волкова И Н 1986 – Моделирование определений в терминологических стандартах // Современные проб лемы русской терминология М , 1986

Зализняк А А 1967 – Русское именное словоизменение М , 1967

Канделаки Т Л 1971 – Родо-видовой метод анализа семантики терминов и границы его применения // Семиотические проблемы языков науки, терминологии и информатики Ч II М 1971

Кибардина С М 1979 – Основы теории валентности Вологда, 1979

Корельская Т Д Падучева Е В 1978 – Обратная теорема (алгоритмические и эвристические процессы мышления) М , 1978

КМП 1979 – Краткое методическое пособие по разработке и упорядочению научно-технической терминологии М , 1979

Лотте Д С 1961 – Основы построения научно-технической терминологии Вопросы теории и методики М , 1961

Лотте Д С 1971 – Краткие формы научно-технических терминов М , 1971

ЛЭС 1990 – Лингвистический энциклопедический словарь М , 1990

Никитина С Е 1987 – Семантический анализ языка науки На материале лингвистики М , 1987

Никитина С Е 1978 – Тезаурус по теоретической и прикладной лингвистике (автоматическая обработка текста) М , 1978

Падучева Е В 1974 – О семантике синтаксиса (Материалы к трансформационной грамматике русского языка) М , 1974

Степанова М Д Хельбиг Г 1978 – Части речи и проблема валентности в современном немецком языке М , 1978

Суперанская А В и др 1989 – Суперанская А В , Подольская Н В , Васильева Н В Общая терминология Вопросы теории М , 1989

Шелов С Д 1987 – Логическое и лингвистическое в определении терминов (об одном синтаксическом правиле определения) // ИАН СЛЯ 1987 № 2

Шелов С Д 1982 – О языковой природе термина // Научно-техническая информация Сер 2 1982 № 9

Шелов С Д 1990а – Об определении лингвистических терминов (опыт типологии и интерпретации) // ВЯ 1990 № 3

Шелов С Д 1990б – О типологии определений терминов (опыт сравнения нормативных и ненормативных терминологических словарей) // Научно-техническая терминология 1990 № 4

Шелов С Д 1994 – Понятийная структура терминологии и определение терминов (Ч I) // Научно-техническая терминология 1994 № 2

Шелов С Д 1995 – Понятийная структура терминологии и определение терминов (Ч 2) // Научно техническая терминология 1995, № 1

Martin W 1992 – On the parsing of definitions // EURALEX'92 PROCEEDINGS I–II Papers submitted to the 5th EURALEX International Congress Pt. 1 Tampere 1992

Meyer I et al 1992 – Meyer J , Bowker L., Eck K COGNITERM An experiment in building a terminological knowledge base // EURALEX'92 PROCEEDINGS I–II Papers submitted to the 5th EURALEX International Congress Pt 1 Tampere, 1992

TKE'90 1990 – Terminology and knowledge engineering V 1 Frankfurt-am-Main 1990

VSC 1978 – Valence, semantic case and grammatical relations / Ed by W Abraham Amsterdam 1978

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1996

© 1996 г. Б.Б. ХОДОРКОВСКАЯ

ОБ АНАФОРИЧЕСКОМ МЕСТОИМЕНИИ В ИТАЛИЙСКИХ ЯЗЫКАХ

В индоевропейских языках анафорическое местоимение с корнем *i- (напр. др.-инд. *ayám, iyám, idám*, авест. *ayəm, īm, imat*, лат. *is, ea, id*, гот. *is, si, ita*, лит. *jìs, jì*) выделяется среди других местоимений, имеющих формы рода, сложностью и нерегулярностью парадигмы. Уже один этот факт может указывать на то, что парадигма неоднократно перестраивалась и в какой-то части представляет собой реликт более древней системы. В свое время К. Бругман писал, что ни у одного местоимения, имеющего формы рода, и вообще ни у одного склоняемого слова парадигма не характеризуется столь пестрым разнообразием форм, как у местоимения *i-. [Brugmann 1908:42]. Полагая, что в падежной системе индоевропейских местоимений супплетивизм играл значительную роль, К. Бругман утверждал и для этого местоимения супплетивные корни *i-, *e- [Brugman 1911:307]. Это положение принято многими лингвистами и поныне [Семереньи 1980:220; Beekes 1982:209; Seebold 1984:62; Klingenschmitt 1987:184]. Основным аргументом, подтверждающим наличие корня *e- в формах местоимения *i-, считается форма генитива ед. ч. лат. *eius*, др.-инд. *asyá*, на основании чего реконструируется и.-е. *e-sjo, и датива ед. ч. умбр. *esmei*, др. инд. *asmai* (*e-smei) [Brugmann 1911:327; Семереньи 1980:220]. Но известно и другое мнение. Современник К. Бругмана известный исследователь оскско-умбрского языка Р. фон Планта считал, что предположение о супплетивных корнях *i-, *e- недостаточно обосновано и что имеется один местоименный корень *i-/ei- [Planta 1897:212]. М. Лойман отмечает, что сопоставление латинского генитива *eius* и др.-инд. *asyá* предполагает, что сочетание -*sj*- имело отражение в латинском языке в виде -*jj*-, но ни одного примера, подтверждающего этот переход, нет [Leumann 1977:477]. Я. Сафаревич пишет, что происхождение окончания латинского генитива -*ius* не известно. Основами латинского местоимения *is* он считает *i-/ej-* и *ejo-/ā-*[Safarewicz 1969:176, 177].

Помимо формальной стороны не вполне ясен вопрос о первичном значении местоимения *i-. В индоиранских языках оно имеет значение "этот" и относится к числу указательных местоимений, что дало основание Бругману отнести его к числу местоимений с "Я-дейксисом" и считать анафорическое значение вторичным [Brugman 1904:39]. Напротив О. Семереньи и Э. Зебольд считают местоимение *i- исконно анафорическим [Семереньи 1980:220, Seebold 1984:62].

Цель настоящей статьи – исследование местоимения *i- в италийских языках, особенно в оскском и умбрском, изолированное положение которых на западной окраине индоевропейского ареала могло способствовать сохранению в них отдельных архаичных черт в морфологии и синтаксисе. Чтобы выявить путь формирования парадигмы склонения этого местоимения в дописьменном периоде истории предпринята попытка внутренней реконструкции.

Характерной чертой местоимения *i- во всех италийских языках является формант номинатива ед. ч. -*s* (лат. *is*, оск. *izic* (*is-i-k*), умбр. *erek* (*is-i-k*), которого нет у

указательных местоимений (ср. лат. *hic* "этот", *ille* "тот"). Окончание номинатива *-s* имеется в местоименном склонении, помимо *is*, только у вопросительного местоимения (лат. *quis* "кто", оск. *pis*, ср.-др.-греч. τίς, хет. kuiš). Корреляция форм местоимений *quis* и *is* очевидна:

в латинском	Nom. *quis, quid – is, id*	в оскском	Nom. ***pis, pid*** *– izic,* ***ídík***
	Acc. quem – арх. im		Acc. *phim – ionc*
	Dat. quoi – ei	в умбрском	Dat. ***pusme*** *– esmei*

Соотношению этих двух местоимений в плане выражения отвечает соотношение в плане содержания: на вопрос *quis* "кто?" следует ответ *is* "тот (о ком спрашивают)", где с вопросительным значением одного местоимения соотносится анафорическое значение другого. Такое же структурное сходство имеется в наречиях, образованных от тех же местоименных корней умбр. ***pufe*** "где" – умбр. ***ife***, лат. *ibi* "там". Корреляция форм и значений этих двух местоимений позволяет предполагать, что анафорическое местоимение, подобно вопросительному местоимению лат. *quis* "кто", *quid* "что", первоначально имело только две формы номинатива *is – id* и так же две формы аккузатива *im – id*, служившие противопоставлению значений "лицо" – "предмет". Следует отметить, что соответствующая латинской форме *im* кипрская форма аккузатива ἶν толкуется в словаре Гезихия посредством двух местоименных форм мужского и женского рода αὐτόν, αὐτήν, т.е. имеет значение лица, а не грамматического рода. [Walde–Hofmann 1938:720]. Предположение о двух изначальных формах номинатива и соответственно аккузатива местоимения **i-* поддерживается тем, что в италийских языках имеется различие в синтаксическом употреблении форм номинатива и аккузатива мужского и женского рода.

В оскских и умбрских текстах формы номинатива оск. *izic*, умбр. ***erek*** и аккузатива оск. *ionc* указывают только на лицо. Они имеют субстантивную функцию и входят в состав анафорической конструкции *pi-/po- : i-* "кто : тот, он". Ve[1] 2,7 *piei ex comono pertemest izic eizeic zicel[ei] comono ni hipid* "кому воспрепятствует в (проведении) собрания, тот в этот день пусть не имеет собрания". Ve 2,14 *suae pis ... dicust izic comono ni hipid* "если кто-нибудь ... скажет, он пусть не имеет собрания". Tab. Ig. Va 11 ***affertur pisi pumpe fust erek*** ... "кто будет жрецом, тот..." VIb 50 *ere fertu poe* ... "тот пусть несет, кто..." Ve 2,12 *suaepis ionc fortis ... moltaum herest* "если кто-нибудь захочет сильнее оштрафовать его" (о ком говорилось выше). Ve 2,17 *suae pis contrud exeic fefacust ionc ...moltaum licitud* "если кто-нибудь поступит вопреки этому, его ...можно наказать".

В отличие от форм. оск. *izic*, умбр. ***erek*** форма номинатива женского рода ед. ч. оск. ***ídík*** употребляется чаще как местоимение-прилагательное, согласованное в предложении с определяемым существительным; референтом является не лицо, но какой-нибудь предмет внеязыковой действительности. Ve 1,11 ***inim ídík tríbarakkiuf pam núvlanús tríbarakattuset*** "и ту постройку, которую построят ноланцы ..." Ve 2,4 pon ioc egmo comparascuster "когда это дело (о котором говорилось выше) будет обсуждаться". Ve 74 ***diuvilum tirentium ... iiuk destrst*** "стелу Теренциев ... она справа". Tab. Ig. VIb 16 *ape eam purdinsust* "когда ее (жертвенную лепешку, о которой говорилось выше в VIb 14) протянет". Форма женского рода местоимения **i-* имеет, таким образом, помимо анафорической функции, также атрибутивную функцию, которой нет у форм номинатива и аккузатива оск. *izic*, *ionc*, умбр. ***erek***, и которая, вероятно, изначально была свойственна именно форме женского рода. Соответственно форма женского рода имеет иную основу с другой аблаутной ступенью корневого вокализма **ei̯-ā-*. С воз-

[1] "Ve" обозначает книгу Э. Феттера [Vetter 1953]. В соответствии с принятыми в этом издании обозначениями жирным шрифтом выделяются надписи на национальных алфавитах, обычным – надписи на латинском алфавите.

никновением формы женского рода более ранняя система форм, противопоставленных по семантическому признаку "лицо : предмет" (лат. *is: id*, оск. *izic : ídík*), параллельная так же двухчленной системе форм вопросительного местоимения (лат. *quis : quid*, оск. *pís : píd*), сменилась трехчленной системой с противопоставлением форм по роду лат. *is, ea, id*, оск. *izic, íuík, ídík*.

Наиболее древняя часть парадигмы склонения местоимения **i-* и параллельно парадигмы вопросительного местоимения – номинатив и аккузатив – может быть реконструирована на основании имеющихся в италийских языках форм следующим образом:

Одушевленный род	Неодушевленный род	Одушевл. род	Неодушевл. род
Nom. лат. *quis*, оск. *pís*	Nom. Acc. лат. *quid*, оск. *píd*	Nom. лат. *is*, оск. *izic*	Nom. Acc. лат. *id*, оск. *píd*
Acc. оск. *phim*		Acc. лат. арх. *im*	
Nom. *k^{u}*is*	Nom. Acc. *k^{u}*id*	Nom. **is*	Nom. Acc. **id*
Acc. *k^{u}*im*		Acc. **im*	

Есть основание считать, что эти формы местоимения **i-* на древнейшей ступени истории были так же индифферентны к роду (мужскому и женскому) и к числу, как и формы вопросительного местоимения.

Возникновение на более поздней ступени исторического развития форм женского рода – номинатив **eiā* и аккузатив **eiām* – имело следствием формирование в аккузативе новой формы мужского рода **eiom* на базе уже имевшегося в языке соотношения основ женского рода на *-ā-* и мужского рода на *-o-*. Эта тематическая форма аккузатива мужского рода представлена в италийских языках: лат. *eum*, оск. *ionc*. Поскольку формы номинатива и аккузатива множественного числа имеют те же тематические основы **eio-/ā-*, их также следует считать более поздними образованиями. Вот парадигма склонения местоимения **i-* в италийских языках:

	Оскский			Умбрский		
	муж. р.	жен. р.	ср. р.	муж. р.	жен. р.	ср. р.
Nom. sg.	*izic*	*íuík*[2,3]	*ídík*	*erek*[4,5]	–	*efek*[6]
Acc. sg.	*ionc'*	*íak*	–		*eam*	–
Nom. pl.	*iusc*	–	–	–	–	–
Acc. pl.	–	–	*ioc*	–	*ef*	*eu*
Gen. sg.	*eisels*	–	–	*erer*[7]	*erar*	–
Abl. sg.	*eisíd*	*eisak*	–	*eruku*	*erak*	–
Dat. sg.	–	–	–	*esmei, esmik*	–	–
Loc. sg.	*eisei*	*eisai*	–	*esme*	–	–
Gen. pl.	*eisunk*	*eizazunc*	–	*eru, erom*	–	–
Dat. Abl	*eizois*	*eizasc*	–	*erir-ont*[8]	–	–

[2] Во всех италийских языках отмечается падение интервокального *-i-* [Leumann 1977:126]. В оскском языке *e>i* в хвате [Bottiglioni 1954:26].

[3] Долгое *ā>u, o* в абсолютном конце слова в оскском и умбрском. Примыкающая частица не в счет [Bottiglioni 1954:25].

[4] В оскско-умбрском языке была тенденция к более открытому произношению краткого *i>e*, который в оскском национальном алфавите передавался графемой *í* [Bottiglioni 1954:29; Meiser 1986:43].

[5] В умбрском языке *s>r* в интервокальной позиции и в конце слова [Meiser 1986:240].

[6] В умбрской орфографии спирантизация интервокального *-d-* передавалась графемой *f* [Meiser 1986:218].

[7] В умбрском языке *ei>e* [Meiser 1986:123].

[8] В умбрском языке окончание датива-аблатива мн. ч. *-ois>-is>-ir*.

Характерной особенностью парадигмы местоимения **i-* в оскском и умбрском языках является противопоставление прямых падежей, имеющих основы **i-* и **eio-/ā-*, всем косвенным падежам, у которых основа **eiso-/ā-*. Согласно принятому объяснению,

эта основа была выделена из формы генитива мн. ч. оск. ***eisunk***, ср. др. инд. *eṣā m* (**ei̯-s-ōm*) в результате переразложения основы **ei̯s-ōm* и получила распространение в косвенных падежах [Brugmann 1911:330; Leumann 1977:467; Schmidt 1978:63; несколько иначе Pisani 1964:19]. Однако ответа на вопрос, поставленного в свое время Р. фон Плантой, (почему это распространение охватило только часть падежей и почему именно косвенных падежей) нет [Planta 1897:215].

Рассмотрим эту часть парадигмы анафорического местоимения. В оскском языке, в котором сохранились дифтонги, форма генитива ***eiseis*** более прозрачна, чем умбрские формы *erer, erar*. В оскской форме ***eiseis*** можно выделить более древнюю часть **ei̯s* и видеть в ней архаичную форму генитива от основы *i-*. К этой форме **ei̯-s* позже было вторично присоединено окончание генитива *-eis* именных основ на *-i-* (ср. оск. форму генитива ед. ч. *aeteis* "части" – генитив мн. ч. [*a*]*ítíúm*). Реконструируемая форма генитива **ei̯s* позволяет объяснить латинскую форму генитива *eius* как результат трансформации исконной формы **ei̯s* с флексионной заменой окончания генитива **-s* на **-os*, т.е. **ei̯-s* → **ei̯-os* > *eius* (фонетически *ei̯jus*), ср. замену окончания генитива **-os* на **-es* в имени Venerus – Veneris [Leumann 1977:435].

В умбрском языке имеются две формы генитива: форма мужского рода *erer* (**ei̯sei̯s*) и форма женского рода *erar* (**ei̯sās*). Обе формы в тексте согласованы с существительными-антецедентами в роде, ср. фрагмент текста молитвы в Игувинских таблицах: Tab. Ig. V1a 23 *ocriper ... totaper... erer nomneper erar nomneper* "ради крепости... ради государства... ради имени ее, ради имени его". Наличие в умбрском языке форм генитива мужского и женского рода объясняется тенденцией к проникновению категории рода во все падежи местоимения **i-*, что является инновацией в умбрском языке. В латинском языке, где имеется одна форма генитива, сохраняется более архаичный статус местоимения, при котором в генитиве, имеющем основную синтаксическую функцию определения имени, нейтрализовано противопоставление значений лица и предметности релевантное для номинатива и аккузатива одушевленного и неодушевленного рода.

Умбрская форма генитива женского рода является вторичным образованием от архаичной основы генитива **ei̯s-*, т.е. **ei̯s-ā-s* > *erar*. Соотношение основ женского и мужского рода **ei̯s-ā-*: **ei̯s-o-* определило формы всех косвенных падежей ед. и мн. ч. в оскском языке, имеющих нормальные тематические окончания: аблатив ед. ч. муж. р. ***eísúd*** и жен. р. ***eísak***; датив-аблатив мн. ч. муж. р. *eizois* и жен. р. *eizasc* (**ei̯sai̯s-k*); локатив ед. ч. муж. р. ***eísel*** и жен. р. ***eísal***; генитив мн. ч. муж. р. ***eisunk*** (**ei̯s-ōn-k*) и жен. р. *eizazunc* (**ei̯sā-s-ōn-k*). В форме генитива жен. р. между основой и окончанием появляется *-s-*, имеющее параллель в других языках (ср.-др.-инд. *tā́sām*, др.-греч. τάων) и являющееся, по мнению Т. Барроу, более древним, чем в форме генитива муж. р. [Барроу 1976:255].

В отличие от оскского языка в умбрском языке формы косвенных падежей анафорического местоимения обнаруживают два типа основ: **ei̯so-lā-* и **ei̯sm-* в дативе-локативе ед. ч. Элемент *-sm-* в дативе-локативе ед. ч. известен и в других индоевропейских языках (ср.-др.-инд. датив ед. ч. *asmai*, локатив ед. ч. *asmín*, гот. датив *imma*). В умбрском языке это формы ***esmik***, *esmei*, *esme* и форма датива ед. ч. ***pusme*** вопросительно-относительного местоимения, что, безусловно, является архаизмом в умбрском языке. Сторонники теории супплетивных корней **i-*, **e-* в анафорическом местоимении возводят умбрскую форму датива *esmei* к архетипу **e-sm-ei*. Но для умбрского языка характерна монофтонгизация дифтонгов, и начальное *e-* в *esmei* может быть отражением более древнего **ei̯-*, подобно тому как умбрская форма генитива ед. ч. *erer* соответствует оскской форме *eiseis*. Из трех форм анафорического местоимения с элементом *-sm-* только одна ***esmik*** имеет анафорическую функцию: Tab. Ig. 1a 27 ***suŕum pesuntru fetu esmik vestiçam preve fiktu*** "приготовь свиную мякоть, в

нее (=ей) введи по каплям возлияние". Две же другие формы *esmei, esme* не имеют анафорического значения, первую из них понимают как датив ед. ч. со значением указательного местоимения "этому", вторую как локатив "в этом". Текст Tab. Ig. VIa 5, в котором употреблена форма *esmei*, имеет разное толкование, и Дж. Девото видит в *esmei*, как и в *esme*, форму локатива, предлагая одинаковый перевод "in hoc". [Devoto 1954:426]. Значение "этот", которое традиционно приписывают формам *esmei, esme*, Р. фон Планта объясняет влиянием указательного местоимения *es(s)o-* "этот", но почему это влияние коснулось только двух форм анафорического местоимения, не ясно [Planta 1897:219].

Представляется возможным иное толкование этих форм. Обе формы стоят в VI таблице, написанной с применением латинского алфавита, в котором для передачи краткого гласного *ĭ*, фонетически близкого к закрытому *e*, использовались три графемы: *i, e, ei* (ср. варианты написания словоформы ***avis, aves, aueis*** "avibus" – аблатив мн. ч. основа на *-i-*) [Meiser 1986 : 43; Bottiglioni 1954:28, 29]. Поэтому написание *esme, esmei* можно рассматривать как графические варианты, как и считал Дж. Девото [Devoto 1954:62, 87]. Но наличие особого значения формы *esme/esmei*, не имеющей анафорического значения, присущего другим формам местоимения **i-*, заставляет видеть в этой форме особое образование. Возможно, это – наречие **eĵsmi* со значением "здесь", параллельное другому наречию умбр. ***ife***, лат. *ibi* "там" от того же местоименного корня **i-/eĵ-*. Значение наречия "здесь" не противоречит смыслу контекста, в котором функцинируют *esme* и *esmei*. Tab. Ig. VIa 4–5 *aserio .. anglaf esona mehe tote iouetne esmei stahmei stahmeitei* "наблюдай (или "наблюдаю", по мнению Э. Феттера) ... птиц священных для меня, для Игувинского народа здесь в установленном месте" [Vetter 1953:231]. Другой фрагмент текста, где описывается обряд очищения народа, в связи с чем предлагается уйти всем чужим, Tab. Ig. VIb 54 *eetu ehesu poplu nosue ier ehe esu poplu sopir habe esme pople portatu* ... "пусть уходит из этого народа, если не уйдет из этого народа, пусть тот, кто живет здесь в народе, доставит (его)..." Что касается третьей формы с элементом *-sm-* ***esmik***, то она допускает двоякое толкование. Это может быть третий графический вариант того же наречия **eĵsmi-k*, имеющий однако значение не "здесь", а "сюда". Совмещение значений места и направленности действия имеется также у наречия умбр. ***ife***, что отмечают все исследователи умбрского языка, предлагая перевод "там, туда" [Devoto 1954:429; Vetter 1953:408 и др.]. Но поскольку ***esmik*** в тексте Tab. Ig. Ia. 27 имеет анафорическую функцию, то это может быть форма датива ед. ч. анафорического местоимения. Возможность толкования формы *esme/esmei* как наречия со значением "здесь" и возможность двоякого понимания формы ***esmik*** либо как наречия со значением "сюда", либо как датива ед. ч. анафорического местоимения позволяет думать об особой категории а д в е р б а-п а д е ж а, относящегося к системе форм анафорического местоимения. В умбрских текстах отразилось то состояние системы, когда на базе адверба сформировался датив, имеющий анафорическое значение, как и другие падежные формы этого местоимения, но вместо локатива пока используется адверб.

Наиболее ранняя парадигма склонения анафорического местоимения может быть реконструирована для праиталийского языка следующим образом:

	Одушевленный род	Неодушевленный род
Nom	**is*	Nom. Acc **id*
Acc	**im*	
Gen.	**eĵs*	
Наречие места	**eĵsm*	

Следующим шагом развития было расширение парадигмы за счет образования формы женского рода **eḭ-ā* и возникновение оппозиции основ женского и мужского рода **eḭā-:*eḭo-*. Старая форма аккузатива *im* была вытеснена новой тематической формой мужского рода **eḭom* – лат. *eum*, оск. *ionc*.

С различием основ в формах прямых падежей (основы **i-* и **eḭo-/ā-*) и в косвенных падежах (**eḭso-/ā-*) связано различие в употреблении форм: если номинатив и аккузатив оск. *izic* и *ionc*, умбр. *erek* имеют всегда субстантивное употребление и в референции ориентированы на лицо, то формы косвенных падежей функционируют и как местоимение-существительное и как местоимение-прилагательное и в референции обнаруживают нейтральность к лицу. Тот факт, что во множественном числе парадигма склонения, сформировавшаяся позже, чем в единственном числе, имеет так же, как в единственном числе две группы падежных форм с разными основами: **eḭo-/ā-* в прямых падежах, **eḭso-/-ā-* в косвенных падежах, – показывает, что в этом противопоставлении следует видеть не случайность, а проявление древнейшей закономерности построения индоевропейской парадигмы склонения. Эта архаичная закономерность состоит в системе имени в противопоставлении прямых падежей косвенным с помощью различных средств – просодических (ср. например, подвижность тона в др.-греч.-слове: номинатив παῖς "дитя", аккузатив παῖδα, но генитив παιδός, датив παιδί) или чередованием основ (ср. в хеттском языке номинатив *ḫara-š* "орел", аккузатив *ḫara-n*, но генитив *ḫaran-aš* [Иванов 1963:124]. В системе же местоимения в парадигме склонения противопоставлен только номинатив ед. ч. остальным падежам (ср. личное местоимение в латинском языке: номинатив *ego* "я". аккузатив *me* "меня", генитив *mei* "меня", указательное местоимение в древнеиндийском номинатив: муж. р. *sás*: аккузатив *tám*, генитив *tásya* [Барроу 1976:252].

Древнейшее анафорическое местоимение занимало среднее место между именем и местоимением, имея как и имя такую архаичную черту, как противопоставление в парадигме склонения прямых и косвенных падежей с разными основами, с другой стороны, разделяя с местоимением такие черты, как окончание *-d* в номинативе-аккузативе ед. ч. ср. р., как наличие в подсистеме косвенных падежей нескольких групп падежей, различающихся своей основой, и как категория адверба-падежа, на базе которого сформировался датив-локатив. Структурное сходство анафорического и вопросительного местоимений: один тип основы на *-i-*, окончание номинатива ед. ч. *-s* в противопоставлении окончанию аккузатива *-m* (ср. лат. *is:im* – лат. *quis*: оск. *phim*), но в среднем роде номинатив-аккузатив на *-d* (ср. лат. *id* – *quid*) позволяет считать, что анафорическому местоимению, как и вопросительному, изначально была присуща система двух родов – одушевленного и неодушевленного, которая в дальнейшем трансформировалась в систему трех родов. Присущая членам двухродовой системы анафорического местоимения субстантивная функция и появление аттрибутивной функции в связи с исторически более поздней формой женского рода дает основание предполагать, что анафорическое местоимение имело изначально статус местоимения 3 лица, отличавшегося по некоторым морфологическим признакам как от личных местоимений, так и от указательных и приближавшегося по типу строения парадигмы склонения к имени существительному.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Барроу Т 1976 – Санскрит М., 1976

Иванов Вяч Вс 1963 – Хеттский язык М., 1963.

Семереньи О 1980 – Введение в сравнительное языкознание М., 1980

Beekes R 1982 – On laryngeals and pronouns // Zeitschrift fur vergleichende Sprachforschung 1982/83 Bd 96 Hft. 2.

Bottiglioni G 1954 – Manuale dei dialetti italici. Bologna, 1954.

Brugmann K 1904 – Die Demonstrativpronomina der indogermanischen Sprachen. Leipzig, 1904

Brugmann K. 1908 – Pronominale Bildungen der indogermanischen Sprachen // Berichte über die Verhandlungen der Königlichen Sachsischen Gesellschaft der Wissenschaften. Philologisch-historische Klasse. Bd. 60. Leipzig, 1908.
Brugmann K. 1911 – Grundriss der vergleichenden Laut-Stammbildung-und Flexionslehre. Bd. 2, 2. Strassburg, 1911.
Devoto J. 1954 – Tabulae Iguuinae. Roma, 1954.
Klingenschmitt G. 1987 – Erbe und Neuerung beim germanischen Demonstrativpronomen // Althochdeutsch. Bd. I. Heidelberg, 1987.
Leumann M. 1977 – Lateinische Laut–und Formenlehre. München, 1977.
Meiser G. 1986 – Lautgeschichte der umbrischen Sprache. Innsbruck, 1986.
Pisani V. 1964 – Le lingue dell' Italia antica oltre il latino. Torino, 1964.
Planta von R. 1897 – Grammatik der oskisch-umbrischen Dialekte. Bd. II. Strassburg, 1897.
Safarewicz J. 1969 – Historische lateinische Grammatik. Halle, 1969.
Schmidt G. 1978 – Stammbildung und Flexion der indogermanischen Personalpronomina. Wiesbaden, 1978.
Seebold E. 1984 – Das System der Personalpronomina in den frühgermanischen Sprachen. Ruprecht in Göttingen, 1984.
Vetter E. 1953 – Handbuch der italischen Dialekte. Heidelberg, 1953.
Walde A., Hofmann J.B. 1938 – Lateinishes etymologisches Wörterbuch. Bd. I. Heidelberg 1938.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1996

© 1996 г. Т.В. ТОПОРОВА

ОБ АРХЕТИПЕ "ВОДЫ" В ДРЕВНЕГЕРМАНСКОЙ КОСМОГОНИИ

Неиссякающий глубокий интерес исследователей к космологической теме вызван ее необъятностью и универсальностью. Сущность космогонической концепции составляют представления о возникновении, устройстве и эволюции вселенной, о структуре мира, инвентаре его элементов и их взаимосвязях. В мифопоэтической модели мира космогония конституирует рамки мироздания, дает ответ на вопрос об истоках сущего, начале и конце. Ядро космологической концепции образует идея порождения в широком смысле слова; ее содержание исчерпывается описанием перехода от аморфного, бесструктурного хаоса к упорядоченному и организованному космосу, воспроизводимому в ежегодном ритуальном празднике. Для сюжетной схемы становления мира типично указание субъекта творения (демиурга), его действий – космогонических актов, материала, служащего субстанцией для создания космизированной вселенной, сил, под влиянием которых зарождается жизнь, а также компонентов материального мира и порядка их возникновения. Вселенная, в соответствии с указанным мировоззрением, служит утверждению стабильности и надежности, соединяет цепь времен, совмещая прошлое с настоящим, и гарантирует сакральность. Слияние синхронического и диахронического аспектов космогонии объясняется тем, что устройство вселенной рассматривается как результат ее происхождения, актуальное состояние объекта неразрывно связано с его историей.

Цель настоящей статьи заключается в анализе ключевого понятия древнегерманской космогонической концепции – **воды**, определении роли данного архетипа в космогенезе, установлении корреляций между мифологическим и языковым уровнями и сопоставлении древнегерманских фактов с данными других индоевропейских космогонических традиций.

Рассмотрим древнегерманские мифологические представления о космогенезе, в которых фигурирует **вода** и другие элементы, атрибуты или предикаты, относящиеся к данной теме, например, **капля, бездна, дно, колебательное движение,** типичное для волн, **течь** и др. и сравним их с "поэтическим комплексом моря, реконструируемом на основании данных различных индоевропейских традиций" [Топоров 1994].

В древнегерманской космогонической концепции можно выделить следующие мотивы, в которых принимает участие **вода** в качестве главного субъекта или объекта творения:

§ 1. Исходное состояние всего сущего ассоциируется с первозданными **водами.** Мотив поднятия земли из моря зафиксирован в Vsp. 4[1]: *Aðr Burs synir biǫðom um urðo* "Пока сыновья Бури не подняли земли" и сцене возрождения земли после эсхатологического кризиса, воспроизводящей прецедент первотворения, в Vsp. 59: *Sér hon upp koma qðro sinni / iǫrð ór ægi, iðiagræna* "Видит она, как во второй раз /

[1] В статье приняты следующие сокращения: Grm. – Grímnismál ("Речи Гримнира"); Háv. – Hávamál ("Речи Высокого"); Hdl. – Hyndlolióð ("Песня о Хюндле"); Hym. – Hymisqviða ("Песня о Хюмире"); SnE – Edda Snorra Sturlusonar ("Младшая Эдда"); Vm. – Vafþrúðnismál – ("Речи Вафтрудниира"); Vsp. – Vǫluspá ("Прорицание вельвы"); Wes. – Wessobrunner Gebet ("Вессобрунская молитва").

поднимается из моря земля, снова зеленая". Изначальные воды, отождествляющиеся с хаосом и предшествующие творению, представляют постоянную угрозу вселенной и после ее космизации (ср. представления о наводнении, вытекании крови первого существа Имира в результате его принесения в жертву богами, погубившими племена великанов за исключением Бергельмира, или о потопе, сопровождающем эсхатологическую катастрофу). Способность первозданных вод к порождению реализуется в их разделении на женское и мужское начала – землю (стихию, возникшую из моря по одной из версий скандинавского космогонического мифа) и водное чудовище, мирового змея, зафиксированых в древнеисландской формуле iǫrmungrund – iǫrmungandr, букв. "великая земля и великая палка (кеннинг мирового змея)", обладающей чертами поэтической организации (ср. общий компонент *iǫrmun-*, эпитет с положительно-креативной семантикой, а также одинаковый консонантный каркас *g-r-n-d*). Некоторые древнегерманские тексты сохранили свидетельства о конструктивной функции мирового змея, поддерживающего землю, ср., например, его номинацию как "пояса всех земель" [*umgiǫrð neðan allra landa* (Hym. 22)] или образ круглой земли, обвитой мировым змеем, находящимся в море в SnE 33 (...þa kastaði hann orminum í enn diúpa sæ, sá er liggr um lǫnd ǫll, ok ór sá ormr svá, at hann liggr in miðiu hafinu of lǫnd ǫll ok bítr í sporð sér... "бросил он того змея в глубокое море, всю землю окружающее, и так вырос змей, что посреди моря лежа, всю землю опоясал и кусает себя за хвост"). Амбивалентность мирового змея, соприродного хаосу, и выполняющего креативную функцию поддерживания земли, проявляется и на языковом уровне; ср. генетическое родство элемента *gandr* и обозначения хаоса (др.-исл. *ginnunga gap*) и использование элемента *iǫrmun* в обозначении наиболее сакрального объекта – "великого столба" (др.-сакс. *Irmin-sūl*). Элемент *-gandr* "палка" в составе имени змея указывает на его изофункциональность axis mundi – мировому дереву, поэтому фигурирование одинаковых компонентов в названиях мирового змея (*iǫrmungandr*) и "мирового столба" (*Irminsūl*) свидетельствует об общих чертах в структуре этих мифологических образцов.

§ 2. Некоторые факты позволяют реконструировать для общегерманской стадии мифологему о первоначальной божественной паре – **земле** и **небе**, отделение которых друг от друга является первым этапом космизации вселенной. В древнегерманских космогонических текстах встречается формула "земля и верхнее небо" [ср. др.-исл. *iǫrð – upphiminn* (Vsp. 3), др.-в.-нем. *ero und uphimil* (Wess. 2) и др.], а наличие между ними вертикальной связи, например, моста (др.-исл. *Bifrǫst* "дрожащее расстояние"), довольно ненадежной и прерывающейся во время "гибели богов", дает основания предположить ее первоначальное отсутствие. Мотив единства неба и земли, прародителей всего сущего, подтверждают и индоевропейские параллели: ср. др.-инд. *dyavā – pṛthivī* "небо – земля" [МНМ 1980: 528]. Рефлексы древнегерманской мифологемы **мирового яйца**, покоящегося в космических **водах**, из верхней половинки которого возникло небо, а из нижней – земля, обнаруживаются в кеннингах неба как **шлема**, а земли как **дна** (ср. обозначения неба: "шлем карликов Вестри, Аустри, Судри и Нордри", "шлем воздуха, земли и солнца", "шатер мира" и земли "пол или дно чертога ветров" [МЭ 1970: 68].

§ 3. На основании космологических фрагментов SnE 3–4 и этимологических данных можно реконструировать древнегерманские представления о хаосе как о **бездне, зиянии** (др.-исл. *ginnunga* (< и.-е. **ĝhei-* "зиять"), *gap* (< **ĝhəb-* "зиять") "зияний зияние". В соответствии с древнегерманской космогонической концепцией предполагается существование двух первоначальных стихий – **воды и огня**, воплощенных в двух мифологических локусах – Нифльхейме и Муспелльсхейме. Нифльхейм ассоциируется с **влагой** и темнотой: первый элемент композита – др.-исл. *nifl* – возводится к и.-е. **enebh-*, **nebh-*, **embh-* "сырой, вода" (< "пар, туман, облако"), ср. др.-в.-нем. *nebul* "туман", др.-сакс. *nebal* "туман, темнота", др.-исл. *niol* "тьма, ночь". Особого внимания

заслуживает включение др.-исл. Нифльхейма как **нижнего водного царства** в индоевропейский миф, главным героем которого является божество по имени **Nep(o)t:* ср. др.-инд. *Apām Napāt*, авест. *Apam Napāt*, лат. *Neptunus*, ... ирл. *Nechtan* [МНМ 1980: 531]. Древнеисландские данные позволяют отождествить Нифльхейм с подземным миром, царством смерти, ср. общий элемент *nifl-* в *Niflheimr*, букв. "мир тумана" и *Niflhel* букв. "Хель тумана" (обозначение загробного мира), а также свидетельства древнеисландских текстов: "А великаншу Хель Один низверг в Нифльхейм и поставил ее владеть девятью мирами, дабы она давала приют у себя всем, кто к ней послан, а это люди, умершие от болезней или от старости" [МЭ 1970: 31]. Представления о ином, нижнем мире, ассоциирующемся с **водой**, а также плодородием и жизненной силой, дублируется в древнегерманской космогонической концепции семантическими мотивировками мифологических персонажей, имеющими индоевропейские истоки: 1) герм. *Nerthus*, являющейся по определению Тацита terra mater, и др.-исл. *Niǫrðr*, **морским** богом (ср. др.-инд. *nārās* "воды", греч. *νερο* "вода", др.-инд. *naraka* "подземное царство", тох. А *ñare* "преисподняя" [МНМ 1980: 530]; 2) др.-исл. *Mimir* в источнике которого был спрятан глаз Одина, отданный в залог получения магических знаний (ср. номинацию божества плодородия – италийск. *Mars*, *Mamers*, *Marmar*, слав. *Мара*, *Марена*, и ассоциацию мифологического имени **Mor-* со смертью (**mer-*) и морем (**mor-*) [МНМ 1980: 531].

Другой предпространственный комплекс Муспелльсхейм воплощает стихию **огня** с его неизменными атрибутами – светом и жаром. Ср. "Всего раньше была страна на юге, имя ей Муспелль. Это светлая и жаркая страна, все в ней горит и пылает. ⟨...⟩ близ Муспелльсхейма всегда царили тепло и свет" [МЭ 1970: 15]. Характерно, что Муспелльсхейм фигурирует не только при описании хаоса, но и занимает центральное место в древнегерманской эсхатологии, символизируя всемирный пожар.

Для хаоса характерно **смешение**, недифференцированность первоначальных стихий; двойная референция некоторых лексем, обозначающих и **воду, и огонь**, получает удовлетворительное объяснение в рамках космогонической модели мира, если учесть общий источник номинации – интенсивное **движение**, сопровождающееся выделением тепловой энергии: ср. др.-исл. *vagr* "море, огонь" (< и.-е. **ueĝh-* "двигаться, вздыматься" [IEW 1119]); восходящие к одному и тому же индоевропейскому корню др.-исл. *brunnr* "источник", *brim* "море, прибой", *brenna* "гореть" (< и.-е. **bher-* "вскипать, бурлить" [IEW: 144]). Синкретизм языковых элементов, кодирующих первоначальные стихии, породившие космос, выражается также в идентичных семантических мотивировках **холодного и горячего**, основных атрибутов воды и огня, которые фигурируют в приводимых выше космогонических фрагментах "Младшей Эдды", ср. др.-исл. *hrim* "иней; сажа, копоть", букв. "налет, наслоение" (< и.-е. **krei-* "касаться" [IEW 618]), др.-исл. *sindr* "лед; шлак" (< и.-е. **sendhro-* "застывшая, затвердевшая, сгустившаяся жидкость" [IEW 906]), др.-исл. *kaldr* "холодный" (< и.-е. *k̑el-* "застывать, холодный; теплый" [IEW 551]), др.-исл. *friósa* "замерзать" (< и.-е. **preus-* "замерзать; гореть" [IEW 846]).

Слияние, нерасчлененность первоэлементов, послуживших субстанцией для создания космоса, реализуется в выборе глаголов космогонического описания, обозначающих либо переходное состояние, либо заполнение "пустого" хаоса, распространение вовне, вширь, рост, символизирующие изобилие, плодородие и жизненную силу. К первой группе относятся др.-исл. *harðna* "затвердевать" ("превращаться из жидкого состояния в твердое"), *verða* "становиться", *bráðna* "таять" ("превращаться из твердого состояния в жидкое"), *friósa* "замерзать" ("превращаться из жидкого состояния в твердое"), *gióса* "течь" ("перетекать", т.е. "объединять крайние состояния – жидкое и твердое"), *driúpa* "капать". Два последних глагола заслуживают особого внимания, поскольку они образуют промежуточное звено между названными выше категориями глаголов: в их семантике органически сплавлены идеи преобразования материи,

приобретения нового статуса и увеличения в объеме, роста, отождествляемых в космогонической модели мира с утверждением жизни и процветанием. На основании этимологических данных для обоих глаголов постулируется общее семантическое развитие: "**течь**, заставлять течь (лить)" > "**капля**" (с совмещением двух сем – "стекающая" и "круглая") > "изобилие, плодородие" > "форма" (как воплощение наивысшей ценности космизированной вселенной в отличие от бесформенности и бесструктурности хаоса). Ср. др.-исл. *driúpa* "капать" < и.-е. **dhreu-* "падать, стекать", др.-исл. *dropi* "капля", *drúpa* "изгибаться", греч. τρυφή "изобилие" [IEW 274–275]; др.-исл. *gióta* "лить", др.-в.-нем. *giozo* "текущая вода", *gussa* "наводнение", *urgusi* "избыток", др.-швед. *giuta* "форма для литья" < и.-е. **ĝheu-* "лить" [IEW 447–448], вероятно родственного и.-е. **ĝhēu-* "зевать" [IEW 449], др.-исл. *ginnunga gap* "зияний зиянье", обозначение хаоса, если принять во внимание, что представление о заполнении первоначальной бездны водами ("льющимися") зафиксировано во многих мифопоэтических традициях. Предлагаемая выше семантическая реконструкция верифицируется как на индоевропейском (ср. и.-е. **dherebh-* "стекать, застывать, округляться, густой" [IEW 257–258]), так и на германском материале (ср. SnE 4: ... *ok af þeim kviku-dropum kviknaði með krafti þess, ... ok varð mannz líkandi, ok er sá nefndr Ymir* "... капли ожили от теплотворной силы и приняли облик человека, названного Имиром", где обозначения **капли** (др.-исл. *kvika*) и **жизни** (др.-исл. *kvikr*) располагаются в непосредственной близости и кодируются одним и тем же корнем – и.-е. **gᵘei-* "жить" [IEW 467; Vries 1977: 338].

Идея роста, увеличения в объеме и образы капли, шара или его плоскостной проекции – круга помимо приведенных примеров реализуются в семантических мотивировках понятий, фигурирующих в космогоническом описании "Младшей Эдды". Упоминание в SnE 4 ядовитых **капель** (*eitrkvika*) или яда (*eitrinu*) первозданных вод не кажется странным, если обратиться к внутренней форме древнеисландской лексемы, актуализировавшейся в космогоническом контексте. Др.-исл. *eitr* возводится к и.-е. **oid-* "набухать", **oidos* "опухоль", **i-n-dro-* "набухший, сильный" (др.-инд. *indu-* "капля" < "вздутие, шар", греч. οἰδάω "набухать", οἶδμα "морской прилив", др.-в.-нем. *eiz* "опухоль, нарыв, гнойник" [IEW 774]. Функционирование др.-исл. *eitr* в космологическом фрагменте "Младшей Эдды" нельзя считать случайностью, поскольку и.-е. **oid-* кодирует основного персонажа ведийской космологии Индру (др.-инд. *Indra-*), осуществляющего демиургическую деятельность. Поскольку и.-е. **oid-* используется также в номинации понятий из ментальной сферы (ср. метафорическое употребление др.-исл. *eitr* в значении "ярость, бешенство", вост.-фриз. *eitel* "гневный"), уместно сопоставление с Индрой главного героя германской космологии Одина, имя которого мотивируется сходным образом: др.-исл. *Óðinn*, букв. "одержимый", ср. др.-исл. *óðr* "ярость". Мотив происхождения космоса путем сгущения вод отражен во многих мифопоэтических традициях, ср., напр., древнеиндийскую космогоническую версию о пахтанье океана [МНМ 1980: 224].

Ключевые понятия, характеризующие древнегерманские космологические представления в SnE 3–4, отсылают к образу **шара/круга** как символа локально-темпорального комплекса (хронотопа), ср. др.-исл. *driúpa* "капать" – *Draupnir*, обозначение **кольца** (букв. "капающего", поскольку каждую девятую ночь из него капает восемь колец такого же веса), символизирующего "круг времени" (ведь Один возложил его на погребальный костер Бальдра, убийство которого нарушило гармонию и космический порядок); др.-исл. *hlær* "теплый" (< *hlēwia-*) наряду с *hlýrn* "чередование дня и ночи, небесный свет, солнце, месяц" (< **hlĕwia-*) [Vries 1977: 241], отражающим мифологический мотив кругового движения дня и ночи по небу [МЭ 1970: 191]).

Космогонические фрагменты "Младшей Эдды" позволяют сделать вывод о восприятии хаоса как смешения первоэлементов (ср. синкретизм понятий, денотатами которых являются вода и огонь или кодирование при помощи одного и того же

индоевропейского корня "горячего" и "холодного"), которое имплицирует противопоставление первоначальных стихий (в SnE 3–4: *Niflheimr* "мир тумана, тьмы" – *Muspellsheimr* "огненный мир", *ár* "вода" – *eldr* "огонь", *caldr* "холодный" – *heitr* "горячий", *nifl* – "темный" – *lióss* "светлый", *þungr* "тяжелый" – *léttr* "легкий", *lauss* "пустой" – *fullr* "полный", *renna* "мчаться" – *gifa staðar* "останавливаться"). В древнегерманской мифопоэтической модели мира космогенез представлен как цепь превращений, исходным пунктом которых оказывается некое аморфное, нерасчлененное, недифференцированное целое, распадающееся в ходе эволюции на отдельные элементы, противопоставленные друг другу и вступающие во взаимодействие. Иными словами, космогонический процесс можно описать, используя следующую схему: "импликация оппозиций первоэлементов – их экспликация – и нейтрализация". Таким образом, трактовка хаоса как изначально амбивалентного состояния – **бездны**, аморфной и бесструктурной, и prima materia – получает логическое завершение в восприятии космоса как синтеза первоэлементов. Характерно, что при описании преобразования хаоса в космос употребляются глаголы, обозначающие смену состояний ("замерзать", "таять", "затвердевать" и др.), а для изображения космизированной вселенной привлекаются глаголы с положительно-креативной семантикой ("наполняться", "увеличиваться", "расти"). Зарождение жизни ассоциируется с шаром, кругом (каплей).

§ 4. Центральным персонажем древнегерманского космогонического мифа является Имир. В структуре мифологического образа Имира можно выделить следующие мотивы:

а) Соотнесение со временем первотворения, глубочайшей древностью, отождествлением с **первым** антропоморфным существом. Ср. указание на приуроченность рождения Имира к illo tempori, предшествующему космизации вселенной в Vsp. 3, ссылка на "много лет до созданья земли" в Vm. 28–29 в связи с появлением Имира, подчеркивание его "первичности" в Vm. 30. Имир трактуется в древнегерманской космогонической концепции как **первый** демиург; части его тела послужили субстанцией для созданья вселенной (ср. изоморфизм микро- и макрокосма в Vm. 21 и Grm. 40); он выступает также в качестве родоначальника инистых великанов.

б) Представления о **двуполости** Имира как субстанции, породившей космос, реализуются как в этимологии самого имени (др.-исл. *Ymir* < и.-е. **iemo-* "близнец", др.-инд. *yamáḥ-*, авест. *yəma-*, лат. *geminus*, ср.-ирл. *emon*, *emuin* [IEW 505]), так и в объединении мужского и женского начал, самооплодотворении и рождении потомства – дочери и сына, первых представителей соответствующего пола. Характерно, что близнечный миф, вариантом которого является мифологема об андрогине, кодируемый и.-е. **iemo-*, репрезентирован в различных космогонических традициях, ср. др.-инд. *Yáma* (первый смертный и его сестра *Yámi*), др.-ирл. *Find-eamna* "тройня Финн" – "три брата-близнеца, которых сестра уговорила вступить с ней в брачную связь (ср. среднеиранское предание о браке *Yima* и его сестры *Yimāk*, который послужил п р е ц е д е н т о м для подобных браков у зороастрийцев) [МНМ 1980: 529]. Идея двуполости первого антропоморфного существа Имира несомненно относится к общегерманскому уровню; она дублируется образом земнородного божества Туисто, упоминаемым Тацитом, отцом **первого** человека – Манна, возглавлявшего все три основные племенные группы германцев – ингвеонов, иствеонов и герминонов. Семантическая мотивировка Туисто и Имира идентична: герм. *Tuisto*, *Twisto* < и.-е. **du̯ō(u)* "два" (др.-инд. *dvandvām* "пара, двойня, двойка", др.-исл. *tvenner*, др.-англ. *getwinnas*, ср.-в.-нем. *zwiselinc* "близнецы", др.-в.-нем. *zwisk*, др.-сакс. *twisk* "оба" [IEW 230]), причем идея разделения противоположностей (**раздвоения**) актуальна и по отношению к Туисто: ср. восходящие к и.-е. **du̯ō(u)* "два" др.-англ. *getwǣfan*, *twǣman*, др.-исл. *tvistra* "разделять" < "раздваивать" и "разъединяющий" префикс – лат. *dis-*, др.-сакс., др.-фриз. *te-*, *ti-*, др.-англ. *te-*, др.-в.-нем. *zi-*, *ze-*, а также фригийский теоним Δολασ, ·αντος (< **du̯io-n̥t-*).

в) Связь Имира с **плодородием** очевидна, ведь он **порождает** вселенную и племена инистых великанов; она манифестируется и на языковом уровне: ср. номинацию растений при помощи того же корня – и.-е. **jemo* – др.-исл. *jafni* "плаун", лтш. *Jumis* "полевое божество, сдвоенный плод", персонификация удачного урожая [МНМ 1982: 679]. Возможно, еще одно имя Имира – др.-исл. *Blainn* "темный" (др.-исл. *blár* "голубой, темный, черный" < и.-е. **bhlē-u̯o-s* о светлых цветах – "голубой, желтый, светлый" [IEW 160] < и.-е. **bhel-* "блестящий, белый" [IEW 118–120]), что свидетельствует не только о его причастности **нижнему** миру, но и о **растительных** ассоциациях, т.к. не исключена генетическая близость **bhel-1* "блестящий" и **bhel-3* "надувать(ся), набухать, бить ключом" (этот корень прежде всего обозначает бьющую фонтаном воду) [IEW 120–122], поскольку в мифопоэтической модели мира блеск, сияние являются оптической формой проявления роста и изобилия, описываемых в морском и вегетативном коде.

г) Связь Имира с **водой и подземным царством** постулируется на основании свидетельств древнеисландских текстов (ср. его происхождение из **капель** Бурных волн, возникновение **моря из крови** Имира, затопление кровью убитого Имира вселенной) и этимологии его имен – др.-исл. *Aurgelmir*, *Brimir*. Др.-исл. *Aur-gelmir* представляет собой композит, оба элемента которого имеют отношение к обозначению **водной стихии:** *aurr* "влага, вода" < и.-е. **au̯(e)-*, **au̯ed-*, *au̯er-* "орошать, течь", др.-исл. *vatn* "вода", *unnr* "волна", *úr* "дождь, роса", *úrigr* "мокрый", *vari* "жидкость, вода" и др. [IEW 78–81] (ср. фигурирование др.-исл. *úr* как одной из первоначальных стихий в космологическом фрагменте – SnE 4); *-gelmir*, встречающийся также в составе имен сына и внука Имира и обозначающий "издающий шум", получает удовлетворительное объяснение, если допустить, что денотатами являются мифологические **воды** [Vries 1957: 370], по всей вероятности, локализуемые в **нижнем** мире, ср. содержащие тот же языковой элемент др.-исл. *Hvergelmir*, букв. "шумящий котел", источник в Нифльхейме, *Vaðgelmir* "шумящий в броде", реку в Хель, где подвергаются наказанию лжецы, реку перед входом в Хель – *Þrymgiǫll* "с шумом бурлящую", подземную реку *Giǫll* "шумящую" и переброшенный через нее мост – *Giallarbrú* "шумящий мост", по которому попадают в царство Хель. Другое имя Имира – др.-исл. *Brimir* родственно др.-исл. *brim* "прибой, море". Показательно, что др.-исл. *Aurgelmir* нельзя считать окказионализмом в номинации демиурга, поскольку и.-е. **au̯(e)-* кодирует еще один мифологический персонаж, имеющий непосредственное отношение к космогонии, – а именно Тефию, «одно из древнейших божеств, титаниду, дочь Геи и Урана, супругу своего брата Океана, с которым она породила все реки и три тысячи океанид, ср. указывающее на плодовитость имя богини, связанное с и.-е. **tētā* "мать"» [МНМ 1982: 505], называемую Ἀλοσύδνη букв. "морская волна" [IEW 78].

д) Концепция первоначальной стихии, породившей космос как **лона** или **колыбели** также имеет непосредственное отношение к Имиру, точнее его внуку Бергельмиру. Речь идет о лексеме, не получившей однозначной интерпретации и встречающейся лишь дважды (Vm. 35 и SnE 6), – др.-исл. *lúðr*. Остановимся подробнее на контекстах, в которых фигурирует это слово. Ср. Vm. 35: *"Ørofi vetra, áðr væri iǫrð um scǫpuð, / þá var Bergelmir borinn; / þat ec fyrst um man, er sá inn fróði iǫtunn / var á lúðr um lagiðr* "За множество зим до созданья земли / родился Бергельмир; / его положили при мне в колыбель, / вот, что первое помню"; SnE 6: *Synir Bors drápu Ymi iǫtun. En er hann fell, þá hlióp svá mikit blóð ór sárum hans, at með þvi drekðu þeir allri ætt hrimþursa, nema einn komsk undan með sínu hýski. Þann kalla iǫtnar Bergelmi; hann fór upp á lúðr sinn ok kona hans ok helzk þar, ok eru af þeim komnar hrimþursa ættir* "Сыновья Бора убили великана Имира. А когда он пал мертвым, вытекло из его ран столько крови, что в ней утонули все инистые великаны. Лишь один укрылся со всею своей семьей. Великаны называют его Бергельмиром. Он сел со своими детьми и женою в ковчег и

так спасся. От него-то и пошли новые племена инистых великанов". Как видим, для автора "Младшей Эдды" Снорри Стурлусона значение др.-исл. *lúðr* оставалось темным; предлагаемая им интерпретация *lúðr* как ковчега явно возникла под влиянием библейских ассоциаций с великим потопом и Ноевым ковчегом, ссылка же на Vm. никак не подтверждает правильности данного варианта. Vm. 35 предоставляет недостаточно информации для удовлетворительного объяснения др.-исл. *lúðr*. Обратим лишь внимание на идентификацию денотата др.-исл. *lúðr* и локально-темпорального комплекса, персонажной ипостасью которого является Имир, ср. общие мотивы **древности, отсутствия** объектов творения и **первых** воспоминаний о космизации вселенной, почти дословно совпадающие на языковом уровне: *Ár var alda, þat er Ymir bygði. / ... iǫrð fannz æva né upphiminn* (Vsp. 3) "Древнее было время, когда жил Имир; / ... ни земли еще не было, ни верхнего неба"; *Ec man iǫtna, ár um borna, / þá er forðom mic fædda hǫfðo* (Vsp. 2) "Помню великанов, рожденных в древности, / появившихся на свет до меня" (слова вельвы); *Ørófi vetra, áðr væri iǫrð um scǫpuð, / þá var Bergelmir borinn; þat ec fremst um man* "За много зим до созданья земли / родился Бергельмир; / это я первое помню". Имир и Бергельмир изофункциональны, поскольку оба выступают как родоначальники инистых великанов, ведь Бергельмир повторяет после потопа демиургический акт, осуществленный Имиром, способствует повторной космизации вселенной. Рассмотрим семантику и этимологию др.-исл. *lúðr:* "выдолбленное дерево; корыто, колыбель; сосуд, основа мельницы; лодка; боевой рог" < и.-е. **leu-* "резать" (алб. *lug, lugu* "корыто", *flugë* "доска", др.-исл. *lé* "серп", *lióstr* "вилка", др.-в.-нем. *lûdara* "колыбель" и др. [IEW 681–682]), при этом реконструируется следующее семантическое развитие: "выдолбленное дерево" > "корыто" > "опора для мельничного жернова" > "тростник, труба, рог" [Vries 1977: 367]. В семантике др.-исл. *lúðr* выделяются два компонента: **вертикальность** и **изгиб;** их сочетание не кажется парадоксальным, если принять во внимание, что в качестве денотата *lúðr* выступает **ствол** дерева, **выдолбленный** изнутри. Таким образом, на концептуальном уровне устанавливается преемственность между понятием **лона, колыбели** "prima materia" (*lúðr*) и **мировым деревом,** идеальной моделью мироздания. Древнеисландские данные позволяют сделать и более радикальное предположение об общем источнике этих модификаций инвариантного значения **первооснова,** объединяющая семы **вертикальность** и **изгиб** и описывающая круг (с выделением его оси) как символ локально-темпорального континуума. Поразительно точную параллель с древнеисландскими примерами обнаруживают древнепрусское название стремени – *lingo*, лит. *lìnge* "гибкая жердь для подвешивания к ней колыбели", "колыбель", "изгиб", семантическая мотивировка которых отражает два мотива – **раскачивание** и **изгиб** (< из исходного значения "отклонение от нормы, стандарта"), имеющие космологические ассоциации [Топоров 1990: 279–281].

§ 5. Антропогонический миф ассоциируется не только с Имиром, родоначальником инистых великанов; демиург предков богов выступает в зооморфном образе мифологической коровы, о которой сообщается в SnE 5. Обращают на себя внимание следующие мотивы: происхождение коровы из **первоначального** материала, послужившего основой для создания космоса (из **растаявшего** инея); ее связь с плодородием, проявляющаяся в ее имени (*Auð-umla* < **Auð-humala-* "богатства безрогая (корова)". При этом идея изобилия дублируется обоими компонентами имени (так как безрогость – признак особой молочности), а также в образе четырех **потоков,** вытекающих из ее вымени и питающих первочеловека Имира. **Соленые камни,** из которых возник Бури, отсылают к представлениям о **водной** стихии (др.-исл. *salt* "соль" < и.-е. **sal-* "соль, соленая вода", др.-инд. *salila* "море, пучина", греч. ἅλος "соль, соленая вода, море", русск. диал. *солоть* "болото", ср.-в.-нем. *sol, sul* "соленая вода" и др. [IEW 878–879]). Ср. также идею **сгущения, затвердевания** (др.-исл. *steinn*

"камень" < и -е *stāi-, *stī-, *stī-ā- "сгущаться, затвердевать, останавливаться", наряду с обозначением камня интересы обозначения **капли**, воплощающей в древнегерманской космогонии креативную субстанцию, – греч στίλη "капля", лат *stīria* "застывшая капля, сосулька", *stilla* "капля", др -инд *stīyā* "стоячая вода" [IEW 1010–1011])

Показательно, что корова символизирует во многих мифологических традициях плодородие, изобилие и благоденствие и фигурирует в космогоническом мифе Ср небесную корову, поднимающуюся из **океана** и превращающуюся в небо в одной из версий египетского мифа, или корову Камадхену в индийской мифологии, появляющуюся при пахтаньи **океана** [МНМ 1982 5] Образ мифологической коровы, из сосцов которой вытекает четыре **потока**, изофункционален мировому дереву, в схеме которого горизонтальная структура – квадрат моделирует страны света [Vries 1957 365, МНМ 1980 403]

§ 6. **Мировое древо**, воплощающее идеальную модель мироздания в различных мифопоэтических традициях, представлено и в древнегерманской космогонии Рассмотрим подробно свидетельства древнеисландских текстов, имеющие непосредственное отношение к **водному** комплексу

Остановимся на др -исл *drastil*, входящем в название мирового древа – *Ygg-drasill* "Игга конь", в структуре которого выделяется компонент – **совершать зигзагообразные движения, покачиваться**, ср родственное датск диал *drasse* "ходить туда – сюда", исл *drasla* "болтаться" [Vries 1977 81] В Háv 138 Иггдрасиль именуется 'ветреным деревом" (др -исл *vindgameiðr*), а в Vsp 47 речь идет о его дрожании (*Scelfr Yggdrastils ascr standandi* "Дрожит ясень Иггдрасиль стоя") Мотив качания мирового древа связан с мифологемой "человек на дереве", он актуален и по отношению к субъекту жертвоприношения, отождествляемому с Иггдрасилем в акте самозаклания, – Одином (ср его хейти – *Váfuðr* "качающийся", *Geigaðr* "болтающийся") Восприятие мирового древа как **качающейся опоры** имеет аналогию в еще одном универсальном образе мироздания – лоне, колыбели, стволе (др -исл *lúðr*)

Наряду с мировым древом в древнегерманской космогонической концепции фигурирует **мировая гора** – др -исл *Himinbiorg* "небесная гора", жилище бога Хеймдаля, заслуживающего особого внимания в связи с космогонической проблематикой Этот мифологический персонаж изофункционален мировому древу как универсальному образу вселенной, поскольку его предназначенье состоит в том, чтобы 'быть богом предела" [Dumézil 1973] Он оказывается **первым** из богов **во времени** – его рождение ассоциируется с древностью (*í árdaga*), он – родоначальник людей, называемых "детьми Хеймдаля' (Vsp 1), основатель социальной иерархии[2], и в пространстве (ср его локализацию "у кромки земли' (Hdl 35), 'у края небес" (SnE 26), у моста, ведущего с земли на небо' Вместе с тем Хеймдаля можно считать **последним** из богов, так как именно он сообщает о конце мира и живет дольше остальных богов, погибающих во время эсхатологической катастрофы Охват Хеймдалем всего периода существования космоса позволяет ему выступать в качестве 'стража богов (*vǫrðr goða* (SnE 26)), охраняющего мост Биврест от нападения великанов Два варианта написания теонима отражают дополняющие друг друга представления о природе Хеймдаля как **дна мира** (*heim* "мир" & *dalr* "углубление, впадина, дуга") или **мирового древа** (*heim* "мир" & *dallr* 'arbor prolifera, vasculum distributorum, mensura liquidorum'), причем дерево и сосуд обозначаются по принципу изогнутости, кривизны[3] Судя по языковым данным, в номинации Хеймдаля на передний план выдвигается идея *изгиба* и, по всей вероятности, в качестве денотата выступает наклонно расположенная axis mundi

---

[2] Ср отождествление Хеймдаля с Ригом букв королем в прозаическом вступлении к Rþ

[3] Хеймдаль называется также кривой палкой , ср его хейти Hallinskiði

Космогонический аспект Хеймдаля реализуется в его причастности первоначальной стихии – **воде.** Связь Хеймдаля с морем отличаются глубиной и разносторонностью его матери отождествляются с реками, дочерьми морского бога Эгира[4], он "питается силой земли и прохладного моря" (Hdl 38 *sá var aukinn iarðar megni, / svalkǫldom sæ*), его прозвище – "ветреное море" (*Vindhlér*), его атрибут – др -исл *aurugr* 'влажный, мокрый" родствен др -исл *aurr* "влага", обозначению одного из первоэлементов мира, упоминаемому в SnE

Подводя итоги исследования роли архетипа **воды** в древнегерманской космогонической концепции, отметим наиболее релевантные мотивы, в соответствии с которыми космогенез трактуется как спонтанное появление первоначальных стихий – **воды** и **огня,** локализуемых в "Мире влаги, тумана" (др -исл *Niflheimr*) и "Мире Муспелля' (Muspellzheimr), как взаимодействие первоэлементов, зарождение жизни путем сгущения первозданных **вод** под влиянием теплотворной силы, как поднятие земли из **океана;** как биологическое порождение объекта космизированной вселенной – **моря** из **жидкости** (крови) великана Имира, как изготовление людей демиургом зооморфной природы – коровой Аудумлой из **инея. Вода** выступает в древнегерманской эсхатологии как одна из стихий, губительных для мира, ср потоп, возникший в результате вытекания крови Имира, принесенного в жертву богами Таким образом, **вода** одновременно является и субъектом и объектом творения Преобразование хаоса в космос осуществляется под воздействием плодотворящей силы, обозначаемой глаголами перехода из **жидкого** состояния в твердое и наоборот (**таять, сгущаться, замерзать). Капля** символизирует зарождение жизни Ср фрагмент "Младшей Эдды", в котором говорится, что "капли (*kviku-dropum*) ожили (*kviknaði*) и приняли облик человека, названного Имиром" (SnE 4), причем капля и жизнь кодируются одним и тем же корнем – и -е *qu̯ei-* Для обозначения идеи преобразования материи, приобретения ею статуса самостоятельного существования используются глаголы *gióса* течь', *driúpa* "капать", для которых постулируется семантическое развитие "течь > 'капля ("стекающая", "круглая") > "плодородие, изобилие" > "форма" (воплощение наивысшей ценности космизированной вселенной) В древнегерманской космогонической концепции универсальную модель мира репрезентируют первоначальная бездна – колыбель мира, мировое древо ясень Иггдрасиль, омываемый источником Мимира, "бог предела" Хеймдаль, имеющий отчетливо выраженные водные коннотации, происшедший из первозданных вод великан Имир и корова Аудумла, из сосцов которой вытекают четыре потока

В целом архетип **воды** занимает центральное положение в древнегерманской космогонической концепции, выступая в качестве prima materia, субъекта и объекта творения

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

МНМ 1980–1982 – Мифы народов мира Энциклопедия М , 1980–1982 Т I–II

МЭ – Младшая Эдда / Издание подготовили О А Смирницкая и М И Стеблин-Каменский Л , 1970

Топоров В Н 1990 – Прусский язык Словарь *L M* М , 1990

Топоров В Н 1994 – О поэтическом комплексе моря и его психофизиологических основах // История культуры и поэтика М , 1994

Dumezil G 1973 – Gods of the ancient Northmen Berkeley, Los Angeles, 1973

Pokorny J 1959 – Indogermanisches etymologisches Worterbuch Bd I–II Bern 1959

Vries J de 1957 – Altgermanische Religionsgeschichte Bd 2 B , 1957

Vries J de 1977 – Altnordisches etymologisches Worterbuch Leiden 1977

[4] Ср их имена с водной семантикой *Gialp* шумящая , *Eistla* бушующая *Angeyia* имеющая отношение к узкому острову

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1996

© 1996 г. И.Т. ПИИРАЙНЕН

ВЕЖЛИВОСТЬ КАК КАТЕГОРИЯ ЯЗЫКА

1. ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ.

Дискуссии о культуре языка и речи соотносят с тезисами пражской лингвистической школы, которые впервые были опубликованы в ходе подготовки первого международного конгресса славистов в Праге в октябре 1929 года [Scharnhorst – Ising 1976. 43–73] С этого времени усилия ученых многих стран были направлены на изучение использования языковых средств в различных сферах человеческой деятельности.

В Германии уже несколько столетий тому назад были известны исследователи и общества ученых, которые защищали идеалы "пристойного" словоупотребления в период ведения войн. В настоящей статье рассматриваются эстетические и этические принципы общественного словоупотребления. С точки зрения прагматики анализируются высказывания, сделанные в ходе политических дебатов в Федеративной Республике Германии. Рассматриваются в основном не нормы немецкого языка, а скорее стиль политических споров в средствах массовой информации в Германии [Nussler 1980: 98–105].

2. ВЕЖЛИВАЯ ФОРМА ОБРАЩЕНИЯ И ЯЗЫК XVII–XIX СТОЛЕТИЙ

Лингвистические общества Германии XVII столетия предъявляли интеллигенции относительно употребления языка следующие требования: правильность, чистота и выразительность, и указывали на необходимость качественных переводов. В настоящее время порой ставится под сомнение влияние лингвистических обществ; утверждается, что дискуссии были предназначены только для писателей и ученых. Г.Ф. Гарсдерфер (1607–1658), сам член Пегнезского цветочного ордена, пытался в своих "Женских салонах" предложить темы по различным отраслям науки, которые служили бы всестороннему развитию человека. Попытка заключалась в том, чтобы реализовать идеалы лингвистического общества: правильность языка связывалась с эстетикой [Stoll 1973]. Одновременно речь шла и об учебнике по культуре речи в Германии, где велась тридцатилетняя война и большая часть населения страдала от насилия и разорения, а благопристойные обычаи разрушались. Гарсдерферу принадлежит и вопрос: "Почему ученые так редко вежливы?" На это Гарсдерфер сам отвечает следующим образом: ученые в период своего обучения и одинокого проживания слишком мало познают окружающий мир и не приобретают устоявшиеся манеры общества [Weinrich 1986 8]. За последние два десятилетия XVII в. и первого десятилетия XVIII в распространяется влияние галантной формы стихосложения из Франции и Италии в Германию. Слово "галант" используется в смысле "современный" и "элегантный". Признаки галантного стиля – это определенная слащавость, напыщенность, склонность к изощренности и преувеличению, а порой и двусмысленности В истории немецкого языка говорится о "галантном периоде": прежде всего знать XVIII века подражала французам и использовала французский в качестве языка бесед Влияние всего французского отмечалось как в общественной сфере, так и в языке Германии XVII–XVIII веков [Eggers 1977: 77–147].

Самым известным примером рассуждения о культуре речи и языка в литературе считается диалог между бакалавром и дьяволом, переодетым в профессора, перед черепами, которые находятся в кабинете, во второй части "Фауста И.В Гете.

Б а к а л а в р Признайтесь, Ваш череп, Ваша лысина не дороже тех полых?
Д ь я в о л [мирно] Очевидно, друг мой, ты и не ведаешь, как груб?
Б а к а л а в р В немецком лгут, если пытаются быть вежливыми
B a c c a l a u r e u s Gesteht nur Euer Schadel, Eure Glatze ist nicht mehr wert als jene hohlen dort?
M e p h i s t o p h e l e s (gemutlich) Du weißt wohl nicht, mein Freund, wie grob du bist?
B a c c a l a u r e u s Im Deutschen lugt man, wenn man hoflich ist "

3. ДИСКУССИИ О КУЛЬТУРЕ РЕЧИ В XX в.

Цитируя указанный выше пример, польский германист Е. Томичек указывает на интеркультурную разницу в формах вежливого обращения и использовании языка и добавляет, что аспекты культуры речи следует отнести к т.н. хорошим манерам [Tomiczek 1994 138]. В Германии социальные и региональные различия до настоящего времени содействовали многообразному обращению с языком, в то время как формы вежливого обращения во многих странах – нормативное понятие так, например, в Польше говорят о языковом этикете, владение которым ожидается от всех Однако было бы неверным говорить о константной форме языка и речи; говорящий и слушающий, их интенция и ситуация влияют на выбор языковых средств[1].

В тезисах пражской лингвистической школы по культуре речи предлагалось взять в качестве образца литературную практику последних пятидесяти лет для правильного использования языка. Это воззрение могло бы иметь силу и относительно немецкого языка. Свидетельство тому – разделение Германии и параллельное существование национальных вариантов немецкого языка, возникших в прежней Федеративной Республике Германии и ГДР, в Австрии и Швейцарии и укрепившихся за прошедшие десятилетия после второй мировой войны. Английский ученый К. Уэллс говорит об "окончании истории немецкого языка" в 1945 году [Wells 1990] Г Штетцел выска зался в своем докладе на всемирном конгрессе германистов в августе 1995 года в Ванкувере за то, чтобы 1968 год отметить как одну из вех в немецкой истории языка И действительно, изменился политический ландшафт, формы межчеловеческого общения и использования языка после студенческого движения и демократизации образовательных учреждений, а также тон обращения между людьми; форма вежливого обращения состоит из спектра различных вербальных и невербальных факторов Роль семьи и образовательных учреждений в воспитании не единообразны. Урбанизация общества и средства массовой информации влияют на использование языка [Watts, Ide Sachiko, Ehrlich 1992].

В дискуссии о формах вежливого обращения широко распространено мнение, что исследования данного направления – англо-американского происхождения. Вейнрих, однако, указывает на то, что социолог Н. Элиас уже в середине тридцатых годов в своем труде "О процессе цивилизации" описал законы развития в изменяющихся формах вежливого обращения при коммуникации друг с другом. Однако лишь в шестидесятых и семидесятых годах в работах Е. Гоффмана, а также П. Браун и С. Левинсона были опубликованы основополагающие тезисы по исследованию форм вежливого обращения [Brown, Levinson 1978: 101–210; Weinrich 1986: 8–11]. Обычно различают между "отрицательной формой вежливости", которая направлена на обходительность и разгрузку партнера по беседе, и "положительной формой вежливости", которая проявляется в выражении симпатии, внимания и любопытства по отношению к

[1] В США различные группы пытаются оказать влияние на социальное развитие посредством общественной нормализации использования языка

партнеру по беседе [Grice 1980: 109–126]. Известны также и нормы ведения беседы, изложенные Ст. Левинсоном [Levinson 1994: 104]:

1 Принцип кооперации планируй свое участие в беседе таким образом, чтобы оно отвечало требованиям, вытекающим из постановки цели и направления беседы, в которой ты принимаешь участие
2 Качественные нормы попытайся спланировать свой вклад в беседу правильно, а точнее,
(I) Не говори о том, что ты считаешь неверным
(II) Не говори о том, о чем ты не имеешь доказательств
3 Количественные нормы
(I) Спланируй свое участие настолько информативным, как этого требует поставленная цель беседы
(II) Планируй свое участие в беседе с четко ограниченной информацией
4 Релевантные нормы сделай свой вклад существенным
5 Норма формы выражайся ясно, а точнее.
(I) Избегай неясностей
(II) Избегай многозначности
(III) Излагай свои мысли кратко
(IV) Будь последовательным

Спорным пока остается вопрос о том, имеются ли определенные универсальные формы вежливого обращения. Однако совершенно очевидно, что вежливость в значительной степени связана с использованием языка отдельных личностей и различными учреждениями.

4. ВЕЖЛИВОСТЬ И ОСКОРБЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ СЛОВОУПОТРЕБЛЕНИИ

В последующем на примерах немецкой текущей политики будет показано, до какой степени нарушают "хороший тон" в общественном словоупотреблении, чтобы опорочить личность, группы и (что случается довольно часто) политического соперника Об одном примере, который вызвал большое внимание общественности, сообщалось 17.06.1995 г. в "Westfalische Nachrichten" следующее:

«Viel Arger um Schroders 'faule Sacke' Niedersachsens Ministerprasident Schroder hat nicht nur die Lehrer gegen sich aufgebracht, sondern sich auch Kritik seines Kultusministers eingehandelt. Anlaß war ein Interview, in dem eine Schulerzeitung Schroder mit folgender Außerung uber Lehrer zitiert 'Also Freunde, Freunde, Ihr weißt doch ganz genau, was das fur faule Sacke sind'».

Учителя и ученики организовали демонстрацию против этого высказывания премьер-министра Шрёдера, а объединение учителей реальных школ назвала обращение Шрёдера с учителями "популистским и человеконенавистническим".

Однако и премьер-министр Шрёдер сам сносит словесные оскорбления общественности. В споре за лидерство между бывшим председателем Социал-демократической партии (СДПГ) Шарпингом и премьер-министром Шрёдером, который проходил в 1995 г. в течение нескольких месяцев в средствах массовой информации, Шарпинг очень часто опускал имя Шрёдера В следующем сообщении читателям газеты от 6.07.1995 г было ясно, о ком идет речь: Шарпинг осуждает "петушиные бои". В одном интервью он сказал· "Я понял, что есть люди, которые за столом следуют игре, а под столом бьют по голени"». В таких высказываниях бóльший упор делается на коннотации, чем на словесные аргументы.

Интересный источник для отрицательной коннотации и косвенного словесного оскорбления дают сообщения прессы фракций бундестага и канцелярии различных партий[2]. В них критикуется и бывший председатель СДПГ Шарпинг Критика

[2] Госпожа Д-р Хейке Дёлл, руководитель отдела прессы Министерства внутренних и общеевропейских дел земли Северный Рейн-Вестфалия, бывшая студентка автора данного сообщения, с любезностью предоставила обширный материал по общественному словоупотреблению, за что ей приносится сердечная благодарность

противопоставлена всем нормам вежливости. Так, в пресс-службе фракции бундестага Христианско-демократического союза (ХДС)/Христианско-социального союза (ХСС) от 23 03.1995 г. значится

'Horster Scharping nahert sich der PDS Der 1 Parlamentarische Geschaftsfuhrer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Joachim Horster MdB, erklart SPD-Chef Scharping hat die Mitgieder der SED-Nachfolgepartei PDS zur Mitarbeit bei den Sozialdemokraten eingeladen. Damit biedert er sich einmal mehr bei den Kommunisten an und belegt deutlich, daß die SPD eine Zusammenarbeit mit der PDS anstrebt von Abgrenzung keine Spur 'Die PDS ist eine Partei voller Illusionen und voller Nostalgie' hat Scharping gesagt und damit einmal mehr grenzenlos verharmlost und verschleiert. Denn die PDS ist die umbenannte SED, die Partei der Mauerschutzen, die die Menschenrechte mit Fußen getreten hat Scharping hegt mit den jungsten Außerungen voll auf der Linie des Genossen Egon Bahr, der in "Spiegel" am 24 10 1994 gesagt hat 'Bei der Zwangsverschmelzung von SPD und KPD zur SED hat Kurt Schumacher gesagt, wir sollten Blutspender sein fur die Kommunisten Er hatte recht Jetzt sage ich. Ich mochte das gespendete Blut zuruck' Die SPD muß hollisch aufpassen, daß sie sich bei dieser Transfusion nicht auch noch eine Blutvergiftung holt, nachdem sie seit Sachsen-Anhalt und Brandenburg schon unter politischer Immunschwache gegenuber den Kommunisten leidet'

Грубое обращение с политическим соперником не ограничивается отдельными партиями. Чаще всего оппозиция нападает на правительство и наоборот – руководящие партии оскорбляют оппозицию. В ходе назначения председателя правления АО Телеком в заголовке газетного сообщения фракции партии СДПГ от 22.03.1995 г стояло. "СДПГ. Безответственное дилетантство Федерального правительства". Сообщение прессы федеральной фракции Союза 90/Зеленые от 11.04 1995 г. содержит следующее: "Это больше чем конфуз для Вайгеля, если Федеральному правительству заявляют, что оно не способно разработать убедительный концепт реформы". Пресс-служба ПДС от 4.05.1995 г. сообщает следующее по теме "Прожиточный минимум" "И последняя попытка не достигла цели. Вновь становится очевидной бесконцептность Федерального Министра финансов ... Финансовая политика Бонна, как вновь подтверждается, запуталась в собственных сетях".

Противоречиво обсуждаются не только федерально-политические темы. По случаю встречи глав государств на конгрессе по экологии Объединенных наций пресс-служба федеральной фракции ХДС/ХСС от 4.04.1995 г. пишет:

'Es ist schade, daß Greenpeace statt zu denken krabbelt, statt zu argumentieren Klamauk veranstaltet, statt aufzuklaren Desinformationen verbreitet Wer an Greenpeace spendet, muß wissen, daß er sein Geld genauso gut in den Rhein werfen konnte Statt dessen ware es besser, karitative Organisationen oder ideologiefreie Umweltschutzorganisationen in Deutschland zu unterstutzen. Davon gibt es viele – Greenpeace gehort sicher nicht dazu'

В политических речах в невежливой форме обличается даже Федеральный канцлер, который как представитель Государства должен бы пользоваться большим авторитетом. В стенографическом отчете о заседании немецкого Бундестага от 15 12.1994 г вступительная часть речи депутата Гюнтера Ферхеугена (СДПГ) начинается следующим образом:

"Frau Prasidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit der Selbstsicherheit, Herr Bundeskanzler, die Sie uns hier gerade vorgespielt haben, kann es nicht so weit her sein, denn sonst hatten Sie es nicht fur erforderlich gehalten, in eine Debatte einzugreifen, in die Sie eigentlich gar nicht eingreifen wollten Es muß Sie doch einiges, was heute morgen gesagt worden ist, nervos gemacht haben Und nervos, verehrter Herr Bundeskanzler, sind Sie bei dieser Rede gewesen [Lachen bei der CDU/CSU] Was haben sie getan? Sie haben Witzchen gemacht und uns ein Bißchen Kabarett vorgespielt, da, wo es nicht um politische Substanz geht Und da, wo es um politische Sachfragen geht, Herr Bundeskanzler, sind Sie ausfallend oder ausweichend geworden Jedenfalls haben wir keine Klarheit von Ihnen bekommen".

В речи Генерального секретаря Свободной демократической партии (СвДП) Гуидо Вестервелле по случаю политической среды на первой неделе великого поста

1 03 1995 г вновь оскорбляются известные политики СДПГ посредством отрицательной коннотации

> Wenn Frau Matthaus-Maier, die finanzpolitische Sprecherin der SPD, die es eigentlich besser wissen mußte weil sie ja bei der F D P gelernt hat, die Abzugsfähigkeit von Haushaltshilfen als Dienstmadchenprivileg diskreditiert, dann ist das eben ihre Milchmadchenrechnung Uberhaupt fehlt Herrn Scharping jede Durchsetzungskraft im eigenen Lager Schroder, Lafontaine und Scharping sind doch keine Troika sondern eine gestorte Dreierbeziehung Zweimal Kain und einmal Abel"

Иногда целое сообщение состоит из домыслов, подозрений и утверждений, которые должны вызывать у читателя эмоции или страх за свое существование Так, например, пресс-служба канцелярии ХДС пишет 31 05 1995 г по случаю переговоров о красно-зеленом Союзе в земле Северный Рейн-Вестфалия

> Der Beginn der Bundnisverhandlungen zwischen SPD und Grunen ist der Einstieg der Sozialdemokraten in den Wortbruch am Wahler Um des puren Machterhalts willen verdrangt die SPD alle Erkenntnisse die bisher galten Ein Industrieland kann nicht mit einer Partei der Fortschrittsverweigerer und Technologieblockierer regiert werden Ein rot-grunes Bundnis setzt die Arbeitsplatze aufs Spiel Johannes Rau tate besser daran ein Pils trinken zu gehen als in den giftgrunen Apfel zu beißen

В конце страницы размещена многоцветная эмблема ХДС и текст "С уверенностью в будущее ХДС" На эту же тему пишет пресс-служба федеральной фракции ХДС/ХСС от 31 05 1995 г следующее

> "Wie die Sozialdemokratie von den Grunen ausgesaugt wird von der SPD entweder nicht bemerkt oder lediglich ratlos zur Kenntnis genommen Die Erfahrungen der jungeren Vergangenheit belegen Die SPD regiert mit jedem, wenn es nur dem Machterhalt dient, weil sie jegliche Kraft verloren hat eigene Mehrheiten zu bekommen Selbst Kommunisten sind als stille Teilhaber willkommen Eine Koalition aus SPD und Grunen in Dusseldorf bedeutet faktisch den Stillstand fur die Entwicklung des bevolkerungsreichsten Bundeslandes Wer dies als Modell fur Bonn anpreist, will eine andere Republik Deshalb darf und wird sich dies in Bonn nicht wiederholen

Последние дебаты в немецком Бундестаге в Бонне характеризуются прессой как сплошные оскорбления "Westfalische Nachrichten" комментируют 9 02 1996 г дебаты по вопросу о бóльшей загруженности служащих парламента, занимая при этом почти полстраницы, в статье "Утренник накануне свадьбы с дерзкими замечаниями и оскорблениями". Шеф фракции СДПГ Р Шарпинг охарактеризовал политику федерального правительства такими словами. *обман населения, высокомерие, самовластие* Премьер-министр земли Шлезвиг-Гольштейн Гейде Зимонис выбрала для своей речи тон, который "Westfalische Nachrichten" определила как "дерзкий' Она сказала Федеральному канцлеру Колю·

> Er musse doch von der Lage im Lande mehr mitgekriegt haben als die Arbeit am Kochbuch Ihrer Frau (mit seiner Frau Hannelore hat Bundeskanzler Kohl Anfang 1996 ein Kochbuch veroffentlicht)

О шефе фракции СвДП Германне Отто Золмсе, который не пользуется преимуществами своего имени голубой крови, госпожа Зимонис высказалась следующим образом.

> "Sie haben offenbar nicht nur Ihren Adelstitel abgelegt, sondern die Manieren gleich mit

Приведенные выше примеры показывают, что прямые, нарочитые оскорбления в общественном словоупотреблении встречаются редко Значительно чаще встречаются высказывания с намеками и подозрениями, которые у читателя или слушателя вызывают отрицательную коннотацию. Та "отрицательная вежливость" или "положительная вежливость", которая приводилась в качестве критериев для гармоничного межчеловеческого общения, просто отсутствует

5. ПЕРСПЕКТИВА

Выше упоминалось, что уже несколько столетий тому назад ученые пытались привить "правильное' и "пристойное ' использование немецкого языка Роль лингвистических обществ XVII в оценивается в германистике в настоящее время по-разному Однако одно бесспорно, что по крайней мере некоторые писатели и грамматисты использовали в своих работах основные мысли лингвистических обществ

В XX столетии вновь занялись рассмотрением, с точки зрения прагматики, понятия вежливости при словоупотреблении. Вполне возможно, что 'положительная и ' отрицательная" вежливость англо-американского мира окажет свое влияние в различных сферах словоупотребления, ссылка на "Political Correctness" в США также демонстрирует трудности в обращении с терпимостью при межчеловеческом общении

В рамках данной статьи не предполагалось сделать выводы о политической культуре в Германии на базе приведенных сообщений прессы или примеров из речей государственных деятелей Исходя из основ культуры речи, следует так выбирать и использовать языковые компоненты, чтобы было налицо оптимальное взаимопонимание между партнерами по коммуникации Здесь сталкиваются культура языка и норма речи

Учитывая сознательное нарушение "хорошего тона" и вербальную бестактность в общественном словоупотреблении, было бы насущной потребностью ввести дополнительную норму "Будь вежлив", которая предлагалась уже П Грайсом и настоятельно рекомендовалась Х Вейнрихом [Weinrich 1986 10] Культура языка исходит из оптимизации использования языковых средств Если вежливость будет пониматься как уважение достоинства человека и как терпимость к различным мнениям и мировоззрениям, то можно было бы считаться с идеологией политического соперника, с его слабыми и сильными сторонами, не отказываясь при этом от своих личных убеждении

Приведенные выше примеры из сообщений прессы отдельных политических партий, а также из газетных статей о дебатах в бундестаге показывают, что вместо аргументов используются коннотации, которые должны представить политического противника сомнительным или даже смешным Наступило, видимо, время не только начать дискуссию о категории "вежливости" в области лингвистики, но и рассмотреть влияние лексических, психологических и социологических факторов на общественное словоупотребление

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Brown P , Levinson St 1978 – Politeness Some Universals in Language Usage Cambridge 1978

Eggers H 1977 – Deutsche Sprachgeschichte 4 Das Neuhochdeutsche Reinbek, 1977

Goethe W 1964 – Goethes Werke, Bd 3 / Textkritisch durchgesehen und mit Anmerkungen versehen von E Trunz 7 Aufl , Hamburg 1964

Grice P H 1980 – Logik und Gesprachsanalyse // P Kußmauls (Hrsg) Sprechakttheorie Ein Reader Wiesbaden 1980

Levinson St C 1994 – Pragmatik / Ins Deutsche ubersetzt von Ursula Fries 2 Aufl , Tubingen, 1994

Nussler O 1980 – Normempfehlungen fur die Mediensprache Grundsatze, Grenzen, Ziele // Der offentliche Sprachgebrauch Bd 1 Stuttgart 1980

Schainhorst R , Jurgen Ising E 1976 – Grundlage der Sprachkultur // Beitrage der Prager Linguistik zur Sprachtheorie und Sprachflege Til 1 Berlin, 1976

Stoll Chr 1973 – Sprachgesellschaften im Deutschland des 17 Jahrhunderts Munchen 1973

Tomiczek E 1994 – Strategia jazykowej grzecznosci // Orbis linguarum Legnickie rozprawy filologiczne 1 1994

Watts R J Ide Sachiko, Ehlich K (Ed) 1992 – Politeness in language Studies in ist history, theory and practice Berlin, New York, 1992

Weinrich H 1986 – Lugt man im Deutschen, wenn man hoflich ist? Mannheim/Wien/Zurich 1986

Wells Chr J 1990 – Deutsch Eine Sprachgeschichte bis 1945 Tubingen 1990

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1996

© 1996 г. А.А. ПИЧХАДЗЕ

ПРЕДЛОГ *КЪ* ПОСЛЕ ГЛАГОЛОВ ДВИЖЕНИЯ ПРИ НАЗВАНИЯХ ГОРОДОВ В ДРЕВНЕРУССКИХ ОРИГИНАЛЬНЫХ И ПЕРЕВОДНЫХ ПАМЯТНИКАХ ПИСЬМЕННОСТИ*

В древнерусском языке при глаголах движения, направленного к определенному пространственному пункту, употреблялись конструкции с дательным беспредложным, с предлогом *къ* + дат. пад. и с предлогом *въ* + вин. пад. Конструкция с дательным беспредложным употреблялась почти исключительно с названиями населенных пунктов не *а*-склонения; в сочетании с этими топонимами она являлась нормативной до середины XII в., а с рубежа XII–XIII вв. стала уступать место конструкциям с *къ* и *въ* [Зализняк 1995: 142–143].

Первоначально конструкции с предлогом *къ* и с предлогом *въ* использовались в разных контекстах. Прежде всего, глаголы с приставкой *въ-* (**вънити, въѣхати, въвѣчи** и др.) требовали после себя предлога *въ*: **вънити въ городъ** и т.п. Кроме того, как указывал Л.П. Якубинский [Якубинский 1953: 176–177], предлог *въ* с вин. пад. выражал инклюзивное значение, т.е. обозначал направление к пространственному пункту с заходом в него, а предлог *къ* с дат. пад. – эксклюзивное, т.е. обозначал движение к пункту без захода в него. Именно такое распределение наблюдается в Новгородской I летописи по Синодальному списку: предлог *къ* в сочетании с топонимами употребляется здесь около 40 раз и лишь дважды указывает, по всей вероятности, на движение, которое завершилось беспрепятственным входом в город – (1017) **Ѡрославъ иде къ Берестию** 1 об[1]; (1270) **поіде об оноу стороноу к Роусѣ. і сѣде в Роусѣ** 149 об. Во всех остальных случаях *къ* указывает на то, что движение не завершилось заходом в город или натолкнулось на препятствия перед заходом в него: (1069) **прнде... къ Новоугородоу. новгородци же поставиша пълъкъ противоу нхъ оу Звѣриница на Къземли** 4 об; (1168) **ходиша... къ Полотьскоу. и пожьгъше волость воротишасѧ ѡ(т) города за ·л· вьрстъ** 35 об; (1214) **идоша... къ Чьрниговоу и стоѧвъше ·вї· дни. възѧша миръ** 80; (1311) **прндоша к городоу Ванаю. і взѧша горо(д). і пожгоша** 156 об и т.п. Точно такая же картина наблюдается и при употреблении предлога *къ* с существительным **городъ**: (1216) **хотѣша... полести къ городоу. и не да имъ кнзь** 86 и др. Таким образом, предлог *къ* употребляется всегда, когда речь идет о приближении к городу с враждебными целями. В контексте: (1315) **новгородци съ кназемь Ѧфанасьемь. изидоша к Торжку и пребыша ту съ ·ѕ· недѣль, вѣсть перенмаюче** 159 – речь идет, вероятно, о стоянии новгородского войска под Торжком (а не в пределах города) в ожидании противника. В остальных случаях фиксируется предлог *въ*: (1253) **пришедше новгородци в Новъгородъ** 132 об; (1328) **посла... послы... въ Пльсковъ** 165 об и т.п. Это распределение соблюдается

---

* Статья подготовлена в ходе работы над проектом «Древнерусский перевод "Истории Иудейской войны" Иосифа Флавия», поддержанным Российским гуманитарным научным фондом (грант 95-06-17082).

[1] При цитировании Новгородской I летописи указывается лист рукописи, Успенского сборника – столбец, остальных источников – страница издания.

настолько последовательно, что по употреблению предлога *въ* во фразе: (1228) **поиде въ Пльсковъ... и слышавше пльсковицї... и затворишасѧ въ городѣ** 104 – сразу можно заключить, что князь не имел враждебных намерений, и дальнейший контекст подтверждает это: Ярослав отправился в Псков с дарами, псковичи же опасались насилия с его стороны потому, что были введены в заблуждение ложными слухами.

Иначе обстоит дело в Лаврентьевской и Ипатьевской летописи: предлог *къ* выступает здесь не только в эксклюзивном, но также и в инклюзивном значении. В "Повести временных лет" по указанным двум спискам наряду с 19 случаями выражения эксклюзивного значения обнаруживаются следующие примеры инклюзивного употребления предлога *къ* (примеры приводятся по Лаврентьевской летописи): (944) **приде къ Киеву въ своꙗ си** 46; (1019) **принесоша и** (Святополка) **къ Бестою** (так! Ипат.: **Берестью** 145); (1022) **приде Ꙗрославъ къ Берестию** 146; (1095) **приде Изѧславъ... к Мурому. приꙗша и муромци** 229; (1096) **Ѡлег же побѣже к Мурому** 238; (1097) **поиде же к Берестью к лѧхо(м҃)** 269; (1097) **Путѧта... пришедъ к Лучьску. к С҃тоши с҃ну Дв҃дву** 272. В то же время дважды предложной конструкции в Лаврентьевском списке соответствует беспредложный дательный в Ипатьевском списке: (1088) **иде С҃тополкъ. из Новагорода. к Тоуровꙋ жити** 207 (порча, в Ипат.: **Турову на кнѧженье**); (1096) **привезше и г Кыеву. погребоша и на Берестовѣмь** 232 (в Ипат.: **привезъше Киеву**). Известно, что в поздних списках дательный беспредложный часто заменялся конструкцией с предлогом *къ*. Например, в "Повести временных лет" в Ипатьевском списке насчитывается 45 таких замен по отношению к Лаврентьевскому списку, в то время как замена дательного беспредложного на *въ* + вин. пад. отмечена только один раз. Учитывая это, можно предполагать, что и в некоторых других случаях употребления *къ* в инклюзивном значении в общем источнике Лаврентьевского и Ипатьевского списков имел место дательный беспредложный.

В Суздальской летописи по Лаврентьевскому списку дело обстоит также, как и в "Повести временных лет". При подавляющем большинстве случаев употребления предлога *къ* в эксклюзивном значении (более 90) можно обнаружить несколько отклонений: (1136) **идоша** (Ольговичи) **к Чернигову ѡпѧ(т҃)** 304; (1138) **идоша** (Ольговичи) **ѡпѧ(т҃) к Чернигову** 305; (1151) **приде вѣсть Изѧславу г Кыеву** 336; (1152) **Изѧсл(а)в... иде г Кыѥву** (где княжил) 338; (1152) **Изѧслав... воротисѧ г Кыѥву** 339; (1153) **лутшиѣ ихъ мужи веде с собою г Кыѥву** 341; (1154) **Мстиславъ и С҃тославъ Всеволодичь бѣжаста г Кыѥву** (чтобы укрыться) 343; (1167): **престависѧ... кнѧзь Ростиславъ... ида и-Смолиньска г Кыеву... и везоша и г Киву** (так!) 353 (1175) **съѣхашасѧ к Володимерю** 371; (1186) **С҃тослав же слышавъ ихъ** (половцев) **бѣжавши(х). възвратисѧ г Кыѥву** 399; (1190) **посла... г Кыѥву. С҃тославу ко Всеволодичю. и к митрополиту Никиѳору. ѡц҃ѧ своѥго д҃хвнаго Іѡа(н҃). на еп(с҃)пьство** 408. Однако и здесь имеется ряд контекстов, где конструкции с предлогом *къ* в Лаврентьевском списке соответствует дательный беспредложный в Киевской летописи по Ипатьевскому списку: (1149) **иде г Кыѥву** 322 (Ипат.: **Киеву** 383); (1150) **Изѧславу же прибѣгшю г Кыѥву. повелѣ дружинѣ своеи сбиратисѧ оу Дорогожича** 327 (Ипат.: **прибѣже Киеву** 402); (1154) **приведе ю** (мачеху) **г Кыѥву** 341 (Ипат.: **Киеву** 468); (1154) **ѣха г Кыѥву** 342 (Ипат.: **Киеву** 473); (1154) **Ростиславъ... бѣжа к Смолиньску** (чтобы укрыться) 343 (Ипат.: **иде Смоленьску** 475); (1154) **поиди г Кыеву** (на княжение) 344 (Ипат.: **Киеву** 476); (1155) **приде Ростиславъ г Кыеву повабленъ к стрыевѣ своему** 345 (Ипат.: **Ростиславъ же пришедъ Киеву** 480); (1169) **велѧща ему ити ставитъсѧ к митрополиту г Кыѥву** 355 (Ипат.: **Киеву** 551); (1169) **приде Михалко с переꙗславцї. и с берендѣи г Кыѥву. побѣдивше половци** 361 (Ипат.

Кыеву 559); (1185) посла г Къıеву к С҃тославу къ Всеволодичю 390 (Ипат.: Киевоу 629). Незакономерное появление в этих контекстах предлога *къ* в Лаврентьевском списке объясняется устранением дательного беспредложного. Аналогичное объяснение можно предполагать по крайней мере и для части приведенных выше примеров, не имеющих соответствий в Ипатьевском списке. Более корректная замена исходной беспредложной конструкции на предлог *въ* + вин. отмечается гораздо реже; в Лаврентьевском списке удалось обнаружить только три случая: (1169) посла же ѥго Андрѣи митрополиту в Къıѥвъ 356 (Ипат.: Къıеву 552); (1171) възвратишасѧ в Къıевъ 363 (Ипат.: Кыеву 563); (1175) привезше ѥго в Володимерь 370 (Ипат.: Володимѣрю 593).

В Киевской летописи по Ипатьевскому списку фиксируется около 40 случаев инклюзивного употребления предлога *къ*: (1128) Ꙗрославъ же поиде ѡпѧть к Мурому (где княжил) 292; (1146) послашасѧ къ Переꙗславлю къ Изѧславоу. рекоуче поиди к҃нже к намъ 322; (1146) пришедъ Изѧславъ Мьстиславичь къ Киевоу. и бѣ Игорь разболѣлъсѧ... и присла Игорь къ Изѧславоу 337; (1148) Мьстиславъ иде к Переꙗславлю 360; (1148) бѣжа к Черниговоу к Володимироу Дв҃двичю 364; (1150) въıбѣже... из Дорогобужа и иде к Лючьску къ строеви своему 403; (1151) поидоста ѡба в лодьꙗхъ къ Городку. къ Гюргеви 423; (1151) поидемъ же къ Киевоу. а въı боудите до вечера в Киевѣ. и мъı боудемъ 427; (1151) Володимеръ... ѡборотѧсѧ поиде к Галичю (в свой город) 441; (1151) Ростиславъ поиде къ Смоленьску (в свой город) 441; (1151) Изѧславу приде вѣсть къ Киеву 442; (1152) Изѧславъ же поида къ Киеву... Изѧславъ же приде въ Къıевъ... Изѧславъ же пришедъ къ Киеву. и посла къ брату своему Ростиславу 454; (1152) иде к Рыльску. и ꙗко хотѣ. поити из Рыльска... 458; (1156) Гюрги поиде къ Киеву (где княжил) 485; (1157) Гюрги же пришедъ к Дорогобужю и р(ч҃)е Володимиру 487; (1160) поѣха к Въıреви (в свой город) 508; (1161) Ѡлегъ же пришедъ къ Чернингову (так!) не ꙗви того ѡ(т)цю 513; (1161) Андрѣеви(ч҃) ѣха къ Торческому и къ берендѣемъ и к торкомъ 516; (1162) оутѣшивъ добрѣ. пусти къ Киеву к Ростиславу 520; (1169) бѣжа къ Дорогобужю. ту же бѣ и жена его бѣжала пред нимъ 537; (1173) поиди кь братьи кь Володимирю 562; (1173) иде кь Новугороду (на княжение) 562; (1174) дружину его ꙗша всю послаша кь Чернигову 579; (1175) послаша кь Володимѣрю. ти что помышлѧете на насъ 589; (1175) ростовци. и суждалци и переꙗславци... съѣхашасѧ к Володимѣрю. и рѣша... 595; (1176) възвратисѧ во свою волость. к Лопасну 602; (1177) С҃тославъ поѣха к Киевоу молвѧше же Романови... 603; (1179) иде Володимеръ с женою к Черниговоу къ ѿцю 612; (1180) иде С҃тославъ. к Любчю. и призва к собѣ братью свою 613; (1180) приѣхавшю емоу к Черниговоу къ братьи. и съзва всѣ с҃ны своꙗ 615; (1180) Дв҃да посла к Смоленьскоу. к Романови къ братоу своему. в помочь 616; (1185) иде ко братоу Ꙗрославоу к Черниговоу... ѡ(т)толѣ ѣха ко Киевоу к великомоу к҃нзю С҃тославоу 651; (1189) поидоша к Галичю... и бывшимъ имъ по мѣстоу всимъ. и рѧдѧщимсѧ ѡ волость Галичкоую... 663; (1193) испросисѧ оу ѡ҃ца. ко строеви своемоу ко Смоленьскоу 678; (1194) еха к Въıшегородоу... поклонитисѧ с҃тымъ. и влезъ во ц҃рквь... 679; (1195) посла... по брата своего по Дв҃да. къ Смоленьскоу 681; (1195) позва... к собѣ на ѡбѣдъ. к Бѣлоугородоу 682; (1195) слѧсѧ. во Ѡлговичꙗ ко Ꙗрославоу. ко Всеволодичю к Черниговоу 686; (1195) вземши и дроужина его несоша и к Володимерю 687; (1195) посла вѣсть ко строеви своемоу. к Черьниговоу 692. Более полутора десятка аналогичных примеров можно обнаружить в Галицко-Волынской летописи по Ипатьевскому списку.

По крайней мере для части из этих примеров также нужно предполагать замещение исходной беспредложной конструкции. В этом убеждают контексты, где конструкции с предлогом *къ* в Киевской летописи соответствует беспредложный дательный в Лаврентьевском списке: (1174) **възворотишасѧ кь Чернигову** 579 (Лавр.: **Чернигову** 367); (1175) **ꙗрополкъ же поѣха... кь дружинѣ. кь Переꙗславлю. Михалко же... ѣхаша** (в других списках **ѣха**) **кь Володимѣрю** 596 (Лавр.: **Переꙗславлю... Володимерю** 373); (1175) **ѡженисѧ ꙗрополкъ... пославъ. кь Смоленьску. поꙗ за сѧ. кнѧгиню** 598 (Лавр.: **Смолиньску** 374); (1176): **бѣжа к Новугороду** 601 (Лавр.: **Новугороду** 377).

Тем не менее нельзя утверждать с уверенностью, что инклюзивное употребление предлога *къ* в Лаврентьевской и Ипатьевской летописях во всех случаях вызвано вытеснением дательного беспредложного. От такого утверждения заставляет воздержаться прежде всего инклюзивное употребление *къ* в сочетаниях с апеллативами: в этих сочетаниях дательный беспредложный вышел из употребления уже в дописьменную эпоху, и появление здесь предлога *къ* не может, следовательно, объясняться замещением беспредложной конструкции (такое замещение было возможно только при сохранении дательного беспредложного в реликтовых формах **домови, долови**: ср.: (1213) **возвратившоусѧ к домови** Ипат. 732). Примеры сочетания *къ* в инклюзивном значении с апеллативами немногочисленны, однако их можно обнаружить в "Повести временных лет": (866) **цр҃ь же едва въ градъ вниде с патреꙗрхомъ съ Фотьемъ къ сущеи цр҃кви ст҃ѣи Бц҃ѣ Влахѣрнѣ всю нощь молт҃ву створиша** Лавр. 21. Ср. в "Житии Феодосия Печерского": **приде... къ манастырю молѧсѧ великомоу Ѳеѡдосию. да бы приꙗтъ былъ** Усп. сб. 49г28, в Смоленской грамоте 1229 г.: **аже латинескии. придѣть къ городоу. свободно ѥмоу продав(а)ти** (см. также [Павлова 1977: 108–109]). Аналогичные примеры встречаются и в ранних переводных памятниках – например, в "Житии Феодосии": **притекоста къ чьстьномоу домоу. ст҃ыꙗ и славьныꙗ м҃чнцѧ Анастасиа... прѣбывающема же тѣма тамо...** Усп. сб. 143б23, в "Слове отца к сыну": **жадьнааго напои... больна присѣти. къ тьмьнїци доиди** Изборник 1076 г. 171 (к сожалению, греческий оригинал обоих памятников неизвестен). Видимо, у предлога *къ* на первый план могло выдвигаться значение достижения определенного пункта, а противопоставление инклюзивности / эксклюзивности при этом оказывалось нерелевантным.

Очевидно, именно благодаря способности указывать на достижение конечного пункта предлог *къ* приобрел значение 'по направлению к', указывая на место, к которому направлено движение в перспективе, но которое может быть достигнуто не сразу, а после остановок, заходов в другие, промежуточные места и т.п.; в контекстах такого рода предлог *къ* как бы совмещал инклюзивную функцию с эксклюзивной. Распространение сочетаний предлога *къ* в этом значении (его можно назвать направительным) с топонимами происходило за счет вытеснения дательного беспредложного. Наиболее ранний пример находим в "Житии Феодосия Печерского": **оустрьмисꙗ къ Кыѥвоу городоу... не вѣдыи же поути. молꙗшесꙗ Богоу да бы ѡбрѣлъ съпоутьникы** Усп. сб. 31а5. В Синодальном списке Новгородской I летописи *къ* в этом значении фиксируется один раз: (1168) **новотържьци ѡ(т)стоупиша къ Новугородоу** 34; еще в одном контексте предлог *къ* отмечен с названием не города, а местности, что, по-видимому, делало невозможным употребление дательного беспредложного: (1138) **высушасѧ всь городъ къ Сильнищю** 19об (ср. с названием города: (1258) **высꙋшасѧ Новоторжькоу** 136об). Во всех остальных случаях направительное значение здесь последовательно выражается дательным беспредложным. Значение 'по направлению к' можно предполагать для контекста из Смоленской грамоты 1229 г.: **аже латинескыи гость. смолнѧны. приѥдѣть на вълъкъ. тоть. мьтати жеребѣи.**

кого напьрьдъ вѣсти ко Смольньскоу. Вероятно, это значение представлено в "Повести временных лет": (862) и та (Аскольд и Дир) испросист(а)сѧ ко Црюгороду с родомъ своимъ 20, а также в ряде контекстов из Суздальской летописи: (1150) поиде г Кыкву... и ста оу Мъльска Лавр. 329; (1154) поиде к Чернигову... сташа оу Боловеса Лавр. 343; (1169) хотѧщю кму... г Корсуню на сне(м) 359; (1180) иде к Рѧзаню... пришед же к Рѧзаню миръ створи с Романомъ. и со Игоремъ Лавр. 388, (1258) поидоша численици. и кнѧзи к Новугороду Великому (для переписи, которая производилась не только в самом Новгороде, но и в окрестностях) Лавр. 475. Ряд примеров такого рода можно привести и из Киевской и Галицко-Волынской летописи по Ипатьевскому списку: (1151) а сами въсташа к Василеву. и тако исполцивше полкъ своѧ поидоша мимо Василевъ 434; (1151) поидоша къ Киеву. и тако поидоша противу имъ сѣли съ хр(с)тъ... и... въѣхаша въ Киевъ 441; (1152) поиде къ Ярославлю. помина и ста ѡбѣду 447; (1152) поиде къ Киеву. и вниде в Киевъ 460; (1174) выгнаша. Мьстислава. ис Трѣполѧ... Мьстислав же ѡ(т)туда иде кь Чернигову. а Михалько не прия его 572; (1180) бѣжа на Городѣць къ Черниговоу 623 (в последнем примере представлена характерная для русских летописей конструкция, в которой ближайший пункт назначения обозначается предлогом *на* + вин., а конечный – дательным беспредложным или – в более поздний период – предлогом *къ*) и др.

Таким образом, наиболее архаичное состояние в развитии семантики предлога *къ* в сочетании с названиями населенных пунктов отражено в Синодальном списке Новгородской I летописи: *къ* при названиях городов имеет здесь эксклюзивное значение, т.е. указывает на движение к городу с враждебными намерениями, в то время как инклюзивное и направительное значение выражается дательным беспредложным или предлогом *въ* с винительным падежом. Начиная с рубежа XII–XIII вв., т.е. со времени активного вытеснения в древнерусском языке дательного беспредложного при названиях городов, в памятниках фиксируются примеры употребления *къ* в направительном значении, которое уже достаточно широко представлено в Лаврентьевской и Ипатьевской летописях. Предлог *къ* на этом этапе оказался преемником дательного беспредложного, который мог выполнять как инклюзивную, так и эксклюзивную функцию [Правдин 1956: 16–18; Gallis 1973: 292–293], и развил инклюзивное значение, первоначально – по крайней мере при названиях городов – ему не свойственное [Станишева 1964: 105–111].

Развитию инклюзивной функции у предлога *къ* способствовало также влияние со стороны предлога *въ*. Замещая старый направительный падеж – дательный беспредложный, предлоги *къ* и *въ* с вин. пад. при названиях городов оказались синонимами. Частичная нейтрализация исконной семантической оппозиции создала предпосылки для вариативности, на базе которой каждый из двух предлогов мог расширять сферу употребления за счет своего синонима. Подтверждением семантического взаимовлияния предлогов *къ* и *въ* в древнерусском языке могут служить примеры использования предлога *въ* в эксклюзивной функции: (971) приде Стославъ в Переѧславець (Переѧславцю Ипат.) и затворишасѧ болгаре въ градѣ Лавр. 69, (1153) поиде на Володимерковича в Галичь Лавр. 340; (1202) пришедшю же Рюрикоу в Галичь и не оуспѣвши (в других списках -шю) ничтоже Ипат. 717; (1255) проси оу нихъ помощи. ити на Галичь. ѡни же реко (в других списках рекоша) емоу како идеши в Галичь... онъ же не послоуша ихъ... иде в Галичь Ипат. 829 (для переводных текстов можно указать и более ранние примеры – см., например, Усп. сб. 4г22, 77г9, но здесь некорректное использование предлога *въ* объясняется калькированием греч. εἰς, ἐν "в"). Однако развитие эксклюзивного значения у предлога *въ* остановилось на стадии зарождения – вероятно, именно потому, что не имело такого мощного импульса, каким

явился дательный беспредложный по отношению к предлогу *къ* в направительном и инклюзивном значении.

Различались ли нормы употребления предлога *къ* в оригинальных древнерусских текстах и переводных памятниках, преимущественно древнеболгарских по своему происхождению? Вопреки утверждению, что "древнеболгарские и древнерусские конструкции с предлогом *къ* + дат. пад. функционально не различались" [Павлова 1977: 110], можно предполагать, что в сочетаниях с названиями населенных пунктов предлог *къ* использовался по-разному, поскольку ситуация в двух языках была несходной. В древнеболгарском дательный беспредложный при названиях городов, по-видимому, был малораспространен (во всяком случае уже к моменту появления первых памятников письменности он вышел из употребления), и, следовательно, предпосылки для экспансии конструкции с предлогом *къ* отсутствовали. О том, что в древнеболгарском такой экспансии не было, свидетельствуют данные памятников
В старославянском в соответствующих контекстах выступал, за редким исключением, предлог *въ* с вин. пад. [Павлова 1977: 176–181]. Для старославянского вообще после глаголов движения характерно употребление *къ* при названиях лиц и личных местоимениях; при названиях неодушевленных предметов этот предлог фигурирует в несколько раз реже [Ходова 1971: 88]. Из канонических старославянских текстов "Словарь старославянского языка" приводит только один пример употребления *къ* при названии города, образованном по модели прилагательное + **градъ**: **приде къ Иконїскоу градоу** ἐπέστη τῇ Ἰκονιαίων πόλει Supr. 45, 21 [SJS 1967: 86]. Можно привести еще один пример из Супрасльской рукописи: **повелѣ привести ї и инъı темничьникъı къ градоу Команьскоу** (εἰς τὴν πόλιν Κομάναν) 17,12. В редких случаях *къ* появляется здесь в соответствии с греч. ἐπί "к; на" (17,26; 150, 5, 8, 13) или κατά "к; на" (56, 15); в подавляющем большинстве примеров при названиях городов используется *въ* + вин. В Синайском патерике, переведенном в Болгарии и сохранившемся в русском списке конца XI в., *въ* + вин. при названиях населенных пунктов фиксируется не менее 50 раз, а предлог *къ* – только трижды: **поидивѣ къ Тетрафолоу. да тоу прѣбоудевѣ... ꙗкоже идоховѣ къ Тетрафолоу. не обрѣтоховѣ никогоже** (ἐν... εἰς) 137; **ꙗко приде къ Диополоу градоу. дроугъıи дьнь ꙗша и оубиша и** (εἰς) 266. Во всех примерах представлено инклюзивное значение. При названиях стран и областей в Синайском патерике встретился только *въ* + вин. (более 10 раз). В Успенском сборнике XII–XIII вв. (за вычетом текстов древнерусского происхождения – "Сказания о Борисе и Глебе" и "Жития Феодосия Печерского") предлог *въ* + вин фиксируется 65 раз при названиях городов и 16 раз при названии стран и областей, а предлог *къ* – всего дважды: **приде къ градоу Антиохиꙗ Сѵрьскъıꙗ. и крьстисѧ самъ и иже съ нимь** (ἐν) ("Мучение Христофора") 97а4; **къ Виѳании идоущю** (ἐπί) ("Похвала о Лазаре" Андрея Критского) 226г24. В последнем примере *къ*, очевидно, употреблено под влиянием греческого оригинала.

Более сопоставимы с русскими летописями по характеру контекстов переводные хронографы. В "Хронике" Иоанна Малалы (болгарский перевод X в., сохранившийся в русских списках не ранее XV в.) при указании на приближение к тому или иному городу с военными целями обычно употребляется предлог *на* (19 раз). Инклюзивное и направительное значение выражается предлогом *въ* + вин.· более 70 примеров с названиями городов и около 40 – с названиями стран и областей. Конструкция с предлогом *къ* встречается всего 4 раза: (Неоптолем) **прїиде ко Трѵи и ѡбрѣте в҄ колимози своего бытї оц҃а Ахилеоуса Ипопъдамъю** (κατέλαβεν τὴν Τροίαν) 127 (V 11); **иде с вои на пръсы силою великою и низъш(д) прииде къ Антиохии. и въшедъ на гороу глемоую Касиѡнъ, ꙗже есть ѡ(т) Антиохиꙗ поприщь ·ѕ҃·, сътвори в҄ горѣ бг҃ꙋ тысѧщи жрътвеноую** (κατέλαβεν τὴν Ἀντιόχειαν) 305 (XIII 5);

прииде... на Коньстѧнтинъ градъ, пославъ къ Антихии (так!) **Велицѣи заставꙋ** (εἰς) 335 (XV 4); **изыде изь града Коньстѧнтина к Саламбрии и приꙗ тꙋ сѣдѧщаꙗ. и абие примꙋчи и приꙗ всю Фракию** (ἐπί) 337 (XV 6). В двух первых примерах *къ* имеет эксклюзивное значение, в третьем, по-видимому, направительное. Последний пример может объясняться влиянием греческого оригинала.

Вопрос о том, в какой диалектной среде возник перевод "Хроники" Георгия Амартола, выполненный не позже XI в. и схранившийся в русских списках не старше XIII–XIV вв., пока не решен. Можно, однако, констатировать, что по употреблению предлога *къ* этот текст вполне сходен с "Хроникой" Малалы. Предлог *въ* + вин. с названиями городов после глаголов движения зафиксирован свыше 120 раз, с названиями стран и областей – около 50 раз, а предлог *къ* – всего 16 раз при названии городов и дважды при топониме **Фракиꙗ** (37/3 – πρός; 535/8 – τῇ Θράκῃ προσπελάσας; цифра за косой чертой указывает номер строки). Оба последних примера могут отражать зависимость от греческого оригинала, так же, как и 11 из 16 случаев употребления *къ* при названиях населенных пунктов (333/9, 479/2, 3 – ἐπί; 35/24, 191/21; 464/29, 466/8, 472/13, 504/12, 509/5, 552/6 – πρός). Из оставшихся пяти примеров надежны четыре: **всю въсточноую страноу погоуби. приде (ж) и къ Костѧнтиноу градоу, много врѣмѧ в Халкидонѣ сѣдѣ** (ἐν) 433; **и ѡ(т) града пакы къ Кръсолеполю... шествоваше** (εἰς Χρυσόπολιν) 479; **къ Селоуню прише(д) и плѣнии** (в других списках: **плѣни и**) (ἐν Θεσσαλονίκῃ καταλαβών) 535; **к Костѧнтиню градоу пріиде** (τὴν βασιλεύουσαν κατέλαβεν) 543. В первом и третьем примере представлено эксклюзивное значение, во втором – направительное, в четвертом – инклюзивное. В пятом примере показания списков расходятся: **приде к Костѧнтиню градоу** (в других списках: **во Костѧнтинь гра(д)**) **и ѡсѣде и** (κατέλαβεν τὴν Κωνσταντινούπολιν) 544.

В "Истории Иудейской войны" Иосифа Флавия, переведенной в Древней Руси не позже XIII в. [Мещерский 1958: 91–121], картина существенно иная. Известно, что этот перевод отличается большой свободой, и для многих контекстов невозможно указать соответствий в греческом оригинале. Наиболее показательны случаи, когда предлог *къ* употреблен в соответствии с греческим εἰς. В четырех случаях *къ* выполняет эксклюзивную функцию (описываются главным образом продвижения с военными целями); **иде** (Помпей) **къ Іер(с҃)лмꙋ** 351а28 (513; текст цитируется по списку РГАДА ф. 181 № 279 XV в; в скобках приводятся соответствующие листы Виленского хронографа, легшего в основу издания [Мещерский 1958]); **пришедшю емꙋ къ Птоломаиде. іоудѣи оусрѣтоша и на поли с женами и с҄ дѣтми** 393г25 (583); **прїиде къ Лоудꙋ. и не ѡбрѣте моужеска полꙋ въ томъ градѣ** 406г31 (604); **иде къ Амаоусꙋ** 429г33 (643). Гораздо чаще предлог *къ* употребляется инклюзивно: **ѡна же къ Римоу приплоувша вдаста кесареви црв҃ꙋ епистолию** 373а13 (550об); **шедъ къ Оуритоу. идѣже кесарь повелѣ. и събра тоу соудище** 373а29 (550об); **ѡнъ же влечѧше сн҃а своего ко Тоурꙋ. и ѡ(т)тоудꙋ преплоу въ Кесарию** 373б38 (551); **посла сн҃а своѧ, къ градꙋ Севастию** 373г22 (551об); **оустремишасѧ къ Кесарью** 388г12 (575об); **иоудѣи же въсхитив҄ше книгы законныѧ. и бежаша ко Новратоу** 401а7 (594); **иде къ Кесарїи** 402б33 (596об); **Титъ же превозивсѧ ѡ(т) Аханѧ. къ Алексан҄дрїи въ зимныи м(с҃)цѧ. и поемъ воѧ казаныѧ емоу. бодръ идѧше къ Птолѣмаидѣ. и тоу ѡбрѣте ѡ(т)цѧ҃** 411г5, 7 (612); **разбѣгоша съ Иѡсифомъ къ Тивирїадѣ** 413б24 (614об); **въз҄вратисѧ Єоуспасиꙗнъ к Толомаидѣ.** (так!) **и ѡ(т)тоудꙋ иде къ Кесарїи. идеже болшаа чѧсть еллинъ. и почтиша гемона великыми дарми** 417в37, 38 (621об); **съ своими ѡкрестными. бѣжа къ Тарихїи. и**

Соуспасїанъ же гна по немъ 418б4 (622об); иде къ Кесарїи 423в29 (631); жита въсхитающе. приносахꙋ къ Масадѣ 428г33 (641); плоу къ Римоу 431в34 (646); прїидѣ къ Оутироу. идеже мюѕи сан приидоша... несоуще къ немоу вѣнци златы. и радостныа грамоты 434б22 (650об); иде... къ Асколонꙋ. и къ Ѡнни 435б9, 10 (652об); ити къ Римꙋ 465г12 (709об); прїиде къ дрꙋгои Кесарїи 465г25 (709об); къ приморнѣи Кесарїи въз'вративса 466б22 (710об); иде къ Вꙋритꙋ... и тоу длъго пребывъ. и волшюю свѣтлость показа 466б40 (711); прїиде къ Александрїи 469а4 (716); прїидоста къ Римоу 472г21 (724об); иде в' (в других списках: къ) Кесарїи 477а3 (733об); прибѣглъ бѣ къ Кꙋрикоу (Κυρήνην) 478а15 (735об).

Показательны также примеры без греческих соответствий, т.е. случаи, когда переводчик в выборе предлога руководствовался собственной языковой нормой: пшеницю возахꙋ ѡ(т)тоуда къ Римоу 434а17 (650); иде ѡ(т) Никополии к Раклїискꙋ градꙋ. а ѡ(т)тоуда иде къ Пилоусию. и къ Глиннꙋ. идеже выинꙋ безводїе. и ѡ(т)тоудꙋ къ Газѣ 435б6, 7, 8, 9 (652об); приключи(с) прити къ Іер(с)лмоу 468г9 (715об). В предпоследнем примере *къ*, по-видимому, имеет направительное значение.

Наглядное представление о частотности употребления предлогов *къ* и *въ* после глаголов движения при названиях городов в рассмотренных памятниках поможет составить предлагаемая ниже таблица. Разумеется, приведенная в ней статистика достаточно приблизительна: во-первых, при просмотре больших по объему памятников едва ли можно гарантировать абсолютно полный учет всех контекстов, а во-вторых, во многих случаях трудно однозначно определить значение предлога *къ* (в особенности это касается разграничения направительного и инклюзивного значения). Кроме того, общее число соответствующих контекстов в некоторых памятниках (особенно в "Повести временных лет") невелико, что делает статистику малопоказательной. Тем не менее данные, приведенные в таблице, могут дать по крайней мере предварительное представление о реальном распределении конструкций с *къ* и *въ* + вин. при названиях городов в памятниках письменности.

При подсчетах не учитывались случаи употребления предлога *въ* после глаголов, сложенных с приставкой *въ-*, поскольку управление предлогом *въ* в этих контекстах являлось обязательным. В летописях просчитывались только топонимы не *а*-склонения; в переводных памятниках – все названия, поскольку род и соответственно тип склонения у заимствованных топонимов неустойчив. В "Повести временных лет" и контекстах, совпадающих в Суздальской и Киевской летописи, принимались во внимание только примеры, в которых показания Лаврентьевского и Ипатьевского списка согласуются между собой; случаи, когда конструкции с предлогом *къ* в Лаврентьевском списке соответствует детальный беспредложный в Ипатьевском списке или наоборот, исключались из подсчетов. В Ипатьевской летописи не учитывались написания предлога *къ* над строкой под дугой, которые, по всей вероятности, появлялись при попытках устранить дательный беспредложный. В переводных памятниках принимались в расчет только случаи, когда предлог *къ* соответствует греч. εἰς или ἐν или же вовсе не имеет соответствия в оригинале.

На таблице хорошо видна граница, отделяющая русские летописи от переводных памятников: высокая частотность употребления предлога *къ* при названиях городов резко отличает летописи от остальных рассмотренных текстов. Однако нужно иметь в виду, что три графы, иллюстрирующие употребительность предлога *къ*, неравнозначны. Понятно, что число эксклюзивных употреблений зависит прежде всего от наличия соответствующих контекстов. Подавляющее большинство эксклюзивных контекстов приходится на долю упоминаний о военных походах на тот или иной город, поэтому данные летописей в первой графе могут быть соотнесены только с данными переводных хронографов. Кроме того, в этих контекстах не может быть сопоставлена

Таблица

	къ экскл.	*къ* направ.	*къ* инкл.	*въ* + вин.
I Новгородская летопись	35	1	1	122
Повесть временных лет	19	13	7	12
Суздальская летопись	92	24	12	107
Киевская летопись	158	88	41	174
Галицко-Волынская летопись	56	18	16	56
Синайский патерик			3	50
Успенский сборник			1	65
"Хроника" Малалы	2	1		70
"Хроника" Амартола	2	1	1	120
"История Иудейской войны"	4	4	26	78

частотность предлогов *къ* и *въ*, поскольку предлогу *въ* эксклюзивная функция вообще не свойственна (единичные исключения представляют собой отклонения от нормы и/или калькируют греческие предлоги); таким образом, соотношение цифр первой и последней графы незначимо. В то же время существенно, насколько интенсивно конкурирует в том или ином памятнике предлог *къ* в эксклюзивном значении с предлогом *на* + вин. В "Хронике" Иоанна Малалы, как уже упоминалось, в описаниях военных походов предлог *на* употребляется 19 раз, в "Хронике" Георгия Амартола – 13 раз, т.е. чаще, чем *къ* в эксклюзивном значении (если не принимать во внимание указанные выше случаи, где появление *къ* может объясняться влиянием греческого оригинала). В "Истории Иудейской войны" *на* при описании военных походов на города также преобладает. Для русских летописей, особенно ранних, характерно преобладание *къ* в соответствующих контекстах; наиболее активно предлог *на* конкурирует с *къ* в Галицко-Волынской летописи, а в Суздальской летописи его частотность заметно возрастает начиная с записей 1180-х годов.

Более показательна частотность употребления *къ* в направительном и инклюзивном значении, поскольку в этих значениях выступает и *въ* с вин. пад., и это дает возможность установить соотношение частотности предлогов *къ* и *въ*, абстрагируясь от случайного показателя – числа соответствующих контекстов. Здесь отчетливо видна грань, отделяющая русские летописи (за исключением Новгородской I) и "Историю Иудейской войны" от остальных рассмотренных текстов, в которых частотность употребления предлога *къ* ничтожно мала по сравнению с частотностью *въ* + вин. В русских летописях не меньше трети всех предложных конструкций в инклюзивных и направительных контекстах содержит предлог *къ*, что является следствием экспансии конструкции с *къ* после отмирания дательного беспредложного при названиях городов в древнерусском языке. Наиболее показательным при этом является соотношение цифр в двух последних колонках, поскольку именно в инклюзивных контекстах предлоги *къ* и *въ* полностью синонимичны. По частотности употребления *къ* в инклюзивных контекстах к летописям примыкает "История Иудейской войны"; доля примеров с *къ* (соотношение *къ* : *въ* равно 1 : 3) здесь даже выше, чем в Суздальской и Киевской летописях. Интересно, что частотность употреблений *къ* в "Истории Иудейской войны", как можно заметить по адресам приведенных примеров, возрастает от начала к концу памятника – возможно, в начале работы следование переводчика церковнославянским нормам было более строгим. Относительно высокая частотность конструкции с *къ* при названиях городов может служить еще одним аргументом в пользу восточнославянского происхождения перевода "Истории Иудейской войны".

Как видно из таблицы, по употреблению *къ* в направительном и инклюзивном значении Новгородская I летопись старшего извода примыкает к памятникам болгарского происхождения, резко дистанцируясь от остальных русских летописей. Этот факт может объясняться отчасти архаичностью Синодального списка, отчасти – особенностью новгородского диалекта, в котором, как предполагал Л.П. Якубинский, предлог *къ* сохранял свое исконное эксклюзивное значение, в то время как инклюзивную функцию выполнял предлог *въ* [Якубинский 1953: 178]. Дальнейшие исследования, возможно, подтвердят его предположение – во всяком случае, в известном на сегодняшний день корпусе новгородских берестяных грамот [Зализняк 1995] имеются единичные примеры с предлогом *въ* (**ехати во Соуждале** гр. № 439, 1190–1200-е гг.; **в Торжокъ принхавъ** гр. № 358, сер. XIV в.), но предлог *къ* после глаголов движения при названиях городов не встретился ни разу. В Новгородской I летописи младшего извода предлог *къ* при названиях городов часто появляется там, где в Синодальном списке фигурировал дательный беспредложный: в Академическом списке XV в. фиксируется 37 таких замен, в Комиссионном списке XV в. – 51. В статье о новгородских князьях, следующей за "Повестью временных лет" перед погодными записями, конструкция с предлогом *къ* в инклюзивном значении встретилась 4 раза: **идя къ Кыеву, и посади в Новѣгородѣ Коснятина Добрыница** 161; **бѣжа къ Кыеву** 161; **княживъ 5 лѣт, иде к Ростову, а Давыдъ приде к Новугороду княжить** 161; однако в этой статье многократно употребляется дательный беспредложный, поэтому и в перечисленых контекстах можно предполагать замену исходной беспредложной конструкции. В записях, следующих за годом, на котором заканчивается Синодальный список, дательный беспредложный уже не употребляется. Предлог *къ* в направительном и инклюзивном значении встретился здесь всего 5 раз: (1342) **прислаша плесковици послы к Новугороду съ поклономъ** 354; (1342) **хотѣша ити къ Плескову** (для защиты города) 354; (1481) **прислаша к Новугороду, просяще помощи** 378; (1428) **приха владыка Єуфимеи к Порхову с послы новгородскыми** 415; (1437) **поиха митрополит въ Пьсковъ къ Цесарюграду** 419 (в последнем примере представлена трансформация упоминавшейся выше старой конструкции, в которой при перечислении нескольких пунктов назначения конечный обозначался дательным беспредложным). Наконец, еще в одном контексте показания списков расходятся: в Комиссионном читается: (1248) **пошли къ Цесарьскому граду** 359, в Академическом – **въ Царьград**. Таким образом, и в поздних списках Новгородской I летописи предлог *къ* в направительном и инклюзивном значении встречается весьма редко – во всяком случае, во много раз реже, чем в современной этим спискам Ипатьевской летописи. Учитывая, что доля употреблений *къ* в направительном и инклюзивном значении в Лаврентьевской летописи сравнительно невелика, можно предположить, что экспансия конструкции с *къ* протекала более интенсивно в южных восточнославянских диалектах.

ИСТОЧНИКИ

Изборник 1076 г. – Изборник 1076 г. / Изд. подг. Голышенко В.С., Дубровина В.Ф., Демьянов В.Г., Нефедов Г.Ф. М., 1965.

Ипат. – Полное собрание русских летописей. Т. 2. Ипатьевская летопись. М., 1962.

Лавр. – Полное собрание русских летописей. Т. 1. Лаврентьевская летопись и Суздальская летопись по Академическому списку. М., 1962.

Новгородская I летопись – Новгородская харатейная летопись / Под ред. Тихомирова. М.Н. М., 1964.

Новгородская I летопись младшего извода – Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М., 1950.

Синайский патерик – Синайский патерик / Изд. подг. Голышенко В.С., Дубровина В.Ф. М., 1967.

Смоленская грамота 1229 г. – Смоленские грамоты XIII–XIV вв. / Изд. подг. Суминкова Т.А., Лопатин В.В., под ред. Аванесова Р.И. М., 1963.

Супрасльская рукопись – Супрасльская рукопись / Изд. Северьянова С.Н. Т. 1. СПб., 1904.

Усп. сб. – Успенский сборник XII–XIII вв. / Под ред. Коткова С.И. М., 1971.

"Хроника" Георгия Амартола // *Истрин В.М.* Хроника Георгия Амартола в древнем славяно-русском переводе. Т. 1. Пг., 1920.

"Хроника" Иоанна Малалы // *Истрин В.М.* Хроника Иоанна Малалы в славянском переводе (репринт.) / Изд. подг. Чернышева М.И. М., 1994.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Зализняк А.А. 1995 – Древненовгородский диалект. М., 1995.

Мещерский Н.А. 1958 – История Иудейской войны Иосифа Флавия в древнерусском переводе. М.; Л., 1958.

Павлова Р. 1977 – Пространственные конструкции в древнерусском языке в сопоставлении с древнеболгарским языком. София, 1977.

Правдин А.В. 1956 – Дательный приглагольный в старославянском и древнерусском языках // Уч. зап. Ин-та славяноведения АН СССР. Вып. 13. М., 1956.

Станишева Д. 1964 – Беспредложный дательный и винительный локальной функции в славянских языках // Известия на Ин-та за български език. Т. XI. 1964.

Ходова К.И. 1971 – Падежи с предлогами в старославянском языке. М., 1971.

Якубинский Л.П. 1953 – История древнерусского языка. М., 1953.

Gallis A. – Beiträge zur Syntax der Richtungsverba in den slavischen Sprachen (besonders im Serbokroatischen) (=Skrifter utgitt av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. II. Hist.-Filos. Klasse. N. 12.) Oslo, 1973.

SJS 1967 – Slovník jazyka staroslověnského. Sv. 16. Praha, 1967.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1996

© 1996 г. Н.А. БАРНОВА

О СТЕЧЕНИИ СОГЛАСНЫХ В ЦЕЗСКИХ ЯЗЫКАХ

В дагестанских языках вопрос о дистрибутивных взаимоотношениях консонантных фонем в группах специально не исследовался. В данной работе рассмотрена комбинаторика согласных в языках цезской группы. Считаем возможным допустить в цезской подгруппе четыре языка: цезский, хваршинский, гинухский, бежтинский; отметим, однако, что в специальной литературе этот вопрос остается дискуссионным (см. [Гудава 1979; Ломтадзе 1963]).

Консонантная система цезских языков отличается большей простотой, чем консонантизм аварско-андийских языков, что обусловливается, в первую очередь, отсутствием корреляции по интенсивности ("сильный–слабый"). Система согласных цезских языков является общей для всех языков и диалектов этой группы. Выделяются девять локальных рядов согласных: 1) губные, 2) зубные, 3) свистящие, 4) шипящие, 5) латеральные, 6) передневелярные, 7) задневелярные, 8) фарингальные, 9) ларингальные; фонемы класса сонантных в сочетании с остальными согласными рассматриваются как консонантные комплексы.

Нами рассматривается прежде всего распределение согласных в корневых морфемах, но одновременно учитывается также дистрибуция согласных в комплексах, которые встречаются только на стыке морфем и в основах, заимствованных из других языков. Мы различаем две категории групп согласных: 1) маркированные группы, т.е. комбинации согласных, которые могут не встретиться ввиду недостаточности исследуемого материала и 2) немаркированные группы, т.е. комбинации согласных, отсутствие которых обусловлено фонологической структурой языка [Мачавариани 1966: 78–80].

Исходная выборка языкового материала такова: в каждом языке обобщения сделаны на десяти (и более) различных лексемах.

В цезских языках стечения согласных встречаются в основном в позиции между гласными (в инлауте). В начале и в конце слова группы согласных не встречаются. Поэтому наше исследование ограничивается группами, представленными в инлауте. Абсолютное большинство комплексов согласных состоит из двух членов. Трехчленные комплексы почти не встречаются. Следует отметить, что до последнего времени не существовало ни одного словаря цезских языков (исключением являются недавно вышедший в свет бежтинский словарь М.Ш. Халилова [Халилов 1995], а также небольшие словники гунзибского и бежтинского языков Е.А. Бокарева [Бокарев 1959]. Однако, к счастью, специалистами установлены многие лексические параллели между цезскими и аварско-андийскими языками. Нами использованы работы Е.А. Бокарева, Д.С. Имнайшвили, Э.А. Ломтадзе, Г.И. Мадиевой, С.М. Хайдакова [Бокарев 1959; Имнайшвили 1963, Ломтадзе 1963, Мадиева 1965, Хайдаков 1973]. Особый интерес вызвали фундаментальные монографии Т.Е. Гудава и Б.К. Гигинейшвили [Гудава 1979; Гигинейшвили 1977], являющиеся серьезным вкладом в сравнительное дагестановедение, а также представляющая значительную ценность работа А.Е. Кибрика и С.В. Кодзасова [Кибрик, Кодзасов 1990], в которой дан сопоставительный словарь двадцати двух дагестанских языков (тезаурус именных значений содержит 573 единицы).

Структурный анализ распределения согласных в цезских языках дает возможность установить, что в этих языках имеются комплексы согласных следующих типов: 1) сонорный + шумный (RT); 2) шумный + шумный (TT) и 3) шумный + сонорный (RT).

Рассмотрим комплексы согласных в каждом языке цезской группы в отдельности.

В цезском языке в комплексах типа TT и TR в качестве первого члена допустимы согласные всех локальных рядов. Что касается второго члена такой группы, им может являться представитель любого локального ряда, кроме латеральных, фарингальных и ларингальных рядов: *agdori* "точильный камень", *gegmu* "мука", *micxer* "деньги", *bišwa* "еда", *cuxdu* "худой", *bil'no* "восемь", *eqra* "класть", *γutku* "дом", *akrı* "творог", *aždaḫo* "дракон", *eγwedi* "пот", *miskinaw* "бедный".

Отметим также, что комплексы структуры TT и TR весьма редки во всех цезских языках и встречаются в основном в заимствованных формах или же на стыке морфем.

В цезском языке нами зафиксировано всего 68 различных пар согласных структуры TT и TR.

В консонантных комплексах цезских языков особо значительную роль играют сонорные согласные. В цезском языке формула построения этих стечений такова: C_1 (сонорный R) + C_2 (нефарингальный, неларингальный), т.е. в парах структуры RC в качестве второго члена не представлены ни фарингальные, ни ларингальные согласные.

Например: *kerbu* "напильник", *kwerṭa* "молоток", *orzen* "озеро", *barγič* "кольцо", *enda* "это", *iṇto* "здесь", *imxu* "пещера", *elbi* "голубь", *ṭʒelqa* "вянуть".

Цезские языки полностью подтверждают картину, характерную для аварско-андийских языков: в консонантных комплексах на первом месте особенно часты сонорные *r, n*, в то время как сонорные *l, m* в вышеуказанной позиции (V – V) встречаются крайне редко. В цезском отмечено всего 38 различных пар структуры RC.

В гинухском языке (который, по мнению некоторых специалистов, настолько близок к цезскому, что является его диалектом) отмечено немало консонантных пар, первым членом которых является шумный согласный.

Дистрибутивный анализ материала выявляет, что в группах структуры TC первый член характеризуется свободным распределением, в то время как распределение второго члена подвержено ограничениям: в качестве второго члена допустимы нелатеральные, нефарингальные и неларингальные консонантные.

Например: *kedbi* "дочери", *ṭoṭra* "читать", *ṭuṭmoj* "муха" (эрг. пад.) *šegwe* "лошадь", *nokdiju* "синий", *reḳwe* "человек", *esni* "братья", *iḉdiju* "желтый", *oxdaho* "летом", *oqno* "стал", *aqwebe* "мыши".

Всего отмечено 26, различных пар структуры TC.

В гинухском, как и в остальных языках цезской подгруппы, с особой частотой встречаются консонантные пары типа RT, точнее, структура их такова: R (сонорная) + T (нефарингальная, неларингальная смычная): *bukorbe* "змеи", *tirmi* "в капкане", *očorduḳa* "старый", *açindiju* "новый"; *qontu* "колено", *egunḳa* "хороший", *ḳonçu* "нога", *panqi* "лепешка", *aldiju* "белый".

Отмечено всего 14 различных групп структуры RT.

Хваршинский язык принадлежит к западной подгруппе цезских языков. В хваршинском выделяется два структурных типа консонантных комплексов: 1) шумный + + любой согласный и 2) сонорный + шумный (TC и RT соответственно).

Анализ консонантных пар первого типа дает характерную для цезских языков картину: в инлауте в корневых морфемах на второй член комплекса налагаются определенные органичения, а именно, в качестве второго члена могут быть представлены нелатеральные, нефарингальные и неларингальные согласные.

Например: *labzi* "рубанок", *dublo* "ты" (род. пад.), *gobḉi* "быть", *ṭʒebxa* "пыль", *gidmo* "рубашка" (эрг. пад.), *icxa* "ломать", *acxa* "угощать", *eḳl'a* "падать", *naqwa* "шить", *aqše* "сплю", *lešṭa* "отпускать", *tusḳel* "корзина", *maṭʒxa* "обманывает", *l'oxro* "лягушка", *rexne* "лопата", *lul'xa* "бросает".

Зафиксированы всего 54 различных комплекса первого типа (ТС).

В хваршинском языке отражена общая для стечения согласных цезских языков характерная особенность – в большом количестве представлены пары согласных структур RT. Вторым членом пар не являются ни фарингальные, ни ларингальные фонемы, т.е. формула таких комплексов типична: R (сонорный *r, l, m, n*) + T (нефарингальный, неларингальный).

Например: *ḳurḳul* "абрикос", *qarqar* "ящерица", *qirqo* "журавль", *zarba* "лисицы", *durda* "бег", *sorṭ̣o* "на площади" (местн. пад.), *lolba* "ступени", *kulše* "бросаю", *qembo* "головы" (мн.ч.), *kunṭa* "платье", *čankar* "кукуруза", *isanše* "стирает", *ćinl'u lil* "жирное мясо".

Отмечено всего 16 различных групп структуры RT.

В инхокваринском говоре хваршинского языка встречаются комплексы, второй член которых – билабиальный сонант *w*, (в отличие от точки зрения о наличии в хваршинском языке лабиализованных согласных, мы придерживаемся принятого грузинскими дагестановедами мнения о том, что они представляют собой последовательности фонем, второй член которых билабиальный *w*). В интервокальной позиции представлены комплексы шумная + *w*. Этот факт отмечен Б.А. Бокаревым [Бокарев 1959: 145–146].

Например: *etwa* "прилетать", *haćwaća* "девяносто", *lakwaxa* "увидеть", *loḳwa* "сердце", *laḳwa* "зажигать" (наст.вр.), *eqwa* "расти", *meqwa* "привозить" (наст.вр.), *haṭ̣waća* "семьдесят", *beγwa* "рисовать", *bixwada* "резать".

В хваршинском языке стечения TW изредка встречаются и в начальной позиции: *šwarda* "прыгать", *γwe* "собака", *xwal'a* "брить", *kwere* "забор", *qwaja* "писать", *qwel* "кора".

Как было отмечено, некоторые исследователи разграничивают бежтинский и гунзибский языки друг от друга, и представляют их самостоятельными языковыми единицами (Е.А. Бокарев). Другие специалисты представляют бежтинский и гунзибский двумя разными диалектами одного общего – хванского или капучино–гунзибского языка (Э.А. Ломтадзе). Т.Е. Гудава находит возможным выделение бежтинского и гунзибского как отдельных языков, хотя в то же время считает бесспорным их диалектное происхождение. Некоторые исследователи гунзибский язык называют накадским.

Бежтинский и гунзибский языки принадлежат к восточной подгруппе цезских языков. Дистрибутивный анализ выявляет две основные структурные разновидности консонантных пар в гунзибско–бежтинском: шумный + любой согласный (ТС) и сонорный + любой согласный (ТС). В гунзибско–бежтинском языке, как и в остальных языках цезской группы, консонантные комплексы первого типа весьма малочислены и в основном получены путем заимствования или же на стыке морфем.

Например: *šeble* "ребро", *ḳobsi* "ложка", *gedba* "кошки" (мн.ч.), *oṭno* "засыпать", *ćiṭxe* "сотый", *ḳucba* "щенок", *reṭḳa* "тушить", *azbar* "двор", *askar* "войско", *balažba* "борода", *rišḳa* "ломать", *ćigba* "блохи" (мн.ч.), *haḳla* "цветы", *boḳdaba* "нищенствовать", *zuḳca* "бьет", *axda* "рыть", *uxtur* "напильник", *buxṭu* "самец", *xexsa* "быстро", *buṭ̣ḳa* "вынимать", *toqči* "козленок".

Всего зарегистрировано 76 различных пар структуры ТС.

В корневых морфемах вышеуказанной структуры ТС второй член консонантной пары представлен только нелатеральной, нефарингальной или неларингальной фонемой.

Что касается пар согласных второго типа (RC), здесь проявляется закономерная для цезских языков картина. Группы согласных типа RC очень часты в гунзибско–бежтинском. Вторым членом этих групп является нефарингальная или неларингальная консонантная.

Например: *barbari* "оса", *tarpa* "сумка", *arṭo* "рано", *horçom* "мул", *arsena* "стрекоза", *arča* "вставать", *γarl'a* "кипятить", *qarqaču* "глотка", *irxi* "табун", *halduḳa* "белить", *čaltan* "болото", *todilḳa* "разрыхлять", *ḳonču* "опухоль", *kanl'i* "свет".

Всего отмечено 35 различных пар структуры RC.

В отличие от остальных цезских языков, в гунзибско–бежтинском не засвидетельствованы лабиализованные Cw. Здесь наглядно прослеживается процесс делабиализации: *biγa* "придти" (ср. цез. *boγwa*), *uha* "умирать" (ср. цез. *'exwa*).

Подводя итоги, отметим основные закономерности и тенденции, присущие стечению согласных в цезских языках: 1) абсолютное большинство консонантных комплексов состоит из двух членов. Эти группы представлены в середине слова между гласными (V – V). Среди них выделяются два структурных класса: I комплексы первый член которых шумная согласная; II комплексы первый член которых сонорная согласная. Что касается второго члена комплексов как первого, так и второго класса, можно утверждать, что в исконных лексических единицах они всегда представлены шумной согласной. Примечательно, что при стечении согласных внутри морфем в исконной лексике встречаются лишь комплексы первого класса. Однако при стечении согласных на стыках морфем встречаются группы как первого, так и второго классов. 2) Одной из самых характерных черт консонантных групп является тенденция делабиализации лабиализованных комплексов, которая в большей или меньшей степени присуща всем языкам цезской группы. Так, например: хвар. *muḳo*, гунз. *baḳ* (ср. анд. *boḳwo* "место"); цез. *ca*, гинух. *ca*, хвар. *ca* (ср. авар. *čwa* – аварско-андийскому / *č* / регулярно соответствует /*c*/ в цезских языках). 3) Кроме суперации лабиализованных комплексов путем делабиализации, налицо также тенденция упрощения или преодоления комплексов посредством выпадения первого члена группы. Например: |*nḳ*| > |*ḳ*| анд. *sᵢunḳa* срв. бежт. *siḳo*: гунзиб. *šuḳu* "рот"; |*nčᵢ*> |*š*| анд. *ḳončᵢu* срв. бежт. *ḳamuša* "ящерица" (в этом примере андийскому *čᵢ* закономерно соответствует рефлекс *š* в цезских языках).

Кроме сказанного выше, примечательно, что консонантные комплексы языков цезской подгруппы имеют много свойств, общих с аналогичными комплексами языков аварско-андийской подгруппы. Группы согласных второго класса RT отличаются высокой частотностью в языках как аварско-андийской, так и цезской подгруппы. Дистрибутивная мощность сонорных в качестве первого члена пары намного превосходит мощность шумной согласной. (Больше 80% консонантных пар имеют структуру RT). Цезские языки, как и аварско-андийские, весьма бедны комплексами второго класса. В это же время дистрибутивная мощность шумной согласной в качестве второго члена группы неизмеримо выше мощности сонорной (85% пар имеют структуру CT).

Как языки андийской подгруппы, так и цезские языки характеризуются синтагматической закономерностью артикуляционного свойства: при рассмотрении корневых групп согласных в пределах исконного лексического фонда, в качестве первого члена представлены лишь антериорные согласные. Таким образом, согласные заднего образования (глухие латеральные, фарингальные и ларингальные) встречаются только на стыке морфем или же в адаптированных формах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Бокарев Е.А. 1959 – Цезские (дидойские) языки Дагестана, М., 1959.

Гигинейшвили Б.К. 1977 – Сравнительная фонетика дагестанских языков. Тбилиси, 1977.

Гудава Т.Е. 1979 – Историко-сравнительный анализ консонантизма дидойских языков. Тбилиси, 1979.

Имнайшвили Д.С. 1963 – Дидойский язык. Тбилиси, 1963.

Кибрик А.Е., Кодзасов С.В. 1990 – Сопоставительное изучение дагестанских языков. Имя, фонетика. М., 1990.

Ломтадзе Э.А. 1963 – Гинухский диалект дидойского языка. Тбилиси, 1963.

Мадиева Г.И. 1965 – Грамматический очерк бежитинского языка. Махачкала, 1965.

Мачавариани Г.И. 1965 – Общекартвельская консонантная система. Тбилиси, 1965 (на груз. яз.).

Хайдаков С.М 1973 – Сравнительно-сопоставительный словарь дагестанских языков. М., 1973.

Халилов М.Ш. 1995 – Бежтинско-русский словарь. Махчкала, 1995.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1996

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

***H. Werner.* Das Klassensystem in den Jenissej-Sprachen.** Harrassowitz Verlag. Wiesbaden, 1994. 193 S.

Кетский язык, единственный в настоящее время живой язык енисейской группы, является предметом постоянного интереса для общего и типологического языкознания. Узкие специалисты по кетскому языку также составляют довольно многочисленный отряд; во всяком случае, диссертаций на кетском материале защищено больше, чем по какому-либо другому из палеоазиатских языков, к которым кетский причислен. В качестве последнего примера назову превосходную работу С.С. Буторина, успешно защищенную в июне 1995 г. в Новосибирске [Буторин 1995]. Однако рецензируемая книга представляет собой нечто большее, чем еще одна единица в списке специальной литературы. Прежде всего, она базируется на материале не только кетского, но и других языков енисейской группы (хотя кетские данные, по понятным причинам, составляют львиную долю языкового материала). Автор книги, Г.К. Вернер – без преувеличения, "кетолог № 1", признанный специалист по енисейской группе, написавший, в частности, монографию о мертвом коттском языке [Вернер 1990]. Наконец, книга посвящена стержневой проблеме енисейской грамматики – категории рода или класса, категории доминантной, пронизывающей всю языковую структуру. Следует добавить, что из (живых) агглютинирующих языков Сибири кетский – единственный, который имеет категорию рода.

Предшествующие исследователи характеризовали это грамматическое явление то как категорию рода (К. Доннер, А.П. Дульзон), то как классную систему (Е.А. Крейнович); Вернер, как следует уже из заглавия его книги, также предпочитает термин "класс". Мне ближе термин "род", но, в конце концов, есть и личные терминологические пристрастия. Важно только отдавать себе отчет в том, что "род" и "класс" – это разные наименования одного и того же, как показал в своей недавней книге Г. Корбетт [Corbett 1991]. Естественно, Вернер отдает себе отчет в этом, ссылаясь на работу Корбетта в самом начале (с. 6). Следуя авторским предпочтениям, в дальнейшем я также буду пользоваться термином "класс".

Во Введении (с. 1–12) автор излагает сведения о енисейской группе языков. Их было известно шесть (аринский, ассанский, югский, кетский, коттский, пумпокольский), они были распространены на обширной территории с примерными границами: Иртыш (на западе) – Ангара (на востоке) – Курейка (на севере) – Тува (на юге). В настоящее время живым языком является только кетский (число кетов – 1113 чел. по данным 1989 г., из них носителей языка – 60–70%). Югский язык (ранее описывавшийся как сымский диалект кетского) практически уже мертв. Коттский язык сохранялся до середины XIX в., его "застал в живых" М.А. Кастрен. Остальные енисейские языки исчезли еще в XVIII в., будучи поглощены восточнотюркскими и самодийскими языками. Группа является генетически изолированной. Генетические связи енисейских языков до сих пор не установлены.

Возьму на себя смелость предположить, что эти связи, возможно, и не будут установлены. Хотелось бы обратить внимание на другое. Структурные связи енисейских языков установлены бесспорно и довольно давно, об этом писал еще Дульзон [Дульзон 1968]: это – баскский язык, кавказские языки, язык бурушаски (вершикский), американо-индейские языки; позже Дульзон справедливо сопоставлял кетские данные с данными чукотско-корякских языков. Речь идет не об отдельных "об-

щностях" и материальных совпадениях (которые в конце концов могут быть и случайными), но о принципиально важных элементах грамматической структуры. Все агглютинирующие языки Евразии делятся на два типа: 1) "односторонние": агглютинация типа А, или алтайского типа (слово обязано начинаться с корня; в этом смысле финно-угорские, самодийские, тюркские, монгольские, тунгусо-маньчжурские, корейский, японский и эскимосский языки могут быть охарактеризованы как "урало-алтайские"), и 2) "двусторонние": агглютинация типа Б, или кавказского типа (слово не обязано начинаться с корня, особенно и прежде всего глагольное слово; грамматические, словоизменительные категории выражаются элементами, располагающимися левее корня в линейной цепочке словоформы). К этому типу относятся как енисейские языки, так и все те, которые были названы Дульзоном. Перечисленные структурные схождения вряд ли могут быть случайными. Из них вытекают и другие следствия, например: в языках, характеризующихся агглютинацией типа Б, обычно представлено полиперсональное спряжение, а также (в более или менее скрытой форме) категория рода (класса). В то же время языкам, характеризующимся агглютинацией типа А, категория рода совершенно чужда. Пожалуй, единственный намек на классификацию "живой/ неживой", "человек/нечеловек" в этих языках – вопросительные местоимения "кто/ что". Во всяком случае, мне не известен язык, где концепты "кто" и "что" не различались бы с помощью разных корней.

Книга Вернера, помимо Введения и Заключения, содержит четыре главы.

Глава I "Классы имен в кетском, югском и коттском" (с. 13–44), начинается с краткого изложения представлений енисейских народов об окружающем мире. Обращение к этому предмету помогает уяснить истоки интересующей нас классификации и ее основания. Автор, правда, признает, что недвусмысленного ответа, почему имена отнесены к тому или иному классу, религиозные представления сами по себе не дают (с. 18); однако он все же выводит первую дихотомию: живой/неживой. Делается предположение, что первоначально деление осуществлялось все же по другому признаку: "активный/инактивный", что скорее связано с членением процессуальных, а не предметных концептов. Что касается енисейских имен, то они первоначально делились по признаку "живой/ неживой"; из них к классу "живой" относилось около 10% имен, тогда как 90% составляли класс "неживой". На с. 20 перечисляются семантические группировки имен класса "живой" – всего их насчитывается 12, причем сюда входили не только наименования человека, богов и мифологических существ, животных, рыб и насекомых, деревьев и растений, небесных тел, но также и слово со значением "огонь" (составляющее последнюю группу). Категория рода (класса) в енисейских языках является "по преимуществу семантической системой" (определение Корбетта): по исходной (словарной) форме опознать классную принадлежность имени невозможно. Вернер перечисляет имена списками, сопровождая их необходимыми комментариями. Два класса имен он называет "мужской" и "женский"; членение по этому признаку возникло позже, в рамках класса "живой", однако пол при классификации существенной роли не играл. Крейнович, которого Вернер цитирует (с. 32–33), полагал, что при делении имен на классы учитывались другие признаки: (1) активность денотата, (2) его социальная значимость, (3) его размеры, (4) одушевленность, (5) целостность. Названия "мужской" и "женский" мотивированы тем, что имена, означающие мужчин и женщин (и те и другие, безусловно, входят в класс "живой"), попадают в разные классы. По-видимому, надо подчеркнуть, что оппозиции "живой/неживой", "мужской/женский" перекрещиваются и что класс "женский" отнюдь не совпадает с классом "неживой".

Классные противопоставления выявляются при словоизменении (это то, что Корбетт называет target genders). Уже знакомство с формами множ. числа показывает, что аффикс *-n* имеют преимущественно имена класса "живой", аффикс -ŋ – имена класса "неживой". Это не правило, а тенденция, установленная Дульзоном в 1964 г. и в дальнейшем проверявшаяся другими исследователями на обширном языковом материале. Суммируя и анализируя результаты этих исследований, Вернер выдвигает гипотезу о том, что первоначально в енисейских языках существовала оппозиция "множественность : коллективность (или собирательность)". Множественность выражалась показателем *-n*, если речь шла об однородных одушевленных предметах; в остальных случаях употреблялись собирательные формы с показателем -ŋ (с. 51). Этим объясняется то, что форму на -ŋ принимают и имена класса "живой": так, слово *kɛʔt* "человек" имело форму множ.

числа *kʌʔt* и собирательную *d'εʔŋ*, которая в современном (кетском) языке означает "люди", а форма *kʌʔt* сузила свое значение до "дети (одной матери)".

Существенную часть главы II, посвященной морфологии имен и местоимений (с. 45–84), занимает анализ системы склонения.

Наиболее отчетливо классные противопоставления у имен выражаются в формах косвенных падежей: падежные форманты слов мужского класса маркируются показателем *-a*, женского – показателем *-i*. Состав падежной парадигмы в разных описаниях нестабилен, особенно если речь идет о разных енисейских языках: в них выделяли от 8 до 11 падежей; известна работа, где доказывается, что кетский язык – беспадежный [Валл, Канакин 1985]. В рецензируемой книге Вернер постулирует наличие для кетского 12 падежей, для югского – 11, для коттского – 10 (с. 55–56). Падежная парадигма неоднородна: половина падежей имеет специальные маркеры класса (генитив, датив, бенефактив, аблатив, адессив, вокатив), другие падежи класса не различают (абсолютив, локатив, прозекутив, комитатив, каритив, инструменталис). При этом последняя группа представляет собой более архаичное явление, диахронически они возникли первыми. Их семантика указывала на состояние денотата вне зависимости от того, живой он или нет. Этим объясняется отсутствие у них классных различий (с. 70). Сопоставление падежных форм, которые эти различия выражают, позволяет выделить три типа склонения: неживой (неодушевленный), мужской, женский. Заданы их различительные признаки:

1 (неживой) а) падежные показатели в ед. и во мн. числе идентичны; б) падежи, различающие класс, маркированы показателем *-i*; в) отсутствует вокатив;

2 (мужской) а) падежные показатели различаются в ед. и во мн. числе[1]; б) падежи, различающие класс, маркированы показателем *-a*; в) отсутствует локатив (исключая югский);

3 (женский) а) падежные показатели в ед. числе маркированы показателем *-i* (как в 1 склонении); б) во мн. числе те же падежи маркированы показателем *-a* (*-na*?), (как во 2 склонении); в) отсутствует локатив (как во 2 склонении).

Все эти признаки суммированы в схеме на с. 60. Вернер признает, что женский класс в формальном отношении уязвим, т.к. специально он не маркирован ни в ед., ни во мн. числе, в отличие от мужского или неживого; тем не менее, известные структурные основания для выделения этого типа склонения имеются.

Личные местоимения замещают только одушевленные имена (класс "живой"). Классные различия обнаруживают местоимения 3 л. в формах косвенных падежей, ср.кет. *bu* "он/она", но *budata* "для него" – *budita* "для нее". В отдельных енисейских языках эти различия усматривались в словарных формах указательных местоимений, например, котт. *in'u* "этот", *in'a* "эта", *ujo*: "тот", *un'a* "та"; ср. также вопросительные местоимения, кет. *bits'e/bes'a* "кто (муж/жен)". Показатели классов восходят к реконструируемым Вернером личным местоимениям **a* "он", **i* "она".

История формирования падежной парадигмы рисуется следующим образом. Первыми образовались падежи, не различающие класса, они упомянуты выше. Вернер называет их падежами первой группы. Они возникли в эпоху енисейской общности, что доказывается материальной близостью их экспонентов. Падежи второй группы, различающие класс, возникли позднее, на базе генитива, имеющего форму *-da* (муж.), *-di* (жен.). Морфологический сегмент *-d* в этих морфемах Дульзон считал выражением концепта "живой", тогда как "неживой" остался немаркированным. Наиболее вероятная исходная модель: *op-da-fiʔp* "отец-его-сын", на базе которой возникли формы активного падежа (позже переосмысленного как генитив) *obda fiʔp* "сын отца" и притяжательные формы типа *dafiʔp* "его-сын".

Довольно много места уделено полемике с концепцией Валл – Канакина, которые предлагают описывать кетский язык как ролевой, не имеющий категории падежа (с. 63–71). Эта полемика представляется чересчур запальчивой, а потому малоубедительной. Пожалуй, не следовало бы заявлять, что эти авторы утверждают, будто описание енисейских языков, особенно кетского, по моделям референциальной и ролевой грамматики – единст-

[1] На это я должен заметить, что в енисейских языках, как в языках агглютинирующих, падежные показатели стандартны, т.е. идентичны всегда, ср., например, показатель аблатива *-ŋ al'*, который вычленяется из *-d-i-ŋ al'* (1 склонение), *-d-a-ŋal'* (2 склонение ед.ч.), *-n-a-ŋal'* (2 склонение мн.ч.). То же можно продемонстрировать на любом другом падежном показателе.

венно возможное и единственно правильное (с. 86). Они утверждают как раз обратное: подобное описание – одно из возможных. Не следовало бы и комментировать кетский пример *ad sabat sul* (наряду с *sul-diŋa*) *desomdaq* "я одежду нанарту положил" (транскрипция Валл – Канакина) [Валл, Канакин 1985] словами "никогда кеты так не скажут". Полагаю, что кеты могут сказать все, что угодно; думаю так, исходя из собственного опыта полевой работы с языками, сходными с кетским в том, что они (а) не нормированы (существуют только в устной форме), (б) находятся в критическом состоянии, угасают. Когда мы описываем подобные языки, "норму" для них мы вырабатываем сами, для самих себя, даже и не подозревая об этом.

Центральной, "стержневой" в книге мне представляется глава III, "Категория класса в системе глагольных категорий енисейских языков" (с. 85–125). В этой главе излагается гипотеза формирования енисейской грамматической системы и формулируется тезис о переходном характере этих языков – от активного типа к номинативному.

Каждый, кто знаком с кетским языком, знает, что в системе спряжения глагола различаются аффиксы двух групп (рядов, серий), обозначаемых как Д и Б. При этом показатели серии Д чаще являются экспонентами субъекта действия, тогда как показатели серии Б выражают и субъект и объект, но в роли экспонентов агенса не выступают. Вернер утверждает, что первоначально все было наоборот: аффиксы Б репрезентировали агенс, аффиксы Д – пациенс; они однозначно ассоциированы с двумя рядами местоимений – личных и притяжательных соответственно. Аффиксы Б были связаны с активными глаголами (процессами), аффиксы Д – с инактивными (состояниями). Выдвижение аффиксов Д в современных языках на преимущественную роль экспонентов агенса в полиперсональных (переходных) глаголах Вернер объясняет кардинальной сменой типологии от активной к номинативной, причем этот переход не завершился. Этот вывод доказывается на обширном языковом материале и выглядит вполне убедительно.

Когда енисейские языки были еще языками активного строя, переходных глагольных форм в современном понимании не существовало, объект действия, выражаемый этими формами, был не прямой, а ближайший, индифферентный к оппозиции "прямой/непрямой" и напоминающий скорее непрямой, косвенный объект (с. 113). В этой функции выступали аффиксы серии Б, которые исторически были соотнесены с агенсом. Впоследствии, с развитием категории переходности, аффиксы серии Б, наряду с аффиксами серии Д, стали употребляться для выражения прямого объекта. Ближайший объект был переосмыслен в прямой (в связи с этим приводятся уместные типологические параллели с данными абхазского языка, с. 103–104). Далее Вернер указывает, что в современных языках ряды *ba-a-i* и *bo-o-u*[2] из серии Б сохранили противопоставление по версии – интровертной и экстровертной соответственно: если в глаголе используются показатели *ba-a-i*, действие выполняется в интересах действующего лица или ему на пользу; при *bo-o-u* – в интересах и на пользу другого лица.

Этот тезис иллюстрируется примерами (главным образом из кетского языка). Возможно, эти примеры убедят не всех. Скажем, *d-**ba**-ss'ivit* "он-меня-догоняет" еще можно истолковать как действие в пользу догоняющего; но *d-**bo**-gdapta*ŋ "он-везет-меня (на нарте)" уже трудно истолковать как действие в мою пользу: он может везти меня и против моей воли. Для того, чтобы устранить любые сомнения, следовало бы предъявить примеры с одним и тем же корнем, где *ba-* значило бы, что действие осуществляется не в мою пользу (интровертная версия), а *bo-* – в мою пользу (экстровертная версия). Но таких примеров, скорее всего, не существует, иначе они были бы приведены. Значит, противопоставление *ba-a-i*/*bo-o-u* по версии не стало фактом грамматики, а осталось на уровне лексико-семантической избирательности – вещь, весьма характерная как раз для активного строя.

Енисейские языки сохранили достаточно много реликтов активного состояния. Перечисляя их, Вернер называет, в частности, отсутствие verba habendi (*dondivet* "я имею нож"), отсутствие связочных конструкций (*at bol'-di* "я толстый-я"); сообщается также, что "прилагательное недостаточно отчетливо отделено от других частей речи" (с. 111–112). Все эти факты приводятся по отдельности, в ряду

[2] Эти и им подобные "тройки" кетологи обычно приводят в своих работах, не особенно заботясь о читателе. Полагаю не лишним указать, что это – личные аффиксы, которые означают "я – он – она" (если они выражают субъект) или "меня – его – ее" (объект).

других; на мой взгляд, они представляют элементы одной структуры, не существующие отдельно один от другого. Точно такую же картину мы наблюдаем, например, в чукотско-корякских языках: прилагательного как отдельной части речи не существует (по крайней мере, выделение его весьма спорно); слова, означающие качественный признак, в самостоятельном употреблении функционируют как предикаты чук. *ны-мэйӈый-гым* "большой-я", *ны-мэйӈый-гыт* "большой-ты" и т.д.), *habeo*-конструкция выражается примерно так же, как в кетском, ср. чук. *га-қорай-гым* "я-с-оленем/-ями". Сходная ситуация усматривается и в структуре категории лица; я имею в виду особое положение 2 лица.

О 2 лице Вернер пишет, что в иерархии партиципантов оно, видимо, занимает важнейшее место (с. 116) – безусловно справедливое заключение. Затем написано, что оно не было маркировано, т.к. во всех рядах обеих групп (Д и Б) 2 лицо представлено одним и тем же "нейтральным" аффиксом. Я бы так не говорил. Аффикс 2 лица действительно один – *к-/ку-*, но это вряд ли значит, что он "нейтральный". Скорее это значит, что он – независимый. Видимо, первая оппозиция в сфере лица была – второе/невторое. Она послужила основой для развития дальнейших противопоставлений в этой сфере.

Центральное противопоставление – это, разумеется, противопоставление первого и второго лица (участники речевого акта). Формы 3 лица в енисейских языках выделяются еще и тем, что выражают классные различия. В иерархии партиципантов место его – третье. С этим обстоятельством Вернер связывает линейную неупорядоченность элементов в цепочке глагольной словоформы. Это наблюдается не всегда, но лишь в том случае, если в качестве объектных показателей выступают аффиксы группы Д, ср. нижеследующие словоформы (примеры из югского):

*d-in-**di**-tet*	"он **меня** побил"
*d-in-**gi**-tet*	"он **тебя** побил"
*d-in-**daŋ** -tet*	"он **нас** побил"

Показатель времени *-in* предшествует объективному показателю. В словоформах с объектом 3 лица последовательность обратная:

*d-**o**:-n-tet*	"он **его** побил"
*d-**id'**-in-tet*	"он **ее** побил"
*d-**ib**-i:n-tet*	"он **это** побил"

Эти словоформы демонстрируют три материально различных показателя класса: мужской, женский, неживой (вещный) класс. Во множ. числе различия по классу нивелируются, но порядок следования морфем сохраняется: *d-oŋ -o:n-tet* "он их побил (мужчин/женщин/предметы)".

Довольно длинный пассаж (с. 120–124) посвящен проблеме рефлексивных глаголов в енисейских языках. Вернер отрицает наличие подобных глаголов, доказывая, что в этих языках мы имеем дело с оригинальными преломлениями категорий версии и комитатива. Должен заявить, что склонен целиком разделять его точку зрения.

Завершая главу III, автор пишет, что все партиципантные категории енисейского глагола, как и ряды аффиксов Д и Б, базируются на главной дихотомии "активный/инактивный" ("живой/неживой"), и если классы в области именной лексики существуют в общем и целом как категория селективная и скрытая, то в именной и глагольной морфологии они отражены вполне отчетливо. Предикативные формы рассматриваются в главе II, посвященной именной морфологии. Классные различия в этих формах также весьма отчетливы, ср. кет. *ақта-ду* "хороший-он", *ақта-да* "хорошая-она", *ақта-м* "хорошее-это" (примеры в практической орфографии).

Глава IV "Классные различия в разных глагольных парадигмах" (с. 126–177) длиннее других, потому что в ней слишком много конкретного материала, представляющего собой уже, по сути дела, иллюстрации. Енисейский глагол весьма сложен – именно это, на мой взгляд, и является наиболее ярким реликтом активного состояния рассматриваемых языков: грамматика в глагольной системе так и не победила лексику. Об этом свидетельствует уже хотя бы список глагольных группировок, рассматриваемых Вернером в главе IV; не откажу себе в удовольствии процитировать его весь:

"Формы с аффиксами Б в функции субъекта; формы с аффиксами Д в функции субъекта; непереходные глаголы с двумя рядами аффиксов Д; переходные глаголы с двумя рядами аффиксов Д, переходные глаголы с аффиксами Д в функции субъекта и аффиксами Б в функции объекта; непереходные глаголы с одним рядом аффиксов Д и одним рядом аффиксов Б; переходные глаголы с двумя рядами аффисов Д и одним рядом аффиксов Б; посессивные глагольные формы;

непереходные формы с пассивным значением; императивные формы; нерегулярные глаголы".

Для каждой из 11 вышеперечисленных групп описываются классные различия, которые прослеживаются на фрагментах парадигм или на полных парадигмах. Набор экспонентов класса невелик: для мужского – *-d, -du, -a, -bu, -o*, для женского *-dʌ, -i, -bu, -u*, для класса вещей – *-dʌ, -b, -i, -u*; но они выступают в различных сочетаниях с разными сериями аффиксов других лиц, что порождает большое разнообразие моделей словоформ. Глагольная лексика распределяется между 11 разновидностями моделей, видимо, без остатка, исключая разве что императив, где отмечаются те же лексемы, что и в других группах. Некоторое внутреннее сопротивление вызывает у меня группировка, охарактеризованная как "глаголы с пассивным значением". Вернер говорит о категории пассива как о нарождающейся, находящейся в процессе становления; но приводимый материал свидетельствует, что в данном случае мы имеем дело не с пассивом, а либо с причастными конструкциями типа "чум поставленный" (что отнюдь не значит "поставлен кем-то"), либо с результативными конструкциями ("я надел шапку" – "она на мне"), либо с дериватами, полученными в результате "вычеркивания" агенса. Типологический статус енисейских языков не позволяет применительно к ним говорить о пассиве.

В кратком и весьма информативном Заключении (с. 179–183) Вернер характеризует грамматическую систему енисейских языков как "загадочную" (этот же эпитет встречается и в начале книги). Против него хочется возразить. На первых этапах изучения кетского языка он звучал вполне адекватно и в работах Крейновича был на месте; но в дальнейшем, по мере накопления знаний, по мере появления разных концепций описания (это тоже очень помогает!) – употребление слова "загадочный" представляется не более чем данью традиции. В конце концов, вся научная деятельность Вернера направлена на то, чтобы енисейская грамматическая система перестала быть загадкой, и на этой стезе автор достиг несомненных успехов. Рецензируемая книга Вернера является итогом его многолетних изысканий; она хорошо подготовлена всей предшествующей работой не только самого автора, но и других специалистов-кетологов. Это заметный шаг в развитии енисейского языкознания, причем шаг не только вперед, но и вверх.

С 1992 г. Г. Вернер живет и работает в Германии, и за это время опубликовал, помимо рецензированной, еще одну монографию по енисейским языкам. Хочется пожелать ему новых книг.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Буторин С.С. 1995 – Описание морфологической структуры финитной глагольной словоформы кетского языка с использованием методики порядкового членения. Дис. ...канд. филол. наук. Новосибирск, 1995.

Валл М.Н., Канакин И.А. 1985 – Категории имени в кетском языке. Новосибирск, 1985.

Вернер 1990 – Коттский язык. Ростов-на-Дону, 1990.

Дульзон А.П. 1968 – Кетский язык. Томск, 1968. С. 579–607.

Corbett G.G. 1991 – Gender. Cambridge, 1991.

А.П. Володин

***З.А. Сарджвеладзе.* Словарь древнегрузинского языка. Материалы.** Тбилиси. Издательство Тбилисского университета, 1995. 315 стр. + I–XVI (на груз. яз.)

Рецензент уже неоднократно имел повод констатировать плодотворную работу грузинских лексикографов, располагающих давней исследовательской традицией и умело использующих свою близость к богатейшему языковому материалу Кавказа. Их очевидные успехи отражены множеством изданий разнотипных словарей, прежде всего – переводных и диалектных, а также капитальным толковым словарем грузинского языка, послужившим в свою очередь основой его обратного словаря. Особое направление этой работы уже длительное время составляют публикации исторического цикла, представленные, в частности, словарями-симфониями целого ряда письменных памятников, а также первым опытом создания древнегрузинского словаря [Абуладзе 1973]. В прошлом году эта важная серия изданий пополнилась новым сводом древнегрузинской лексики, созданным одним из наиболее продуктивно работающих грузинских лингвистов З.А. Сарджвеладзе.

Труд З.А. Сарджвеладзе состоит из краткого предисловия автора (с. III), списка обследованных им литературных памятников IX–XIII столетий, насчитывающего около трехсот названий (с. IV–XVI), основного корпуса словарных статей (с. 1–279), а также индекса корней, зафиксированных в представленном материале (с. 281–315). Как отмечает сам автор, в нем учтены до 10 тысяч словарных единиц, в числе которых оказываются лексемы, не только отсутствующие в упомянутой публикации И.В. Абуладзе, но и учтенные в ней, однако зафиксированные позднее либо в отличной графической форме, либо с иной семантикой (ср. подобную практику, известную и из некоторых других отраслей исторической лексикографии). Существенной особенностью книги является и то, что в отличие от труда И.В. Абуладзе, ориентированного преимущественно на лексику переводных памятников, она в значительной степени отражает и лексический фонд оригинальных произведений древнегрузинской литературы.

Словарь характеризуется экономной и предельно простой организацией материала, выработанной уже выдающимся предшественником автора. Словарная статья состоит из формы реестровой лексемы с ее семантикой (ввиду несформированности в грузинском языке инфинитива глагольные слова представлены здесь соответствующими масдарами), а также иллюстраций – от одной до пяти-шести, – ее употребления в связном тексте с его паспортизацией. Лексемы, сохраняющие исконное значение и в современном языке, помечаются условным символом. Примерно в 85 случаях фиксируется специфическая коннотация лексем, свойственная им в приводимых конкретных окружениях. В весьма немногочисленных словарных статьях (всего около 20 случаев), где имеющиеся контексты не сообщают сколько-нибудь надежной опоры для установления значения, последнее приводится по первому толковому словарю грузинского языка Сулхана Саба Орбелиани, созданному еще на рубеже XVII и XVIII столетий, и, как известно, широко опиравшемуся на древнегрузинские источники. Наконец, лишь в некотором минимуме случаев автор оставляет расшифровку значения на будущее.

Впечатляет объем труда, вложенного З.А. Сарджвеладзе в сплошное обследование объективно трудного материала неопубликованных рукописных источников (ему же принадлежит и подготовка нескольких из них к изданию). Автор адекватно решил задачу отбора анализируемых текстов, ограничившись рассмотрением списков, относящихся к эпохе не позднее XIII-го столетия и достаточно четко отражающих нормы древнегрузинского литературного языка. О степени новизны фигурирующего в работе материала в какой-то степени говорит уже количественное соотношение использованных им опубликованных и неопубликованных памятников. Значительный прирост лексики, вводимой теперь в обиход картвельского языкознания, во многом достигнут за счет привлечения новых источников, с одной стороны, и внимания к вариативности написания слов, с другой. Всецело положительной оценки заслуживает авторская практика решения важнейшей и наиболее трудоемкой задачи любого исторического словаря – определения значения слов. О том, насколько существенными могут быть расхождения в толковании одних и тех же лексем, встречающихся в древнегрузинских текстах, красноречиво свидетельствуют их весьма различные интерпретации, нередко предлагающиеся в работах Н.Я. Марра и И.В. Абуладзе. К дополнительным затруднениям в этом плане приводит и наличие в памятниках целого ряда слов, которые с большими или меньшими основаниями могут быть отнесены в настоящее время к классу hapax legomena, и которые, как известно, служат очевидными свидетельствами своего положения в лексической системе языка (естественно, что в подобных случаях исследователю нередко приходится прибегать к соответствующим пассажам иноязычных версий памятников, близких к грузинским по своей редакции[1]). И здесь основу успеха автора мы видим в том, что он неукоснительно следовал рекомендации Э. Бенвениста тщательно изучать употребление лексем в контексте.

В целом рецензируемая книга отражает широкое тематическое разнообразие древ-

[1] Так, например, в свете армянского, греческого и ряда других европейских соответствий др.-груз. *akinitoni* "ядовитое растение" (с. 2), значение последнего может быть более точно передано современным груз. *tilčiri* "волчий корень, борец", а значение др.-груз. *barbiti* "род музыкального инструмента" (с. 15) на фоне его греческого и латинского аналогов уточняется как "многострунная лира". Вместе с тем некоторые из семантически темных слов могут оказаться кальками с их греческого или армянского прототипа.

негрузинского вокабуляра V–XI вв., почерпнутого из различных по своему жанру произведений (от библейских переводов, апокрифов и житий святых до сочинений по астрономии и астрологии, философии и естествознанию), и предоставляет в распоряжение исследователя благодатную почву для наблюдений как над системными взаимоотношениями лексических единиц, так и над некоторыми тенденциями их исторического развития.

Определенные выводы напрашиваются уже при беглом просмотре материала. Так, весьма заметное место принадлежит здесь субстантивам абстрактной семантики. Обращает на себя внимание и довольно широкая представленность в словаре терминологической или близкой к ней лексики (ср. обозначения множества правовых, эстетических, философских и других понятий), очень часто восходящей к греческому источнику и нередко разделяемой армянским языком. Последнее обстоятельство вместе с некоторыми упомянутыми выше сообщает определенный стимул дальнейшим разысканиям в рамках традиции армяно-грузинской филологии, еще со времен Н.Я. Марра обращавшейся при проблематичности семантики древнегрузинских лексем к их древнеармянским аналогам. Целый ряд производных образований однозначно указывают на наличие соответствующих мотивирующих слов, пока по-видимому не засвидетельствованных в древнегрузинском в самостоятельном употреблении. Ср., например, *lašparto* "широкогубый" (с. 102), предполагающее *laši* "губа", *me-beɣl-e* "дворовый " (с. 112) при *beɣeli* "амбар", *si-glu-v-e* "гладь" (с. 189) при *glu* "гладкий, ровный", *čliḳiani* "копытный" (с. 273) при *čliḳi* "копыто" и др.

В плане исторического словообразования бросается в глаза чрезвычайно высокий удельный вес зафиксированных здесь превербных образований, во многих случаях вытесненных в дальнейшем заимствованиями (ср. др.- груз. *aγmo-bečdavi* при совр. *asli* "отпечаток, копия", др.-груз. *ganrokva* при совр. *ǯamagiri* "оплата", др.-груз. *da-mṭacebeli* при совр. *avazaḳi* "грабитель, разбойник", др.-груз. *mo-saçevari* при совр. *xarḳi* "дань, налог", др.-груз. *še-saḳravi* при совр. *ḳavširi* "связь" и мн. др. Обращает на себя внимание высокий процент композитов, характерный и для многих других языков ранней христианской традиции. Весьма показательны приводимые в работе факты функционирования так называемого феминизирующего гласного *-a* в условиях отсутствия в языке категории рода. Ср. особенно яркий в этом отношении пример местоимения *igia* "она" при нейтральном с точки зрения выражения пола *igi* "он, она", а также такие формы как *upal-a* "госпожа" при *upali* "господин" (> "господь"), *mdidar-a* "богатая" при нейтральном *mdidari*, *mokrisṭiana* "христианка" при нейтральном *mokrisṭiane*, *čabuḳa* "девушка, молодая женщина" при *čabuḳi* "парень" и др., свидетельствующие о том, что его истоки восходят еще к древнегрузинскому состоянию. И как бы ни представлять себе конкретный путь становления этого явления, его квалификация в качестве одного из многочисленных древнегрузинских грецизмов должна быть признана корректной (в других автохтонных языках Кавказа при необходимости полового разграничения денотатов обычно используются композиты или классные показатели). Заметно и большее чем в современном языке место разнотемных композитов с постпозицией атрибутивного компонента (ср. *bage-skeli* "толстогубый" при совр. *skel-ṭuča*, *tual-parto* "широкоглазый" при совр. *parto-tvalebiani*, *çuer-grʒeli* "длиннобородый" при совр. *grʒel-çveriani* и т.п.).

Материал словаря несомненно отражает в какой-то мере и диалектную лексику эпохи, обозначавшуюся древнегрузинским термином *sopluri* букв. "деревенская", которую еще предстоит изучить (если учитывать относительно высокую степень нормированности древнегрузинского литературного языка, к диалектизмам здесь естественно относить прежде всего слова, фонетически отличные от их частотно преобладающих аналогов).

Один из основных итогов рецензируемой книги заключается в том что с выходом ее в свет выявлена подавляющая часть всего древнегрузинского словарного фонда (напомним в этой связи, что согласно оценке А.Г. Шанидзе уже словарь И.В. Абуладзе учитывал до 80% этого фонда). Это делает ее важнейшим пособием для чтения наиболее ранних памятников языка. И хотя в этой работе, завершенной еще около десяти лет тому назад, автору не удалось использовать небольшое число позднее опубликованных текстов, накопленный материал не подтверждает высказывавшегося еще в 60-ых годах мнения о том, что в древнегрузинских рукописных памятниках очень мало слов, отсутствующих в толковом словаре Сулхана Саба Орбелиани.

Очевидно значение работы и для дальнейшего прогресса в области картвельской этимологии. В частности, целый ряд межъ-

языковых параллелей, представленных в их грузинской части современным материалом, теперь может быть дополнен их древнегрузинскими звеньями: ср. *brunva* "крутиться" (с. 17), *dašušeba* "иссушать, пропекать" (с. 72), *nikarṭi* "клюв" (с. 164), *rexueba* "топать" (с. 170), *prṭwinva* "фыркать" (с. 222) и др. Учет автором фонетических вариантов лексем создает возможность более строгого обоснования словарных сближений. Так, например, др.-груз. *šahra* "большая дорога" (с. 229) представляет собой промежуточное звено между исходным перс. *šāhrāh* и современным груз. *šara* той же семантики. Засвидетельствованное на с. 95 наречие *iger* "там", по-видимому, поддерживает наряду с *agera* "здесь, вот" (с. 1), существующим и в современном языке, известное в картвелистике мнение, согласно которому *k* в составе груз.-зан. ★*a-k-* "здесь" и ★*i-k-* "там" исторически восходит к общекартвельскому корню ★*g*, отраженному также в сван. *ameg* "здесь" и *demeg* "нигде".

Заключающий работу индекс корней построен таким образом, что соотносит корневую морфему с гнездом отражающих ее слов, вследствие чего он приобретает и некоторое самостоятельное значение. С одной стороны, он предоставляет свидетельства деривационной продуктивности соответствующих основ, а, с другой, указывает на парадигматические связи между лексемами.

На наш взгляд, некоторые недостатки книги затрагивают по существу лишь ее техническую сторону и никак не соизмеримы с ее очевидными достоинствами. Так, например, можно усмотреть некоторую двойственность понятия корневой морфемы, используемого в индексе корней – если в большинстве случаев автор придерживается принципа синхронного определения этой части слова, то в некотором числе примеров он имеет в виду соответствующее диахроническое (этимологическое) понятие: ср. *aprika-*, выделяемое в *aprikeli* "Африка" (с. 281), *ber-* – в *beberi* "старуха" (там же), *prcx-* – в *prčxili* "ноготь" (с. 303) и т.п. Здесь же мы находим несколько случаев неясного принципа сегментирования корневых морфем: ср. *çub-* при *mçub-ebuli* "вывалявшийся в грязи" (с. 158) и при других однокорневых лексемах, неизменно содержащих носовой элемент, *mčer-* при *šemo-čer-a* "опоясывать, обвязывать" (с. 295), *part-* при *parto // parte* "широкий" (с. 303), где невозможно показать аффиксальную природу обеих ауслаутных гласных. Только досадным недоразумением можно объяснить объединение под единым корнем таких лексем, как *ṭaneba* "нести" и *ṭangrzeli* "высокорослый" на с. 301. На с. 246 пропущен масдар *šeqla-* "вонзать", наличный в индексе корней (ср. с. 314) и отраженный в работе [Фенрих, Сарджвеладзе 1990: 491–492]. Иногда в тексте встречаются незначительные отклонения от алфавитного порядка следования словарных статей [ср. с. 54, 91, 94, 116, 138, 163, 179, 224 и нек. др.].

Завершая оценку труда З.А. Сарджвеладзе, необходимо еще раз подчеркнуть его стимулирующее значение для картвельского языкознания. Нельзя не заметить, что в книге нашла свое особенно яркое отражение одна из характерных черт творческого почерка ученого, которую можно было бы определить как императив языкового факта и которая отчетливо заявляет о себе и в его других исследованиях, в частности, в его известной публикации по истории грузинского литературного языка (ср. [Сарджвеладзе 1984]). В целом с выходом в свет рецензируемого труда картвельское языкознание существенно расширяет фактическую базу разработки целой совокупности исследований как синхронного, так и диахронического плана. Помимо своей собственно лексикологической ценности представленный в нем материал показателен в качестве иллюстрации процессов, происходивших в языке V–XI вв. в сфере фонетики и словообразования. Вполне очевидны и интересные перспективы его экстралингвистической интерпретации для получения выводов культурно-исторического порядка. Не приходится сомневаться и в том, что задача создания обобщающего свода древнегрузинской лексики, который учитывал бы все ее засвидетельствованное богатство, становится все более насущной.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Абуладзе И.В. 1973 – Словарь древнегрузинского языка. Материалы. Тбилиси, 1973 (на груз. яз.).

Сулхан Саба Орбелиани 1965–1996 – Сочинения. Т. IV (1). Тбилиси, 1965; Т. IV (2). Тбилиси, 1996 (на груз. яз.).

Сарджвеладзе З.А. 1984 – Введение в историю грузинского литературного языка. Тбилиси, 1984 (на груз. яз.).

Фенрих Х., Сарджвеладзе З.А. 1990 – Этимологический словарь картвельских языков. Тбилиси, 1990 (на груз. яз.).

Г.А. Климов

Положение науки в современной России единодушно оценивается как бедственное. Парадоксальным поэтому выглядит тот факт, что никогда, пожалуй, в России не издавалось так много интересных сборников и монографий на лингвистическую (и шире – филологическую) тематику – хотя в целом число издаваемых книг, вероятно, сократилось по сравнению с "периодом застоя". Дело в том, что резко повысилось качество выпускаемой научной продукции, меньше стало книг, которые по известной шутке, составляли недвижимое имущество их авторов: никто не брал их в руки и не двигал с полки в книжных магазинах.

Одним из важнейших обстоятельств, благотворно повлиявших на развитие отечественной науки, явилось возникновение в России новых книжных издательств – тех из них, во главе которых встали специалисты, хорошо ориентирующиеся в соответствующей области знаний и способные проводить тщательно продуманную издательскую политику. В области лингвистики здесь следует отметить в первую очередь издательство с не совсем обычным названием – Школа "Языки русской культуры", возглавляемое опытным и хорошо эрудированным лингвистом А.Д. Кошелевым. Отказавшись от распространенной практики издания пестрых тематических сборников, включающих работы разных авторов, "Школа" сосредоточила свое внимание на издании монографий и сборников избранных статей одного автора. Большинство исследований были в свое время опубликованы, но в редких периодических изданиях и, естественно, стали для современного читателя труднодоступными. Разумеется, такой подход требует большой эрудиции издателей и предполагает тщательный отбор материала. За короткий период "Школа" успела издать много интереснейших исследований по лингвистике, литературоведению, истории. Костяк этих исследований составили труды представителей двух отечественных научных школ, получивших мировое признание. Это Московская лингвистическая школа и московско-тартуская семиотическая школа.

Необходимо отметить и еще один важный отличительный признак работы этого издательства – оперативность. "Школа" оперативна и, несмотря на трудности книгоиздательского дела в современной России, успевает подготовить и издать книгу сравнительно быстро.

Крупнейшим событием в научной жизни России явился выход в свет двухтомника **"Избранных трудов"** ***акад. Ю.Д. Апресяна.*** Мужественная гражданская позиция автора явилась причиной многолетней травли. Долгие годы не могло быть и речи о том, чтобы какая-нибудь из его новых книг была издана в СССР. В результате этот ученый с мировым именем был лучше известен за рубежом, чем в стране, где он трудится всю жизнь и которую он не захотел покинуть, несмотря на самые заманчивые предложения. Сейчас лингвисты получили, наконец, возможность ознакомиться с основными трудами Ю.Д. Апресяна. Первый том его трудов – 2-е издание монографии **"Лексическая семантика (синонимические средства языка)"**. Содержание книги гораздо шире ее названия: лексические средства языка рассматриваются во взаимосвязи с другими средствами, в первую очередь – синтаксическими. 1-е издание книги вышло в 1974 г., однако многие годы она находилась "на полулегальном положении". Но главная причина, обусловившая своевременность переиздания "Лексической семантики", заключается в том, что эта книга Ю.Д. Апресяна намного опередила свое время и, бесспорно, окажет сильнейшее воздействие на современную российскую лингвистику. Второй том (**"Интегральное описание языка и системная лексикография"**) содержит 25 работ, тематически распределенных по пяти главным рубрикам: 1) "Интегральное описание языка" (анализируются синтаксическая, прагматическая и – особенно подробно – семантическая информация толкового словаря); 2) "Проблемы синонимии и словаря синонимов (на материале английского и русского языков, с приведением образцов словарных статей для Нового толкового словаря русских синонимов, который составляется в Институте русского языка РАН под руководством Ю.Д. Апресяна); 3) "Системная лексикография" (рассматриваются важные общетеоретические проблемы – о языке толкований, о роли метафоры в семантическом представлении; вводится понятие лексикографического портрета и даются лексикографические портреты глаголов *быть* и *выйти);* 4) "Описание семантики через синтаксис"; 5) "Формальные модели языка". Из множества работ автор выбирает для этого тома всего лишь 25, руководствуясь при этом интересами читателя. Так раздел 4

представлен лишь одной работой, поскольку развитие науки показало неперспективность описания семантики через синтаксис; раздел 5 представлен всего двумя работами, но уже по другой причине: привлекаемый математический аппарат и технические детали затрудняют восприятие подобных работ широким кругом лингвистов. В небольшом заключительном разделе второго тома (Miscellanea) анализируются: языковая аномалия и логическое противоречие; дейксис в лексике и грамматике; роман "Дар" в космосе Вл. Набокова.

В книге *Б.А. Успенского* **"Семиотика искусства"** выявляется глубокая структурная близость разных видов искусства. В связи с этим объединение в одной книге и постоянная "перекличка" работ, посвященных анализу художественных текстов, и работ, анализирующих произведения живописи, представляется не только оправданным, но и чрезвычайно перспективным. Автор развивает один из возможных подходов к вычленению структуры произведения искусства, связанный с определением точек зрения, с которых ведется повествование в произведении искусства, и исследованием взаимодействия точек зрения. Основным объектом первого из помещаемых в книге исследований ("Поэтика композиции") является русская художественная литература XIX века, но постоянно проводятся параллели с другими видами искусства. Детально анализируется "точка зрения" в плане идеологии, фразеологии, психологии, пространственно-временной характеристики. Этот же подход применяется и во второй части книги ("Семиотика иконы") и в чрезвычайно интересных Приложениях. В статье «"Правое" и "левое" в иконописном изображении» убедительно показано, что средневековое изображение ориентировано на точку зрения наблюдателя, представляемого внутри изображаемого, в отличие от ренессансного изображения, понимаемого как "окно в мир". В исследовании о композиции Гентского алтаря Ван Эйка вскрывается противопоставление двух пространственных пластов, "божественной и человеческой перспективы".

Книга *И.А. Мельчука* **«Русский язык в модели "Смысл – Текст"»** – совокупность исследований, выполненных автором за более чем тридцатипятилетний период. Основная цель И.А. Мельчука – описание (на материале русского языка) модели "Смысл – Текст", разрабатываемой им с начала 60-х годов. Содержание и даже порядок глав книги подчинены этой основной задаче. Автор начинает с семантики и лексикографии (I часть) и через синтаксис (II часть) и фразеологию (III часть) продвигается к поверхностной морфологии (IV часть). Для всех частей характерна присущая автору свобода изложения: главы общетеоретического характера перемежаются главами, где рассматриваются конкретные, частные вопросы, часть глав написана на русском языке, другая (большая) публикуется ("во имя экономии времени и усилий") на том языке, на котором они написаны, – английском и французском. Большой теоретический интерес представляют разработка теории лексических функций и системы перефразирования, описание нового типа словаря ("Толково-комбинаторный словарь"), работа над которым была начала И.А. Мельчуком в середине 60-х годов совместно с А. Жолковским. Поскольку И.А. Мельчук долгие годы работает за границей и последние 20 лет его работы в России почти не издавались, новыми для большинства российских лингвистов окажутся интересные главы, посвященные рассмотрению конкретных вопросов.

В новой книге *Е.В. Падучевой* **"Семантические исследования"** излагаются результаты исследований последних лет. В I части внимание автора сосредоточено на решении сложнейшего вопроса – семантики времени и вида в русском языке. Категория вида рассматривается в широком контексте, анализируется не только семантика, но и прагматика вида, отношение вида к лексическому значению глагола, сочетаемостные свойства видовременных форм глагола. Автор стремится исчислить частные значения совершенного и несовершенного вида, но большое внимание уделяется также попыткам определить инвариантные значения совершенного и несовершенного вида. В отличие от I части, посвященной решению вопроса, давно привлекавшего внимание исследователей, II часть посвящена проблеме, лишь недавно оказавшейся в поле зрения лингвистов – проблеме нарратива. Здесь рассматривается широкий круг вопросов: различные ипостаси говорящего и слушающего, отношение их друг к другу и к сообщаемому; канонические и неканонические ситуации общения: дейктический (с реальным говорящим и реальным моментом речи) и нарративный (с условным говорящим – героем повествования или

вымышленным наблюдателем и условным моментом в прошлом). На материале романа Вл. Набокова "Пнин" делаются интересные наблюдения о соотношении времени повествователя и времени героя.

Объем этой заметки не позволяет нам подробно остановиться на других интересных изданиях Школы "Языки русской культуры" (читатель может интересующую его информацию узнать в издательстве, тел.: 240-32-13, адрес: 129345, Москва, а/я № 2, E-mail: Lrc@koshelev. msk. su). Поэтому мы вынуждены ограничиться лишь аннотированным списком книг, вышедших и готовящихся к выходу в этом году.

***С.С. Аверинцев.* Риторика и истоки европейской литературной традиции.** Сб. статей. Слово "риторика" стало расхожим, чуть ли не бранным словом; а для Аристотеля оно означало не только единственный законный путь познания словесного искусства как такового, но и путь познания в более широком смысле – своего рода вероятностную логику. Недаром именно Аристотель, отец европейской исторической традиции, счел должным написать 3 книги своей "Риторики". Важно понять, что стоит за судьбой таких слов.

Цикл исследований, представленных в этой книге, посвящен выяснению связей между культурой мысли и культурой слова, между риторической рефлексией и реальностью литературной практики, а в конечном счете между трансформациями европейского рационализма и меняющимся объемом таких простых категорий литературы, как "жанр" и "авторство". В качестве содержательной альтернативы логико-риторическому подходу, обретшему зрелость в Греции софистов и окончательно исчерпавшему себя в новоевропейском классицизме, рассматривается духовная и словесная культура Библии. Особое внимание уделено роли аристотелевской парадигмы в истории античной, средневековой и новоевропейской культуры.

***С.С. Аверинцев* Поэты.** В книге собраны статьи о поэзии Вергилия, Ефрема Сирина, Григора Нарекаци, Державина, Жуковского, Вяч. Иванова, Мандельштама, Брентано, Честертона, Гессе.

«Опыты о старых и новых поэтах, составляющие эту книгу, написаны в разное время и в жанровом отношении не вполне однородны. Если я счел возможным соединить их вместе, то меня побудила к тому присущая им общая черта – установка на портретность. Порой это портретность в буквальном смысле. В других случаях портретность запрятана чуть поглубже <...>. Каждая "картинка", на манер мозаики выкладываемая мною из слов, – только подступ к предмету, только догадка, стоящая под вопросом; и я стараюсь никогда не забывать о том, что любое поползновение употреблять метафоры, сравнения и эпитеты в функции доказательных аргументов погрешает против элементарной умственной честности <...>. Моей целью было – ввести мою субъективность в процесс познания, но с тем чтобы она в этом процессе "умерла". Не мне судить о том, когда мне это хотя бы отчасти удавалось, а когда решительно не удавалось. В одном я уверен: поэты, о которых я писал, не были для меня предлогом сказать нечто "по поводу". Они были для меня – ими самими, то есть чем-то несравнимо более интересными, нежели все, что я имею о них сказать.» (Из введения).

***А.В. Дыбо.* Семантическая реконструкция в алтайской этимологии. Соматические термины (плечевой пояс).** Монография посвящена разработке на обширном материале методики семантической реконструкции для групп лексики с конкретным значением и восстановлению лексической микросхемы, объединяемой семантикой "конечности плечевого пояса" для праалтайского состояния. Работа представляет интерес для специалистов по сравнительно-историческому языкознанию и семантической типологии.

***В.М. Живов.* Язык и культура в России XVIII века.** Книга посвящена проблемам становления основных свойств литературного языка (полифункциональности, общезначимости, кодифицированности, стилистической дифференциации) как социально-культурного процесса. Рассматриваются языковые реформы Петра I в контексте идеологической борьбы его времени, возникновение противопоставления духовного и светского языка. Особое внимание уделено деятельности академических филологов (Тредиаковского, Пауса, Адодурова, Ломоносова) и процессу нормализации литературного языка нового типа. Анализируется формирование "славено-российского" языка, соединяющего церковнославянскую и русскую языковые традиции, и роль этого процесса в развитии имперского дискурса. Взаимодействие

светской и духовной культуры, его влияние на язык прослеживается вплоть до начала XIX в. (споры архаистов и новаторов, реформа духовного образования).

А.А. Зализняк. **Древненовгородский диалект.** Книга состоит из двух частей. Первая часть содержит общее описание диалекта древнего Новгорода XI–XV вв., построенное в основном на материале новгородских берестяных грамот. Вторая часть – заново выверенные тексты всех известных к концу 1994 г. берестяных грамот, за исключением самых маленьких фрагментов. Все удовлетворительно сохранившиеся грамоты снабжены переводом и комментариями. В книгу включен также сводный словоуказатель ко всем берестяным грамотам и обратный индекс к нему.

Книга адресована как специалистам – лингвистам, филологам, историкам, археологам, – так и широкому кругу любознательных читателей, интересующихся языком, историей и культурой древней Руси.

Кетский сборник № 4: Лингвистика (Ред. С.А. Старостин).

Книга представляет собой очередной выпуск из серии "Кетских сборников" (1968, 1969, 1982 гг.). В настоящем сборнике представлены чисто лингвистические работы, касающиеся проблем кетской глагольной морфологии, а также генетических связей кетского языка (и других языков енисейской семьи) с северокавказскими и синотибетскими языками. В книге учтены новейшие достижения в области изучения енисейских языков.

Книга рассчитана на специалистов в области сравнительного языкознания, а также представляет интерес для лингвистов, занимающихся проблемами типологии.

Е.М. Мелетинский. **Поэтика мифа** (2-е изд., репр.). Монография посвящена общим проблемам мифологии, анализу современных теорий мифа и критическому рассмотрению использования мифа в художественной литературе и литературоведении XX в. (современное мифотворчество в его отношении к первобытным и древним мифам). Рассматриваются мифология и литература как западного, так и восточного мира.

А.М. Пятигорский. **Избранные труды** (Составление и общая редакция Г. Амелина). В этом томе "Избранных трудов" русского философа А.М. Пятигорского объединены работы более чем за 30 лет: от статей периода участия автора (до эмиграции в 1974 г.) в московско-тартуской семиотической школе и до создания собственной оригинальной философии. Профессор Лондонского университета, автор книг "The buddhist philosophy of thought" (London, 1984), "Mythological deliberations. Lecture on the Phenomenology of myth" (London, 1993), Пятигорский вместе с Мерабом Мамардашвили является создателем радикальной, неклассической манеры философствования, воплотившейся в наиболее полном виде в совместном трактате "Символ и сознание" (Иерусалим, 1984). Фундаментальные монографии остаются за пределами "Избранных трудов". Последние включают статьи из труднодоступных эмигрантских журналов 70–80 годов ("Континент", "Синтаксис", "Беседа" и др.), выступления по радио "Свобода" и BBC, интервью, прозу и статьи по самым разным философским проблемам. Издание подобного рода – впервые. Благодаря широте авторских интересов и – как следствие – широкому и яркому подбору материалов книга удовлетворит интересы самой разнообразной аудитории.

В.Н. Телия. **Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты.** Книга посвящена описанию единиц фразеологического состава языка – денотативному и коннотативным аспектам их значения – оценочному, образно мотивирующему, эмотивному и стилистическому, впервые рассматриваемым в когнитивной парадигме. Разработанная в книге модель значения фразеологизмов позволяет по-новому осветить их роль в языке как знаков-микротекстов. Особое внимание уделено лингвокультурологическому анализу культурно-национальной коннотации фразеологизмов – их способности служить эталонами и стереотипами обыденного менталитета русского народа и выполнять на этой основе роль культурных знаков.

Книга рассчитана на лингвистов широкого профиля, филологов, культурологов.

В.Н. Топоров. **Святость и святые в русской духовной культуре.** Т. 1: **Первый век христианства на Руси.** Книга посвящена исследованию святости в русской

духовной культуре – ее происхождению, выяснению исходного значения слова, обозначающего святость (**svęt-*), и роли мифопоэтического субстрата, на котором формировалось понятие святости, и прежде всего тому, как после принятия христианства на Руси понималась святость в наиболее диагностически важном персонифицированном ее воплощении – в ее носителях, святых. Как правило, каждая часть книги строится вокруг трех основных тем: а) личность святого, б) тип святости, явленный святым, в) «основной» текст, связанный со святым – его «Житие» или собственное сочинение. Особое внимание уделяется историческому контексту и духовной ситуации эпохи, проблеме творческого усвоения наследия ветхозаветной традиции, греческого умозрения, гностицизма, не говоря уж, конечно, о Новом Завете и святоотеческом наследии. В этом кругу естественно возникают еврейская, греческая, иранская темы. Без них трудно понять специфику явления святости в русской духовной традиции.

***Б.А. Успенский.* Избранные труды** (в 3-х томах, 2-е изд., исправленное и переработанное). Настоящее издание представляет собой результат более чем тридцатилетних исследований автора в области филологии (лингвистики, истории и теории литературы), общей истории и истории культуры.

Исследования в столь разных областях обозначены единым семиотическим подходом. Слово *семиотика* в разных национальных традициях получает разное направление. Автор является представителем так называемой московско-тартуской семиотической школы. Основная особенность этого направления – связь с историей культуры и исследование того, что можно было бы назвать языками культур.

Широкому читателю могут быть известны книги (монографии) Б.А. Успенского. Однако в данном издании собраны основные статьи автора, публиковавшегося в разных изданиях как в России, так и за рубежом. Ряд статей вышел в малотиражных изданиях, являющихся библиографической редкостью и практически неизвестных современному читателю. Без преувеличения можно было бы сказать, что в мире нет библиотеки, в которой бы имелись все эти работы.

Опубликованные тексты представляют собой работы разного объема – от нескольких страниц до нескольких сотен страниц. Некоторые работы фактически представляют собой монографии, которые в свое время были опубликованы в виде статей только потому, что в тех условиях их было невозможно опубликовать в виде книги. К таким работам, например, относятся: "Царь и Бог", "Споры о языке в начале XIX века как факт русской культуры", "Мифологический аспект русской экспрессивной фразеологии", "Ломоносовские грамматики русского языка".

Первое издание избранных трудов Б.А. Успенского, в 2-х томах, вышедшее в 1994 г. разошлось в течение трех месяцев. Настоящее издание в 3-х томах выходит в исправленном и значительно расширенном виде. Некоторые статьи публикуются впервые. Почти все статьи были переработаны для данного издания.

Том 1: **Семиотика истории. Семиотика культуры.**

Первый том открывается общей статьей, посвященной восприятию времени, и в частности, восприятию истории как действенному фактору в историческом процессе. Эти общие положения иллюстрируются в последующих работах на конкретном материале русской истории. Таковы, например, статьи о самозванцах в России, о восприятии современниками Петра I, и цикл статей, посвященных концепции Москвы как третьего Рима. Автор показывает, что восприятие истории является культурно обусловленным и что оно (это восприятие) определяет исторический процесс. Другой цикл статей специально посвящен царской власти в России. Таковы статьи "Царь и Бог", "Царь и патриарх", "Царь и самозванец". Третий цикл статей данного тома посвящен дуализму в русской культуре. Таковы статьи "Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII века)" и "Анти-поведение в культуре Древней Руси".

Том 2: **Язык и культура.**

Основная тема 2-го тома – отражение культурных процессов в языке (в стиле, орфографии, грамматике и т.д.). Особый раздел посвящен при этом русским именам и фамилиям. Другая тема этого тома – тема сакрального и профанного в языке Ряд статей посвящен восприятию церковнославянского и некоторых других сакральных языков. Наряду с этим в другой работе рассматривается функционирование матерной брани. При этом показывается, что эта брань восходит к язы-

ческим заклинаниям, то есть к сакральным элементам (что и отражается на ее функционировании).

К названным статьям примыкает цикл работ, специально посвященных литературной полемике. В них эксплицируются идеологические установки, скрывающиеся за этой полемикой. Отдельный цикл статей посвящен анализу поэтического текста произведений Ломоносова, Хлебникова, Мандельштама. Попутно решаются собственно. филологические проблемы: проблема авторства, реконструкция произношения Ломоносова, этимология некоторых слов.

Т.В. Топорова. **Культура в зеркале языка: древнегерманские имена собственные** Книга рассчитана на специалистов в области сравнительного языкознания, а также представляет интерес для лингвистов, занимающихся проблемами типологии.

Во второй половине 1996 г. предполагается издать следующие книги:

И.М. Богуславский. **Сфера действия лексических единиц.** В книге строится общая теория сфер действия лексических единиц. Эта теория ставит своей целью описание того, как значения отдельных слов, входящих в состав предложения, объединяются в единое целое, образующее значение всего предложения. Основным механизмом, управляющим объединением значений отдельных единиц в более крупные семантические комплексы, является механизм заполнения семантических валентностей. Монография состоит из трех частей. В первой части дается определение понятия сферы действия как обобщение понятия актанта. Строится типология возможных соотношений сфер действия лексемы на синтаксическом и семантическом уровнях. Во второй части предлагается подробное сопоставительное описание сфер действия нескольких классов слов и ряда уникальных лексем (*только, даже, не, еще, уже, единственный* и др.). В третьей части показывается, каким образом учет сфер действия лексем позволяет продвинуться в решении таких разнородных проблем общего языкознания, как иерархия типов имплицитных значений, миропорождающие обстоятельства, природа и способы разрешения синтаксических конфликтов и др.

Т.В. Бульгина, А.Д. Шмелев. **Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики).** В монографии предлагается описание русской языковой картины мира с точки зрения взаимодействия онтологических и субъективных факторов. На данной основе выполнено описание целого ряда лингвоспецифичных явлений. Полученные результаты позволяют связать указанные явления с присущими русскому языку особенностями концептуализации действительности.

В.Г. Гак. **Языковые преобразования (теоретические основы, типология, сферы использования).** В процессе развития и функционирования языка постоянно наблюдаются преобразования языковых средств, их изменения, их вариативность. Хотя внутриязыковая вариативность является фундаментальным средством языка, она до сих пор еще не изучена должным образом. В теоретическом отношении остаются недостаточно освещенными такие вопросы как общие причины существования синонимических форм в языке, причины семантических сдвигов языковых форм, роль вариативности в функционировании языка, понятие смыслового инварианта и др. Задачи книги: 1) обоснование неизбежного и универсального характера преобразований в языке; 2) разработка и изложение общей типологии языковых преобразований на основе логического исчисления их видов; 3) анализ использования преобразований в различных сферах бытия языка и языковой деятельности человека. Соответственно книга имеет 3 раздела.

М.Л. Гаспаров. **Избранные труды** (в 3-х томах: статьи о стихе, о стихах, о поэтах). Сборник содержит все наиболее важные статьи автора по стиховедению, поэтике и истории литературы. Большинство из них печаталось лишь в малотиражных специальных изданиях. Для настоящего издания некоторые из них переработаны и дополнены, все снабжены постскриптами о современном состоянии рассматриваемых проблем. В сборник включены и новые, ранее не издававшиеся работы. В первом томе "Статьи о стихе" – работы по стиховедению, дополняющие и детализирующие три монографии автора ("Современный русский стих", "Очерк истории русского стиха", "Очерк истории европейского стиха"): о метрике, рифмике, рифме, строфике русского стиха от былин

до Хлебникова и Пастернака, с отдельными стиховедческими портретами крупнейших поэтов XX в. Во втором томе "Статьи о стихах" – работы по общей поэтике, главным образом – поэтике образов и мотивов. В третьем томе "Статьи о поэтах" – работы по греческой и латинской литературе: портреты таких поэтов, как Пиндар, Катулл, Гораций, Вергилий, Овидий, Авсоний, средневековые ваганты, ренессансный Иоанн Секунд и др.

Дневники Ивана Гагарина (Подготовка текста и комментарии Р. Темпеста). Рукопись дневников И.С. Гагарина и его автобиографических "Записок о моей жизни" хранится в архиве основанной им Парижской Славянской Библиотеки в Медоне (под Парижем). Дневник охватывает 8 лет жизни молодого князя Ивана Гагарина, в течение которых блестящий русский аристократ перевоплотился во французского священника-иезуита Жана-Ксавьера. Отрекшись от титула, родового состояния, общественного положения, навсегда отказавшись жить с родными и близкими, 40 лет проведет он изгнанником в Италии, Сирии и Франции. На чужбине Иван Гагарин посвятил себя грандиозной миссии – примирению и объединению Восточной Церкви с Церковью Западной. В середине 50-х годов он поселился в Париже и стал центром круга, состоявшего из его соотечественников. В архиве вышеупомянутой библиотеки хранятся письма к нему А.И. Герцена, Ф.И. Тютчева, П.Я. Чаадаева, Н.С. Лескова, И.С. Аксакова и др. выдающихся людей того времени.

С.И. Лубенская. **Русско-Английский словарь идиом.** Словарь не имеет аналогов в мировой фразеографии. В нем удачно сочетаются высокий теоретический уровень и богатство практически полезной лексикографической информации. Словарь содержит около 7 тысяч "входов" и включает более 13 тысяч русских идиом и их английских и американских эквивалентов. Толкования идиом сопровождаются примерами из русской литературы (235 источников, включая Пушкина, Толстого, Достоевского, Чехова, Солженицина, Набокова и др.), которые ранее были переведены на английский язык. Словарь также содержит введение, полный алфавитный список идиом, библиографию цитированной литературы (художественной и научной).

Письма Ю.М. Лотмана (Подготовка текста, составление и комментарии Б.Ф. Егорова). Книга включает около 500 писем замечательного литературоведа, культуролога, семиотика, историка Юрия Михайловича Лотмана (1922–1993). Эти письма посылались родным, друзьям, коллегам и ученикам в течение полустолетия: от предвоенных, с 1940 года, писем из армии до предсмертных посланий ближним. Главные темы: научные идеи, отзывы, критика; кафедральный и семейный быт; отдельные социально-политические высказывания. В письмах ярко отражены оригинальность мышления и остроумие автора, его уникальные человеческие качества. Письма сгруппированы по адресатам. Наиболее крупные комплекты: Б.Ф. Егорову, коллеге и товарищу (свыше 200), семейные (около 100), Ф.С. Сонькиной, университетской сокурснице (около 100), другим сокурсникам (около 50), академику В.Н. Топорову, проф. Б.А. Успенскому и др. Письма эти – ценнейший материал для всех, интересующихся гуманитарной культурой нашей страны.

Русский язык конца XX столетия (1985–1995) (Коллективная монография. Отв. ред. Е.А. Земская).

Книга посвящена изучению активных процессов, происходящих в русском языке на рубеже 80–90 годов XX столетия. Первая часть исследования охватывает семантические изменения в лексике и лексической сочетаемости, грамматике и словообразовании, в области ударения. Во второй части описываются современные тенденции и характерные явления в устной и письменной коммуникации: анализируются типичные городские коммуникативные ситуации – митинги, диалоги на улице, в магазине, на транспорте, и др., – стилистические особенности прессы, публичных выступлений.

Книга рассчитана на специалистов в области современного русского языка, преподавателей языковедческих дисциплин в вузах, аспирантов и студентов филологических факультетов, а также на всех, кто интересуется развитием и состоянием нашего языка.

Н.И. Толстой. **Избранные труды** (в 2-х томах).

Том 1: **Славянская лексикология и семасиология.**

Книга посвящена проблемам сравнительного изучения лексики славянских

языков; в ней объединены работы акад. Н.И. Толстого, создававшиеся и публиковавшиеся с начала 60-х гг. В статьях первого раздела обсуждаются возможности типологического анализа славянской лексики методом семантического микрополя и лексико-семантической реконструкции. Второй раздел посвящен географии слов и проверке гипотезы об инновационном характере центральных лексических ареалов и архаическом характере периферийных (латеральных) ареалов (преимущественно на славяно-балканском материале). Подробно анализируется география и семантика лексем *дождь* и *киша*, *правый – левый*, *сажа – чад*, названий радуги в славянских языках и диалектах и др. В третьем разделе рассматриваются лексические и семантические параллели между разными славянскими языками и диалектными зонами: полесско-южнославянские, сербскохорватско-инославянские, болгарско-македонско-русские, белорусско-украинские, белорусско-русские изолексы, лексические балтизмы в восточнославянских языках; исследуются отдельные тематические группы лексики – географические термины, мифологическая и обрядовая лексика. Завершается том работами, посвященными проблемам сравнительной славянской ономастики, семантике имени собственного, номинационным моделям в гидронимии и специально – гидроним *Десна*

Книга адресована как специалистам по славянской лексикологии, семантике и лингвистической географии, так и всем, интересующимся словарным богатством славянских языков.

Том 2: **Славянская литературно-языковая ситуация.**

Том включает работы акад. Н.И. Толстого по истории славянских литературных языков – от древнейшего периода до новейших опытов создания локальных литературных микроязыков. Рассматривается проблема соотношения языка и культуры, роль языка в формировании этнического и национального самосознания славянских народов; предлагаются типологические критерии классификации славянских литературных языков (как внутренние, собственно лингвистические, так и внешние – историко-культурные); дается сравнительная характеристика двух главных культурных ареалов славянского мира – Slavia Orthodoxa и Slavia Latina. Ряд статей посвящен древнеславянскому (церковнославянскому) языку как общему литературному языку южных и восточных славян эпохи средневековья, его народно-языковой основе, культурным функциям, локальным разновидностям и истории его соотношению со старославянским языком и его роли в развитии национальных литературных языков и письменности Подробно анализируется литературно-языковая ситуация южных славян: древнесербский книжный язык XII–XIV вв., жанровая структура древнесербской литературы, славено-сербский язык XVIII–начала XIX в.; хорватский литературный язык раннего средневековья и явление литературно-языкового регионализма в Хорватии в XVI–XVIII вв.; опыты по созданию македонского литературного языка в XIX в.; особенности языкового развития в западных регионах южного и восточного славянства и др. В нескольких статьях обсуждаются вопросы истории русского литературного языка в связи с развитием национального самосознания; затрагиваются проблемы культуры речи, текстологии и публикации памятников письменности.

Книга предназначена филологам-славистам и широкому читателю, интересующемуся этнокультурой и этноязыковой историей славян.

В.Н. Топоров. **Святость и святые в русской духовной культуре.** Т. 2: **XII-XVII вв.: от конца Киевской Руси до начала "Петербургского периода" русской истории.** В центре внимания 2-го тома эпоха, коренным образом отличная от первого века христианства на Руси: перед лицом испытаний многие иллюзии развеялись, медиумическая зачарованность соблазнами священного быта и оптимизм неофитства уступили место большей трезвости, даже жесткости, аскетизма. Появляется новый тип святости Центральная фигура этого периода и всей русской святости – Сергий Радонежский Ему посвящен один из важнейших разделов тома Ряд разделов тома в известной степени продолжает построение, наметившееся в первом томе – святые в хронологической последовательности. Здесь предполагаются разделы об учениках и сподвижниках Сергия Радонежского ("Северная Фиваида"), о Ниле Сорском, Филарете, митрополите Московском, юродивых во Христе, мучеников за веру времен раскола и следующих за ним десятилетий ("Виноград Российский" Андрея Денисова) Другому принципу следует ряд разделов,

выстраиваемых вокруг определенных тем и понятий – святое место ("Божий мир"), святое время, святая земля, святая красота. Особые разделы посвящены странникам, "чужим" святым, фигуре Иванушки-дурака и др.

***Б.А. Успенский.* Избранные труды.**

Том 3: **Общее и славянское языкознание** открывается циклом статей по типологии языков. Наряду с общими статьями: «Проблема лингвистической типологии в аспекте различения "говорящего" и "слушающего"», "Отношения подсистем в языке и связанные с ними универсалии" и др., здесь представлены работы, посвященные конкретным языкам, в частности, некоторым африканским (язык хауса) и палеоазиатским (кетским) языкам.

Бо́льшая часть работ этого тома посвящена славянским языкам, прежде всего, церковнославянскому и тесно с ним связанному русскому литературному языку. Отдельная статья ("История русского литературного языка как межславянская дисциплина") посвящена типологической специфике русского литературного языка. В ряде работ реконструируется русское книжное произношение, использовавшееся при чтении церковнославянских книг. Важнейшим источником для реконструкции этого произношения была обнаруженная автором традиция чтения церковных книг, сохранившаяся в некоторых замкнутых старообрядческих общинах.

В некоторых работах, посвященных истории русского литературного языка, решаются общие лингвистические проблемы. Так в работе «"Давно прошедшее" и "второй родительный" в русском языке» устанавливаются некоторые грамматические категории, общие для имени и глагола.

Специальный цикл статей посвящен ранним (доломоносовским) грамматикам русского языка.

В.З. Санников

№ 6 1996

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ "ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ" В 1996 г.

Статьи

Андерсен Х. Взгляд на славянскую прародину: доисторические изменения в экологии и культуре (I—II) 5,6
Баранов А.Н., Добровольский Д.О. Идиоматичность и идиомы 5
Барнова Н.А. О стечении согласных в цезских языках 6
Береговская Э.М. Молодежный сленг: формирование и функционирование 3
Бибок К. Проблема концептуальной семантики русского и венгерского языков 2
Бондарко А.В. Теория инвариантности Р.О. Якобсона и вопрос об общих значениях грамматических форм 4
Брейдо Е.М. Интервальная модель русской метрики 4
Вендина Т.И. Лексический атлас русских народных говоров и лингвистическая гносеология 1
Витчак К. К проблеме существования *b в микенском греческом 1
Гил Д. Знание грамматики, знание языка 2
Добровольский Д.О. Образная составляющая в семантике идиом 1
Домашнев А.И. Немецкие поселения на Неве (Из истории развития "островной" диалектологии) 1
Дорохова М.В. К вопросу о сложной ритмогруппе (на материале американского варианта английского языка) 3
Живов В., Кайперт Г. О месте грамматики И.-В. Пауса в развитии русской грамматической традиции: интерпретация отношений русского и церковнославянского 6
Земская Е.А. Клише новояза и цитация в языке постсоветского общества 3
Керимов К.Р. Есть ли категория вида в лезгинском языке? 1
Кибрик А.Е. О международной конференции "Лингвистика на исходе XX века: итоги и перспективы" 2
Климов Г.А. Два тысячелетия внешней истории малого языка (сванские данные) 4
Кобозева И.М. Обзор проблематики конференции 2
Коряковцева Е.И. Статус имени действия 3
Крысько В.Б. Маргиналии к "Старославянскому словарю" 5
Левонтина И.Б. Целесообразность без цели 1
Леман К. Документация языков, находящихся под угрозой вымирания (Первоочередная задача лингвистики) 2
Лухьенбрурс Д. Дискурсивный анализ и схематическая структура 2
Матвеев А.К. Субстратная топонимия русского Севера и мерянская проблема 1
Мароевич Р. Этюды по грамматике древнерусского языка. I (К прочтению Свинцовой грамоты) 3
Николаева Е.К. К типологии фразообразования устойчивых сравнений (на материале польского языка) 3
Николаева Т.М. Теория происхождения языка и его эволюции — новое направление в современном языкознании 2

Ньюмейер Ф.Дж. Спор о формализме и функционализме в лингвистике и его разрешение 2
Островский Б.Я. Опыт систематизации глагольных категорий (на материале языка дари) 5
Паршин П.Б. Теоретические перевороты и методологический мятеж в лингвистике XX века 2
Переверзев К.А. Семантика каузации на фоне лексической и пропозициональной типологий 5
Перцов Н.В. Грамматическое и обязательное в языке 4
Петрухин П.В. Нарративная стратегия и употребление глагольных времен в русской летописи XVII века 4
Пиирайнен И.Т. Вежливость как категория языка 6
Пичхадзе А.А. Предлог *къ* после глаголов движения при названиях городов в древнерусских оригинальных и переводных памятниках письменности 6
Планк Ф. Коллекция утверждений о корреляции звука и значимой формы 2
Премк Ф. О ветхозаветных традициях в тексте Брижиньских (Фрейзингенских) отрывков 1
Пупынин Ю.А. Усвоение системы русских глагольных форм ребенком (ранние этапы) 3
Рузин И.Г. Возможности и пределы концептуального объяснения языковых фактов 5
Сидельцев А.В. Особенности деривации в парах слов "прилагательное — субстантивированное прилагательное" в хетто-лувийских языках 4
Тимберлейк А. Вкусить от древа познания и убояться: вариативность в развитии винительно-родительного падежа (По поводу книги В.Б. Крысько. Развитие категории одушевленности в истории русского языка. М., 1994. 224 с.) 5
Топорова Т.В. Об архетипе "воды" в древнегерманской космогонии 6
Трубачев О.Н. К прародине ариев (По поводу выхода книги: Ю.А. Шилов. Прародина ариев. История, обряды и мифы. Киев, 1995) 3
Трубачев О.Н. О 'рябчике', 'куропатке' и других лингвистических свидетелях славянской прародины и праэкологии 6
Урысон Е.В. Синтаксическая деривация и "наивная" картина мира 4
Фридман В.А. О дифференциации темпоральности и аспектуальности в болгарском и македонском языках 1
Фрумкина Р.М. "Теория среднего уровня" в современной лингвистике 2
Хёнигсвальд Г.М. Полисемия: взгляд историка 5
Ходорковская Б.Б. Об анафорическом местоимении в италийских языках 6
Храковский В.С. Анкета для описания условных конструкций 6
Храковский В.С. Исчисляющие классификации в типологии 3
Ченки А. Современные когнитивные подходы к семантике: сходства и различия в теориях и целях 2
Черданцева Т.З. Идиоматика и культура (Постановка вопроса) 1
Шаляпина З.М. Автоматический перевод: эволюция и современные тенденции 2
Шелов С.Д. Родовидовые определения и родовидовая иерархия терминологических понятий (на материале определений лингвистических терминов) 6
Шиулло А.-М. Модульность 2
Янин В.Л., Зализняк А.А. Берестяные грамоты из новгородских раскопок 1995 г. 3

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

Астахина Л.Ю. Древнерусская рукописная картотека XI—XVII вв. 4
Бабаева Е.Э. Славяно-французский лексикон А. Кантемира (Филологическая характеристика: концепция, структура) 1

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Секерина И.А. Американские теории синтаксического анализа предложения в процессе понимания 3

Рецензии

Баевский В.С. *Н.В. Павлович.* Язык образов: Парадигмы образов в русском поэтическом языке 5
Виноградов В.А. *Akamatsu Tsutomu.* Essentials of functional phonology 4
Володин А.П. *H. Werner.* Das Klassensystem in den Jenissej-Sprachen 6
Грунина Э.А. *А.М. Щербак.* Введение в сравнительное изучение тюркских языков 1
Демьянков В.З. *М.М. Маковский.* У истоков человеческого языка 3
Климов Г.А. *З.А. Сарджвеладзе.* Словарь древнегрузинского языка. Материалы 6
Кожина М.Н., Салимовский В.А. Человек—Текст—Культура 1
Куркина Л.В. *F. Bezlaj.* Etimološki slovar slovenskega jezika. Tretja knjiga P-S. Dopolnila in uredila Marko Snoj in M. Furlan 4
Маковский М.М. *А.Н. Баранов, Д.О. Добровольский, М.Н. Михайлов, П.Б. Паршин, О.И. Романова.* Англо-русский словарь по лингвистике и семиотике 5
Маковский М.М. *Т.В. Топорова.* Семантическая структура древнегерманской модели мира 4
Нарумов Б.П. *J.M. Lope Blanch.* Nebrija cinco siglos después 1
Осипова М.А. The Slavonic languages 1
Панов М.В. *Ф.Д. Ашнин, В.М. Алпатов.* "Дело славистов". 30-е годы 1
Попов И.А., Тихонов А.Н. Полный словарь сибирского говора .. 1
Плунгян В.А., Рахилина Е.В. Semantic and lexical universals 3
Санников В.З. Новые издания 6
Швейцер А.Д. *S. Lubensky.* Random House Russian-English dictionary of idioms 3

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки 3,4

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1. Рукописи представляются в двух экземплярах; текст и подстрочные примечания обязательно должны быть напечатаны на машинке или на компьютере через два интервала. После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень, домашний адрес, телефон.

2. Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркивать в рукописи волнистой чертой), а значения их в кавычках.

3. Библиография в журнале оформляется следующим образом:

3.1. Список использованной литературы дается в конце статьи по алфавиту фамилий авторов и оформляется так:

– "Код работы" (фамилия и инициалы авторов, год выхода цитируемой работы), тире, название работы. В случае, если авторов больше двух, допустимо указывать только одного автора плюс выражения типа "и др." или "et al.".

– Если это монография, то после точки указываются место и год издания, например: *Успенский Б.А.* 1994 – Краткий очерк истории русского литературного языка (XI–XIX вв.). М., 1994.

– Если это статья, то после двойного слэша (//) указывается журнал (допустимы при этом стандартные сокращения) или выходные данные сборника, например: *Трубецкой Н.С.* 1990 – Общеславянский элемент в русской культуре // ВЯ. 1990. № 2, 3.

– Если это сборник или иное аналогичное издание, то "кодом" является одно из двух:

а) фамилия и инициалы редактора (или редакторов; допустимы сокращения как и в ссылке на авторскую работу, см. выше) с указанием "ред." (для других языков –ed., hrsg. и т.п.) и год;

б) сокращенное название и год.

В обоих последних случаях вслед за ключом после тире указывается полное название работы, а после точки – место, запятая, год издания, например:

Greenberg J. ed 1978 – Universals of human language. V. 1. Method and theory. Stanford (California), 1978.

Universals... 1978 – Universals of human language. V. 1. Method and theory. Stanford (California), 1978.

3.2. В тексте ссылки на литературу даются в квадратных скобках: фамилия (и инициалы автора, если это необходимо во избежание недоразумений), год публикации работы с указанием цитируемых страниц (если это существенно). Например [В.В. Иванов 1992: 34], [W. Jones 1890]. Если в библиографии упоминаются несколько работ одного и того же автора и года, используются уточнения типа: [W. James 1890a]. Под этим же кодом упоминается данная работа в списке литературы.

3.3. Подстрочные примечания, которые сохраняются наряду со списком использованной литературы, имеют сквозную нумерацию.

4. Непринятые рукописи возвращаются по просьбе авторов.

5. Статьи, опубликованные или направленные в редакции других журналов, не принимаются.

6. Авторам публикуемых статей направляется копия наборного экземпляра, который является окончательным вариантом сдаваемого в набор материала; корректура авторам не высылается.

Статьи, оформленные не в соответствии с указанными выше правилами, к рассмотрению в журнале "Вопросы языкознания" не принимаются.

ОПЕЧАТКИ В СТАТЬЕ В.Б. КРЫСЬКО (ВЯ, 1996, № 5)

Страница	Строка	Напечатано	Следует читать
21	25 св.	представляет	представляют
21	9 сн.	**БЫѭ**	**БЬѭ**
22	18 сн.	**ѭВИТИ**	**ꙗВИТИ**
23	21 сн.	**ВСАЫ**	**ВСАЦѢІ**
23	7 сн.	**АВИЛИНЄѭ**	**АВИЛИНИЄѭ**
23	6 сн.	**ВИТФАѢИѭ**	**ВИТФАѢИѭ**
24	22 св.	*Αρτεμις	*Αρτεμις
24	24 св.	числом	чисто
24	11 сн.	*bъdrъlivъ*	*bъdrьlivъ*
25	2 сн.	Пс 38, Син	Пс 38, 4 Син
26	20 св.	**жерновъ*	**жерновь*
27	2 св.	γίγαυτας	γίγαντας
27	11 св.	с которым	к которым
27	8 сн.	Суп	Супр
28	17 св.	предшествующего	предшествующему
28	8 сн.	*Q*	*q*
29	15 сн.	Зокр лл	Зогр-лл
30	7 св.	**ОБОБЪЗАСТЄ**	**ОБЛОБЪЗАСТЄ**
30	21 св.	в качестве	что в качестве
30	22 св.	**ОТЪКРѢВЄНИЄ**	**ОТЪКРЪВЄНИЄ**
30	13 сн.	**КОЛЪБАШЄ**	**КОЛѢБАШЄ**
31	15 св.	седьлникъ	седьльникъ
31	12 сн.	соваре	словаре
33	18 сн.	(логическому объекту)	(логическому) объекту
34	6 св.	существительного **perdъ*	существительного **perdь*
34	11 св.	*назадъ*	*назадь*
34	11 св.	**blizъ* и **zadъ*	**blizь* и **zadь*
35	3 св.	й	й
35	16 св.	**СКЪЛѦГЬ**	**СКЪЛѦГЬ**
35	24 св.	*кьлбягъ*	*кълбягъ*
37	11 св.	**ИОРДЪѲАНЬСКЪ** — вместо **ИОРѲАНЬСКЪ**	**ИОРДЪДАНЬСКЪ** — вместо **ИОРДАНЬСКЪ**
37	7 сн.	διδακτχ'ός	διδακτκ'ός
38	15 сн.	zasiag	zasiąg

CONTENTS

V. Živov (Moscow), G. Keipert (Bonn). The importance of I.V. Paus's grammar for the development of Russian grammatical tradition; H. Andersen (Los Angeles). A glimpse of the Homeland of the Slavs; ecological and cultural changes in prehistory (II); O. N. Trubačev (Moscow). On the "hazel-grouse", the "partridge" and other linguistic attestations of the Slavonic Homeland and Proto-ecology; V. S. Xrakovskij (St-Petersburg). An inquiry into the description of conditional constructions; S. D. Šelov (Moscow). Generic definitions and generic hierarchy of terminological notions (founded on the materials of definitions of linguistic terms); B.B. Xodorkovskaja (Moscow). On the anaphoric pronouns in the Italic languages; T.V. Toporova (Moscow). On the archetype of "water" in Old Germanic cosmogony; I.T. Piirainen (Münster). Politenes as a linguistic category; A.A. Pičhadze (Moscow). The preposition *къ* after verbs of motion in Old Russian names of towns (original and translated written monuments); N.A. Barnova (Tbilisi). On consonant-clusters in the Tsez languages; **Reviews**: A.P. Volodin (St.-Petersburg). *H. Werner*. Das Kasussystem in den Jenissej-Sprachen; G. A. Klimov (Moscow). *Z.A. Sardžveladze*. A dictionary of the Old Georgian language. Materials; V.Z. Sannikov (Moscow). New editions.

Технический редактор *О.Н. Никитина*

Сдано в набор 29.08.96 Подписано к печати 11.10.96 Формат бумаги 70×100 1/16

Офсетная печать Усл.печ.л. 11,7 Усл.кр.-отт. 19,9 тыс. Уч.-изд.л. 13,1 Бум.л. 4,5

Тираж 1663 экз. Зак. 565

Адрес редакции: 121019, Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка, телефон 201-74-42

Московская типография № 2 РАН, 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6